

Торо Генри Дэвид. Уолден, или Жизнь в лесу

1854, источник: [здесь](#)

- [Хозяйство](#)
- [Где я жил и для чего](#)
- [Чтение](#)
- [Звуки](#)
- [Одиночество](#)
- [Посетители](#)
- [Бобовое поле](#)
- [Поселок](#)
- [Пруды](#)
- [Ферма бейкер](#)
- [Высшие законы](#)
- [Бессловесные соседи](#)
- [Новоселье](#)
- [Прежние обитатели и зимние гости](#)
- [Зимние животные](#)
- [Пруд в зимнюю пору](#)
- [Весна](#)
- [Заключение](#)
- [Примечания](#)

ХОЗЯЙСТВО

Когда я писал эти страницы — вернее, большую их часть, — я жил один в лесу, на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда в Конкорде, в штате Массачусетс, и добывал пропитание исключительно трудом своих рук. Так я прожил два года и два месяца. Сейчас я снова временный житель цивилизованного мира.

Я не стал бы навязывать читателю всех этих подробностей, если бы не настойчивые расспросы моих земляков о моей тогдашней жизни, — расспросы, которые иные назвали бы неуместными, но которые мне, при данных обстоятельствах, кажутся, напротив, вполне естественными и уместными. Некоторые спрашивали меня, чем я питался, не чувствовал ли себя одиноким, не было ли мне страшно и т. п. Другим хотелось знать, какую часть своих доходов я тратил на благотворительность, а некоторые многодетные люди интересовались тем, сколько бедных детей я содержал. Поэтому я прошу прощения у тех читателей, которые не столь живо интересуются моей особой, если на часть этих вопросов мне придется ответить в моей книге. В большинстве книг принято опускать местоимение первого лица, здесь оно будет сохранено; таким образом эгоцентричны все писатели, и я только этим от них отличаюсь. Мы склонны забывать, что писатель, в сущности, всегда говорит от первого лица. Я не говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, как знаю себя. Недостаток опыта, к сожалению, ограничивает меня этой темой. Со своей стороны, я жду от каждого писателя, плохого или хорошего, простой и искренней повести о его собственной жизни, а не только о том, что он понаслышке знает о жизни других людей: пусть он пишет так, как писал бы своим родным из дальних краев, ибо если он жил искренне, то это было в дальних от меня краях. Пожалуй, эти страницы адресованы прежде всего бедным студентам. Что касается других моих читателей, то они выберут из книги то, что к ним относится. Надеюсь, что никто, примеряя платье на себя, не распорет в нем швов, — оно может пригодиться тем, кому придется впору.

Мне хочется писать не о китайцах или жителях Сандвичевых островов, но о вас, читатели, обитающие в Новой Англии, о вашей жизни, особенно о внешней ее стороне, т. е. об условиях, в каких вы живете в нашем городе и на этом свете: каковы они, и непременно ли они должны быть так плохи, и нельзя ли их улучшить. Я много бродил по Конкорду, и повсюду — в лавках, в конторах и на полях — мне казалось, что жители на тысячу разных ладов несут тяжкое покаяние. Мне приходилось слышать о браминах, которые сидят у четырех костров и при этом еще глядят на солнце, или висят вниз головою над пламенем, или созерцают небеса через плечо, «пока шея их не искривится так, что уже не может принять нормальное положение, а горло пропускает одну лишь жидкую пищу», или на всю жизнь приковывают себя цепью к стволу дерева, или, уподобившись гусенице, меряют собственным телом протяженность огромных стран, или стоят на одной ноге на вершущке столба; но даже все эти виды добровольного мученичества едва ли более страшны, чем то, что я ежедневно наблюдаю у нас. Двенадцать подвигов Геракла кажутся пустяками в

сравнении с тяготами, которые возлагают на себя мои ближние. Тех было всего двенадцать, и каждый достигал какой-то цели, а этим людям, насколько я мог наблюдать, никогда не удастся убить или захватить в плен хоть какое-нибудь чудовище или завершить хотя бы часть своих трудов. У них нет друга Иола,[1] который прижег бы шею гидры каленым железом, и стоит им срубить одну голову, как на месте ее вырастают две другие.

Я вижу моих молодых земляков, имевших несчастье унаследовать ферму, дом, амбар, скот и сельскохозяйственный инвентарь, ибо все это легче приобрести, чем сбыть с рук. Лучше бы они родились в открытом поле и были вскормлены волчицей; они бы тогда яснее видели, на какой пашне призваны трудиться. Кто сделал их рабами земли? За что осуждены они съедать шестьдесят акров, когда человек обязан за свою жизнь съесть всего пригоршню грязи?[2] Зачем им рыть себе могилы, едва успев родиться? Ведь им надо прожить целую жизнь нагруженными всем этим скарбом, а легко ли с ним передвигаться? Сколько раз встречал я бедную бессмертную душу, придавленную своим бременем: она ползла по дороге жизни, влача на себе амбар 75 футов на 40, свои Авгиевы конюшни, которые никогда не расчищаются, и 100 акров земли — пахотной и луговой, сенокосных и лесных угодий! Безземельные, которым не досталась эта наследственная обуза, едва управляют с тем, чтобы покорить и культивировать немногие кубические футы своей плоти.

Но люди заблуждаются. Лучшую часть своей души они запахивают в землю на удобрение. Судьба, называемая обычно необходимостью, вынуждает их всю жизнь копить сокровища, которые, как сказано в одной старой книге,[3] моль и ржа истребляют, и воры подкапывают и крадут[4]. Это — жизнь дураков, и они это обнаруживают в конце пути, а иной раз и раньше. Рассказывают, что Девкалион и Пирра создавали людей, кидая через плечо камни:

•
Inde genus durum sumus, experiens que laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati[5].*

(То-то и твердый мы род, во всяком труде закаленный, И доказуем собой, каково было наше начало).

Или, в звучных стихах Рэли:[6]

*From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care,
Approving that our bodies of a stony nature are.*

Вот что значит слепо повиноваться бестолковому оракулу и кидать камни через плечо, не глядя, куда они упадут.

Большинство людей, даже в нашей относительно свободной стране, по ошибке или просто по невежеству так поглощены выдуманными заботами и лишними тяжкими трудами жизни, что не могут собирать самых лучших ее плодов. Для этого их пальцы слишком загрубели и слишком дрожат от непосильного труда. У рабочего нет досуга, чтобы соблюсти в себе человека, он не может позволить себе человеческих отношений с людьми, это обесценит его на рынке труда. У него ни на что нет времени, он — машина. Когда ему вспомнить, что он — невежда (а без этого ему не вырасти), если ему так часто приходится применять свои

знания? Прежде чем судить о нем, нам следовало бы иногда бесплатно покормить, одеть и подкрепить его. Лучшие свойства нашей природы, подобные нежному пушку на плодах, можно сохранить только самым бережным обращением. А мы отнюдь не бережны ни друг к другу, ни к самим себе.

Всем известно, что некоторые из вас бедны, что жизнь для вас трудна, и вы порой едва переводите дух. Я уверен, что некоторым из вас, читатели, нечем заплатить за все съеденные обеды, за одежду и башмаки, которые так быстро изнашиваются или уже сносились, — и даже на эти страницы вы тратите украденное или взятое взаймы время и выкрадываете час у ваших заимодавцев. Совершенно очевидно, что многие из вас живут жалкой, приниженной жизнью, — у меня на это наметанный глаз. Вы вечно в крайности, вечно пытаетесь пристроиться к делу и избавиться от долгов, а они всегда были трясинной, которую римляне называли *aes alienum*, или чужая медь, потому что некоторые их монеты были из желтой меди; и вот вы живете и умираете, и вас хоронят на эту чужую медь, и всегда вы обещаете выплатить, завтра же выплатить, а сегодня умираете в долгу; и все стараетесь угодить нужным людям и привлечь клиентов — любыми способами, кроме разве подсудных, вы лжете, льстите, голосуете, угодливо свиваетесь в клубочек или стараетесь выказать щедрость во всю ширь слабых возможностей — и все ради того, чтобы убедить ваших ближних заказывать у вас обувь, или шляпы, или сюртуки, или экипажи, или бакалейные товары; вы наживаете себе болезни, пытаетесь кое-что отложить на случай болезни, кое-что запрятать в старый комод или в чулок, засунутый в какую-нибудь щель, или для лучшей сохранности, в кирпичный банк — хоть куда-нибудь, хоть сколько-нибудь.

Я иной раз удивляюсь, что мы легкомысленно уделяем все внимание тяжелой, но несколько чуждой нам форме кабалы, называемой рабовладением, когда и на юге, и на севере существует столько жестоких и тонких видов рабства. Тяжко работать на южного надсмотрщика, еще тяжелее — на северного, но тяжелее всего, когда вы сами себе надсмотрщик. А еще говорят о божественном начале в человеке! Посмотрите на возчика на дороге: днем ли, ночью ли — он держит путь на рынок. Что в нем осталось божественного? Накормить и напоить лошадей — вот его высшее понятие о долге. Что ему судьба в сравнении с перевозкой грузов? Ведь она работает на сквайра Ну-ка Поживей. Что уж тут божественного и бессмертного? Взгляните, как он дрожит и ежится, как вечно чего-то боится, — он не бессмертен и не божествен, он раб и пленник собственного мнения о себе, которое он составил на основании своих дел. Общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное. Судьба человека определяется тем, что он сам о себе думает. Найдется ли другой Уилберфорс,[7] чтобы освободить от оков Вест-Индию мысли и воображения? А наши дамы, те готовят к страшному суду нескончаемые вышитые подушечки, чтобы не выказать слишком живого интереса к своей судьбе! Словно можно убивать время без ущерба для вечности!

Большинство людей ведет безнадежное существование. То, что зовется смирением, на самом деле есть убежденное отчаяние. Из города, полного отчаяния, вы попадаете в полную отчаяния деревню и в утешение можете созерцать разве лишь храбрость норок и мускусных крыс. Даже то, что зовется играми и развлечениями, скрывает в себе устойчивое, хотя и неосознанное отчаяние. Это не игры, ибо те хороши лишь после настоящей работы. Между тем мудрости не свойственно совершать отчаянные поступки.

Когда мы размышляем над тем, что катехизис[8] называет истинным назначением человека, и над его действительными потребностями, может показаться, что люди сознательно избрали свой нынешний образ жизни потому, что предпочли его всем другим. А ведь они искренне считают, будто у них нет выбора. Но бодрые и здоровые натуры помнят, что солнце взошло на ясном небе. Никогда не поздно отказаться от предрассудков. Нельзя принимать на веру, без доказательств, никакой образ мыслей или действий, как бы древен он ни был. То, что сегодня повторяет каждый, или с чем он молча соглашается, завтра может оказаться ложью, дымом мнений, по ошибке принятым за благодатную тучу, несущую на поля плодоносный дождь. Многие из того, что старики считают невозможным, вы пробуете сделать — и оно оказывается возможным. Старому поколению — старые дела, а новому — новые. Было время, когда люди не знали, как добыть топливо для поддержания огня, а теперь они кладут под котел немного сухих дров и мчатся вокруг земного шара с быстротою птиц, которая для стариков — смерть. Старость годится в наставники не больше, если не меньше, чем юность, — она не столькому научилась, сколько утратила. Я не уверен, что даже мудрейший из людей, прожив жизнь, постиг что-либо, обладающее абсолютной истинностью. В сущности, старики не могут дать молодым подлинно ценных советов; для этого их опыт был слишком ограничен, а жизнь сложилась слишком неудачно; но это они объясняют личными причинами; к тому же, наперекор их опыту, у них могли сохраниться остатки веры, и они просто менее молоды, чем были. Я прожил на нашей планете 30 лет и еще не слышал от старших ни одного ценного или даже серьезного совета. Они не сказали мне — и вероятно не могут сказать — ничего, что мне годилось бы. Передо мной жизнь — опыт, почти неиспробованный мной, но мне мало проку от того, что они его проделали. Если у меня есть какой-то собственный, ценный для меня опыт, я знаю наверняка, что мои наставники об этом не говорили.

Один фермер говорит мне: «Нельзя питаться одной растительной пищей, из чего тогда образоваться костям?», — и вот он посвящает часть своего дня тому, что благоговейно снабжает свой организм сырьем для построения костей; а сам, между тем, шагает за плугом, за своими быками, которые хоть и вскормлены растительной пищей, а тащат через все препятствия и его, и его тяжелый плуг. Есть вещи, которые составляют предмет первой необходимости только в некоторых кругах, самых беспомощных и испорченных, в других они являются лишь предметами роскоши, а третьим и вовсе неизвестны.

Кажется, что все наши пути, и по горам, и по долам, уже исхожены нашими предшественниками, и что все ими предусмотрено. У Эвелина[9] сказано, что «мудрый Соломон определил даже расстояния, какие надо соблюдать при древесных посадках, а римские преторы постановили, как часто можно собирать желуди на земле соседа, не нарушая его прав, и какая доля их принадлежит этому соседу». Гиппократ оставил даже наставления насчет подстригания ногтей; вровень с кончиками пальцев — не короче и не длиннее. Нет сомнения, что и самая скука и сплин, которые якобы исчерпали разнообразие и радости жизни, восходят еще ко временам Адама. Но способности человека до сих пор никем не измерены, и мы не можем судить о его возможностях по тому, что им до сих пор сделано, — ведь испробовано так мало. Каковы бы ни были до сего дня твои неудачи, «не печалься, дитя мое, ибо кто же припишет тебе работу, которая осталась у тебя несделанной»[10].

К нашей жизни можно применить множество простых способов проверки, хотя бы, например, такую: то же самое солнце, под которым зреют мои бобы, освещает целую систему планет, подобных нашей. Если бы я это помнил, я избежал бы некоторых ошибок. А я окапывал бобы совсем не с этой точки зрения. Звезды являются вершинами неких волшебных треугольников. Какие далекие и непохожие друг на друга существа, живущие в разных обителях вселенной, одновременно созерцают одну и ту же звезду! Природа и человеческая жизнь столь же разнообразны, как и сами наши организмы. Кто может сказать, какие возможности таит жизнь для другого человека? Возможно ли большее чудо, чем хотя бы на миг взглянуть на мир глазами другого? Мы тогда за один час побывали бы во всех веках мира и во всех мирах веков. История, поэзия, мифология! — никакие описания чужих переживаний не могли бы так нас поразить и столькому научить.

Большую часть того, что мои ближние называют хорошим, я в глубине души считаю дурным, и если я в чем-нибудь раскаиваюсь, так это в своем благонравии и послушании. Какой бес в меня вселился, что я был так благонравен? Можешь выкладывать мне всю свою мудрость, старик, — ты прожил на свете семьдесят лет и прожил их не без чести, — но я слышу настойчивый голос, зовущий меня уйти подальше от всего этого. Молодое поколение бросает начинания старого, точно суда, выкинутые морем на берег.

Я считаю, что мы могли бы гораздо больше доверять жизни, чем мы это делаем. Мы могли бы сократить заботы о себе хотя бы на столько, сколько мы их уделяем другим. Природа приспособлена к нашей слабости не менее, чем к нашей силе. Непрестанная тревога и напряжение, в котором живут иные люди, — это род неизлечимой болезни. Нам внушают преувеличенное понятие о важности нашей работы, а между тем, как много мы оставляем несделанным! А что, если бы мы захворали? Мы вечно настороже! Мы полны решимости не жить верой, если этого можно избежать; прожив весь день в тревоге, мы на ночь нехотя читаем молитвы и вверяем себя неизвестности. Уж очень «основательно» приходится нам жить; мы чтим наш образ жизни и отрицаем возможность перемен. Иначе нельзя, говорим мы, а между тем способов жить существует столько же, сколько можно провести радиусов из одного центра. Всякая перемена представляется чудом, но подобные чудеса совершаются ежеминутно. Конфуций говорит: «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем»[11]. Когда хоть одному человеку удастся постичь разумом то, что сейчас представляется только нашему воображению, я предсказываю, что и все люди станут строить на этом свою жизнь.

Давайте подумаем, в чем суть большей части забот и тревог, о которых я говорил, и насколько необходимо нам тревожиться или хотя бы заботиться. Неплохо было бы среди внешнего окружения цивилизации пожить простой жизнью, какой живут на необжитых землях, хотя бы для того, чтобы узнать, каковы первичные жизненные потребности и как люди их удовлетворяют, или перелистать старые торговые книги, чтобы увидеть, что люди покупали прежде всего, чем они запасались, то есть каковы продукты, без которых не проживешь. Ибо столетия прогресса внесли очень мало нового в основные законы человеческого существования; точно так же и скелет наш, вероятно, не отличается от скелетов наших предков.

Под *жизненными потребностями* я разумею то из добываемого человеком, что всегда было или давно стало столь важным для жизни, что почти никто не пытается без этого обойтись, будь то по невежеству, или по бедности, или из философского принципа. В этом смысле для многих живых существ имеется лишь одна потребность — в Пище. Для бизона прерий это несколько дюймов вкусной травы и водопой, да еще, может быть, укрытие в лесу или в тени горы. Животные нуждаются только в пище и убежище. Для человека в нашем климате первичные потребности включают Пищу, Кров, Одежду и Топливо; пока это нам не обеспечено, мы неспособны свободно и успешно решать подлинные жизненные проблемы. Человек изобрел не только домá, но и одежду, и приготовление пищи; вероятно из случайно обнаруженного тепла от костра, вначале — роскоши, возникла нынешняя потребность греться у огня. Мы видим, что собаки и кошки тоже приобрели эту привычку — вторую натуру. С помощью Крова и Одежды мы лишь законно сохраняем наше собственное внутреннее тепло; когда появляется избыток этого тепла, или Топлива, то есть, когда создается наружное тепло, превышающее наше внутреннее, начинается приготовление пищи на огне. Натуралист Дарвин,[12] рассказывая о жителях Огненной Земли, говорит, что он и его спутники, сидя у самого костра в теплой одежде, вовсе не ощущали чрезмерного тепла и удивлялись тому, что обнаженные туземцы, сидевшие дальше, «обливались потом, точно их поджаривали». Говорят, что житель Новой Голландии[13] безнаказанно ходит обнаженным, когда европеец даже одетый дрожит от холода. Нельзя ли сочетать закаленность этих дикарей с интеллектуальностью цивилизованного человека? Согласно Либиху[14] человеческое тело представляет собой печь, а пища является тем топливом, которое поддерживает внутреннее горение в легких. В холодную погоду мы едим больше, в теплую — меньше. Животное тепло получается в результате медленного сгорания; а болезнь и смерть наступают, когда это горение чрезмерно ускоряется, или когда, наоборот, от недостатка топлива или какого-нибудь дефекта в тяге, огонь гаснет. Конечно, жизненное тепло нельзя отождествлять с огнем, но в какой-то степени эта аналогия годится. Из сказанного следует, что слова *животная жизнь* почти совпадают с *животным теплом*. Если рассматривать пищу как топливо, поддерживающее огонь внутри нас, — а Топливо служит лишь для приготовления Пищи или для усиления внутреннего тепла путем добавления наружного, — Кров и Одежда также нужны лишь для сохранения создаваемого и поглощаемого таким образом *тепла*.

Итак, первой потребностью нашего организма является потребность согреться, сохранить жизненное тепло. Вот почему мы так хлопочем не только о Пище, Одежде и Крове, но и о постелях — нашей ночной одежде — и ради этого внутреннего крова разоряем гнезда птиц и ощипываем пух с их груди, подобно кроту, который в глубине своей норы устраивает себе постель из травы и листьев. Бедняк часто жалуется, что ему холодно в этом мире; холоду, как физическому, так и социальному, мы приписываем большую часть наших недугов. В некоторых широтах для человека летом возможна райская жизнь. Топливо требуется ему лишь для приготовления Пищи, костром служит солнце, многие из плодов достаточно прожариваются в его лучах; и вообще пища там разнообразнее и доступнее, а Одежда и Кров почти совершенно не нужны. В наше время и в нашей стране, как я знаю по собственному опыту, почти столь же необходимы некоторые орудия — нож, топор, лопата, тачка, а для занятий науками — лампа, бумага и несколько книг; все это стоит недорого. А ведь находятся безумцы, которые отправляются на край земли, в дикие местности с нездоровым климатом, и торгуют там 10 и 20 лет ради того, чтобы потом доживать свой век

— то есть сохранять в себе тепло — в Новой Англии. Кто живет в роскоши, тот не только поддерживает в себе тепло, но и парится в чрезмерной жаре. Как я уже говорил, его поджаривают, разумеется *à la mode* (по моде — франц.).

Большая часть роскоши и многое из так называемого комфорта не только не нужны, но положительно мешают прогрессу человечества. Что касается роскоши и комфорта, то мудрецы всегда жили проще и скуднее, чем бедняки. Никто не был так беден земными благами и так богат духовно, как древние философы Китая, Индии, Персии и Греции. Мы немного о них знаем. Но удивительно, что *мы* вообще о них знаем. То же можно сказать и о реформаторах и благодетелях человечества, живших в более поздние времена. Нельзя быть беспристрастным и мудрым наблюдателем человеческой жизни иначе, как с позиций, которые мы назвали бы добровольной бедностью. Живя в роскоши, ничего не создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве. У нас сейчас есть профессора философии, но философов нет. Но и учить хорошо, потому, что некогда учили на собственном примере. Быть философом — значит не только тонко мыслить или даже основать школу; для этого надо так любить мудрость, чтобы жить по ее велениям — в простоте, независимости, великодушии и вере. Это значит решать некоторые жизненные проблемы не только теоретически, но и практически. Обычно же успех знаменитых ученых и мыслителей подобен успеху царедворца, а не властелина или героя. Они живут по-старинке, как жили их отцы, и не становятся родоначальниками более благородной человеческой породы. Почему же вообще вырождаются люди? Отчего вымирают семьи? Какие именно излишества расслабляют и губят народы? Нет ли их и в нашей собственной жизни? Истинный философ даже во внешнем образе жизни идет впереди своего века. Он по-иному, не так, как его современники, питается, укрывается, одевается и согревается. Можно ли быть философом и не поддерживать свое жизненное тепло более мудрыми способами, чем прочие люди?

Когда человек согрелся одним из описанных мною способов, какие еще потребности у него остаются? Едва ли это будет добавочное тепло того же рода — более обильная и жирная пища, больший и более роскошный дом, более разнообразная и красивая одежда, непрестанный и более жаркий огонь в очаге или нескольких очагах и тому подобное. Добыв все необходимое для жизни, он может поставить себе лучшую цель, чем получение излишков; освободившись от черной работы, он может, наконец, отважиться жить. Раз почва оказалась подходящей для семени, и оно пустило корешки вниз, оно может безбоязненно выпускать свои ростки вверх. Для чего же человек так прочно укоренился на земле, как не для того, чтоб настолько же подняться вверх, к небесам? Ведь наиболее благородные растения ценятся за их плоды, созревающие в воздухе и на свету, высоко над землей, не то, что овощи, хоть бы и двухлетние, которые выращиваются только ради корней и для этого часто обрезаются сверху, так что многие не узнали бы их в пору их цветения.

Я не собираюсь диктовать правила сильным и мужественным натурам, которые сами знают свое дело, будь то в небесах или в аду, и строят более роскошно и тратят щедрее всех богачей, но никогда не становятся от этого беднее и не считают, на что живут, — если только действительно есть такие люди, как об этом мечталось; не намерен я поучать и тех, кто восхищается и вдохновляется именно нынешним порядком вещей и лелеет его с нежностью и пылкостью влюбленных, — до некоторой степени я и себя самого отношу к их

числу; я не обращаюсь к тем, кто убежден, что живет правильно, кто бы они ни были, — им лучше знать, так ли это; я обращаюсь главным образом к массе недовольных, напрасно сетующих на жестокую участь или на времена, вместо того, чтобы улучшить их. Есть такие, что горюют всего сильнее и безутешнее, потому что, по их словам, они исполняют свой долг. Я также имею в виду тот, по видимости богатый, а на деле удручающе нищий класс, который накопил груды мусора, но не знает, как им пользоваться, или как от него освободиться, и сам себе сковал золотые и серебряные цепи.

Если бы я попытался рассказать, как мне хотелось провести свою жизнь, это, вероятно, удивило бы тех из моих читателей, которые сколько-нибудь знакомы с моей действительной историей, и уж наверняка поразило бы тех, кто о ней ничего не знает. Я упомяну лишь некоторые из планов, которые я строил.

В любую погоду, в любой час дня или ночи я стремился наилучшим образом использовать именно данный момент и отметить его особой зарубкой; я хотел оказаться на черте, где встречаются две вечности: прошедшее и будущее, — а это ведь и есть настоящее, — и этой черты придерживаться. Вы должны простить мне некоторые неясности, потому что в моем ремесле больше тайн, чем в большинстве других, и не то, чтобы я нарочно стремился их иметь, — просто они неотделимы от самой его природы. Я рад бы рассказать все, что я о нем знаю, и никогда не писать на своей калитке: «Вход воспрещен».

Когда-то давно у меня пропал охотничий пес, гнедой конь и голубка,[15] и я до сих пор их разыскиваю. Многих путников я расспрашивал о них, говорил, где они могли им встретиться и на какие клички отзывались. Мне попались один или два человека, которые слышали лай пса и топот коня и даже видели, как взлетала за облака голубка, и им так же хотелось найти их, словно они сами их потеряли.

Как хорошо опережать не только солнечный восход или рассвет, но, если возможно, и самое Природу! Сколько раз, летом и зимою, я начинал свой трудовой день раньше кого-либо из соседей. Многие мои сограждане наверняка встречали меня уже на обратном пути — фермеры, ехавшие на рассвете в Бостон, или дровосеки, выходявшие на работу. Правда, я ни разу не пособил солнечному восходу, но будьте уверены, что даже присутствовать при нем было крайне важно.

Сколько осенних и даже зимних дней я провел за городом, пытаюсь подслушать, что скажет ветер — подслушать и поскорее разнести его вести. Я вкладывал в это почти весь свой капитал, да к тому же еще и задыхался, пытаюсь бежать против ветра. Если бы дело касалось одной из политических партий, можете быть уверены — об этом напечатали бы в «Газете», в самом раннем выпуске. Иногда я наблюдал с какого-нибудь утеса или дерева, чтобы знаками известить о любом новом пришельце, а по вечерам поджидал на вершине холма, не начнет ли валиться небо и не свалится ли что-нибудь на мою долю — хотя мне мало что доставалось, да и это таяло на солнце, как манна небесная.

Я долгое время работал репортером в журнале [16], у которого было не очень много подписчиков; его редактор до сих пор не нашел нужным напечатать большую часть моих корреспонденции, и я, как очень многие писатели, ничего не получал за свой труд. Но в

данном случае труды сами заключали в себе награду.

Много лет я добровольно состоял смотрителем ливней и снежных бурь и выполнял свою работу добросовестно; был инспектором, если не проезжих дорог, то лесных троп, содержал их в порядке, чинил мостики через овраги и следил, чтобы они круглый год были проходимы всюду, где след человека указывал, что в них есть нужда.

Я присматривал за дикими животными нашей округи — а они так любят прыгать через изгороди, что доставляют заботливому пастуху немало хлопот; заглядывал я и в дальние уголки фермерских усадеб, хоть и не всегда знал, на каком поле сегодня работает Джонас или Соломон — это меня не касалось. Я поливал бруснику, карликовую вишню, каменное дерево, красную сосну и черный вяз, белый виноград и желтые фиалки, — а то они, пожалуй, погибли бы в засуху.

Скажу, не хвалясь, что я долго трудился таким образом, и трудился усердно, пока не стало совершенно очевидно, что сограждане не намерены зачислить меня в штат городских чиновников и назначить мне скромное вознаграждение. Счета, которые я честно вел, никогда не проверялись и уж, конечно, не акцептировались и не оплачивались. Впрочем, я к этому не стремился.

Недавно бродячий индеец принес на продажу корзины в дом известного адвоката,[17] живущего неподалеку от меня. «Нужны вам корзины?» — спросил он. «Нет, не нужны», — был ответ. «Вот тебе раз! — воскликнул индеец, выходя из ворот, — вы, значит, хотите нас уморить голодом?» Увидя, как процветают его предприимчивые белые соседи, как адвокату достаточно наплести речей и доводов, чтобы, словно по волшебству, добыть и деньги, и почет, индеец сказал себе: надо и мне заняться делом; буду плести корзины, это я умею. Он решил, что от него требуется только сплести корзину, а покупать — это уж обязанность белого. Он не знал, что необходимо сделать покупку выгодной для белого или хотя бы уверить его в этом, или же плести что-либо другое, что выгодно покупать. Я тоже плел своего рода тонкие корзины, но не сумел устроить так, чтобы хоть кому-нибудь было выгодно их купить. Но я-то все равно считал, что плести их стоит, и вместо того, чтобы выяснять, как сделать приобретение моих корзин выгодным для людей, я стал искать способов обойтись без их продажи. Люди привыкли признавать и восхвалять лишь один вид жизненного успеха. Но зачем превозносить именно его, в ущерб всем другим?

Обнаружив, что сограждане не намерены предложить мне судейское кресло, или приход, или еще какую-нибудь должность и что мне надо самому искать средства к жизни, я еще решительнее устремился в леса, где меня знали лучше. Я захотел немедленно войти в дело, не накапливая требуемого в таких случаях капитала и обойдясь имевшимися у меня скудными средствами. Я отправился на берега Уолдена не за тем, чтобы прожить подешевле или подороже, но чтобы без помех заняться своими делами;[18] уж очень глупо было бы отказаться от них из-за недостатка здравого смысла, малой доли предприимчивости и деловых способностей.

Я всегда старался приобрести навыки делового человека; они необходимы каждому. Если вы торгуете с Небесной Империей,[19] тогда достаточно конторы на побережье, в какой-нибудь

гавани Салема[20]. Вы будете вывозить чисто отечественные продукты: больше всего льда и сосновой древесины, немного гранита, и все это на отечественных судах. Это выгодное дело. Тут надо самому во все входить, быть и штурманом, и капитаном, и владельцем, и страховщиком; самому покупать, продавать и вести счета, получать всю почту и самому на все отвечать; самому во всякое время наблюдать за разгрузкой ввозимых товаров; поспевать почти сразу в несколько точек побережья — ибо самый ценный груз часто могут выгрузить на побережье Джерси;[21] быть самому себе телеграфом, неустанно обозревать горизонт, окликаая все суда, направляющиеся к берегу; иметь постоянно наготове товар для снабжения столь далекого и обширного рынка; быть осведомленным о состоянии всех рынков, о перспективах войны и мира, предвидеть перемены в промышленности и цивилизации, использовать результаты всех экспедиций, все новые пути и возможности для навигации; изучать карты, выяснять, где рифы, а где новые маяки, и буи; постоянно выверять логарифмические таблицы, ибо из-за ошибки в вычислениях многие суда, шедшие в гостеприимную гавань, разбивались о скалы — вспомним загадочную судьбу Лаперуза;[22] следить за успехами науки во всем мире, изучать жизнь всех знаменитых открывателей и мореходов, искателей приключений и торговцев, от Ганнона[23] и финикийцев до наших дней, и, наконец, производить время от времени учет товаров, чтобы знать, в каком положении ваши дела. Подобный труд заставляет человека напрягать все свои способности; все эти вопросы прибылей, убытков и процентов, учет веса тары и все прочие измерения и расценки требуют универсальных познаний.

Я решил, что Уолденский пруд будет отличным местом для ведения дела, — не только из-за железной дороги и добычи льда; есть и еще преимущества, которые мне, быть может, нет расчета раскрывать: выгодное и удобное местоположение. Здесь нет, как на невских берегах, болот, которые надо засыпать, хотя всюду надо строить на сваях и вбивать их самому. Говорят, что наводнение и западный ветер во время ледохода на Неве могут смести Петербург с лица земли.

Поскольку я начинал дело без обычных капиталовложений, читателю будет нелегко догадаться, откуда взялись те средства, которые все же необходимы для подобного предприятия. Что касается одежды, — если сразу перейти к практическим вопросам, — то здесь нами чаще руководит любовь к новизне и оглядка на других людей, чем соображения действительной пользы. Пусть каждый, кому приходится работать, помнит, что назначение одежды состоит, во-первых, в том, чтобы сохранять жизненное тепло, а, во-вторых, при нынешних нравах, в том, чтобы прикрывать наготу; тогда он увидит, сколько нужной и важной работы он может совершить, ничего не прибавляя к своему гардеробу. Королям и королевам, которые только по одному разу надевают каждый свой туалет, хотя бы и сделанный придворным портным или портнихой, неведомо удовольствие носить ладно сидящую одежду. Они не более чем деревянные плечики, на которые вешается новое платье. Наша одежда с каждым днем все более к нам применяется; она получает отпечаток нрава своего владельца, и мы неохотно расстаемся с ней, почти как с нашим собственным телом, и так же оттягиваем этот срок с помощью починок и иного медицинского вмешательства. Ни один человек никогда не терял в моих глазах из-за заплат на одежде; а между тем люди больше хлопчут о модном, или хотя бы чистом и незаплатанном платье, чем о чистой совести. А ведь даже незаплатанная прореха не обличает в человеке никаких пороков, кроме разве непрактичности. Я иногда испытываю своих знакомых такими

вопросами: согласились ли бы они на заплату или просто пару лишних швов на колене? Большинство, по-видимому, считает, что это значило бы загубить свою будущность. Им легче было бы ковылять в город со сломанной ногой, чем с разорванной штаниной. Когда у джентльмена что-нибудь приключается с ногами, их еще можно починить, но если нечто подобное случается с его брюками, это уже непоправимо, ибо он считается не с тем, что действительно достойно уважения, а с тем, что уважают люди. Нам редко встречается человек — большей частью одни сюртуки и брюки. Обрядите пугало в ваше платье, а сами встаньте рядом с ним нагишом, — и люди скорее поздороваются с пугалом, чем с вами. Недавно, проходя мимо кукурузного поля, я увидел шляпу и сюртук, нацепленные на палку, и сразу узнал хозяина фермы. Непогода несколько потрепала его с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я слышал о собаке, которая лаяла на каждого чужого человека, приближавшегося к дому ее хозяина в одежде, но очень спокойно встретила голого вора. Интересно, насколько люди сохранили бы свое общественное положение, если бы снять с них одежду. Сумели бы вы в этом случае выбрать из группы цивилизованных людей тех, кто принадлежит к высшим классам? Когда мадам Пфейфер,[24] смелая путешественница вокруг света, с востока на запад, добралась до Азиатской России, она почувствовала надобность переодеться ради встречи с местными властями, потому что, как она пишет, «оказалась в цивилизованной стране, где о человеке судят по платью». Даже в городах нашей демократической Новой Англии случайно приобретенное богатство и его внешние атрибуты — наряды и экипажи — обеспечивают их владельцу почти всеобщее уважение. Но те, кто воздает богачу такое уважение, как они ни многочисленны, по сути дела — дикари, и к ним надо бы послать миссионера. К тому же, одежда породила шитье — занятие поистине нескончаемое. Во всяком случае, женским нарядам никогда не бывает конца.

Когда человек нашел себе дело, ему не требуется для этого новый костюм. Для него сойдет и старый, невесть сколько времени пролежавший на чердаке. Старые башмаки дольше прослужат герою, чем его лакею, если только у героев бывают лакеи, а еще древнее башмаков — босые ступни, и можно обойтись даже ими. Только тем, кто ходит на балы и в законодательные собрания, требуется менять костюм так же часто, как меняется носящий их человек. Если мой сюртук и брюки, шляпа и башмаки еще годны, чтобы молиться в них богу, — значит, их еще можно носить, не правда ли? А кто из нас донашивает свое платье действительно до конца, пока оно не распадется на первичные элементы, вместо того, чтобы в виде благотворительности оделять им какого-нибудь бедного парня, который, возможно, в свою очередь, отдает его кому-нибудь еще беднее, — или, может быть, следовало бы сказать: богаче, раз он обходится меньшим? Я советую вам остерегаться всех дел, требующих нового платья, а не нового человека. Если сам человек не обновился, как может новое платье прийти ему впору? Если вам предстоит какое-то дело, попытайтесь совершить его в старой одежде. Надо думать не о том, *что нам еще требуется*, а о том, чтобы что-то *сделать*, или, вернее, чем-то *быть*. Быть может, нам не следовало бы обзаводиться новым платьем, как бы ни обтрепалось и ни загрязнилось старое, пока мы не свершим чего-нибудь такого, что почувствуем себя новыми людьми, — и тогда остаться в старой одежде будет все равно, что хранить новое вино в старом сосуде. Наша линька, как у птиц, должна отмечать важные переломы в нашей жизни. Гагара в эту пору улетает на пустынные пруды. Змея тоже сбрасывает кожу, а гусеница — оболочку в результате внутреннего процесса роста, ибо одежда — это лишь наш наружный кожный покров, покров земного чувства[25]. Иначе окажется, что мы плаваем под чужим флагом и в конце концов

неизбежно падем и в собственном мнении и в мнении людей.

Мы сменяем платье за платьем, наподобие экзогенных растений, растущих путем наружных добавлений. Наше верхнее, чаще всего нарядное платье, — это эпидерма, или ложная кожа, не связанная с нашей жизнью; ее можно местами содрать, не причинив особого вреда; наша плотная одежда, которую мы носим постоянно, — это наша клетчатка, или cortex, а рубашка — это наша liber, или склеренхима, которую нельзя снять, чтобы не окольцевать человека, т. е. не погубить его. Думаю, что все народы, хотя бы в известное время года, носят нечто подобное рубашке. Человеку следует быть одетым так просто, чтобы он мог найти себя в темноте; и жить так просто, чтобы быть готовым, если неприятель возьмет его город, уйти оттуда, подобно древнему философу,[26] с пустыми руками и спокойной душой. Одна плотная одежда в большинстве случаев лучше трех тонких, а дешевая одежда действительно доступна большинству. Теплое пальто стоит пять долларов и прослужит столько же лет; за два доллара можно купить грубошерстные брюки, за полтора — сапоги из коровьей кожи, за четверть доллара — летнюю шапку, за шестьдесят два с половиной цента — зимнюю, а еще лучше сделать ее самому, и это обойдется почти даром. Неужели бедняк, одевшись таким образом на деньги, *добытые своим трудом*, не найдет умных людей, которые воздадут ему должное уважение?

Когда я пытаюсь заказать себе одежду определенного фасона, портниха важно говорит мне: «Таких сейчас никто не носит», не уточняя, кто не носит, и словно повторяя слова авторитета, безличного как Рок. Мне трудно заказать себе то, что мне надо, потому что она просто не верит, что я говорю всерьез и действительно могу быть так неблагоразумен. Услышав ее торжественную фразу, я погружаюсь в раздумье, повторяя про себя каждое слово в отдельности, пытаюсь добраться до сущности и уяснить себе, кем мне приходится эти *Никто* и почему они так авторитетны в вопросе, столь близко меня касающемся. И мне хочется ответить ей так же торжественно и таинственно, не уточняя, кто такие «никто»: «Да, действительно, до недавних пор никто не носил, но сейчас начали». К чему ей, спрашивается, обмерять меня, если она измеряет не мой характер, а только ширину плеч, точно я — вешалка? Мы поклоняемся не Грациям и не Паркам, а Моде. Это она со всей авторитетностью прядет, ткет и кроит для нас. Главная парижская обезьяна нацепляет дорожную каскетку, и вслед за ней все американские обезьяны проделывают то же самое. Я иной раз отчаиваюсь хоть в чем-нибудь добиться от людей простоты и честности. Для этого людей сперва пришлось бы положить под мощный пресс, чтобы выжать из них старые понятия, да так, чтобы они не скоро опомнились и встали на ноги; а там, смотришь, среди них опять оказался бы кто-нибудь с червоточиной, а откуда взялся червь, из какого он вывелся яичка — неизвестно, ибо эти вещи не выжечь даже огнем, и все труды окажутся напрасными. Не будем, впрочем, забывать, что египетская пшеница была сохранена для нас мумией.

В общем, едва ли кто станет утверждать, что у нас или в другой стране искусство одеваться действительно поднялось до уровня искусства. Пока еще люди носят что придется. Подобно морякам, потерпевшим крушение, они надевают то, что находят на берегу, а несколько отделившись в пространстве или во времени, смеются друг над другом. Каждое поколение смеется над модами предыдущего, но благоговейно следует новым. Костюм Генриха VIII или королевы Елизаветы мы находим таким же смешным, как если бы они были монархами

Каннибальских островов. Всякий костюм отдельно от человека выглядит жалким или нелепым. Только серьезный взор, выглядывающий из одежды, и искреннее сердце, которое под ней бьется, только это сдерживает смех и освящает любую одежду. Если у Арлекина случится приступ колик, его наряду придется разделить с ним все его неприятности. Когда солдат сражен ядром, его лохмотья приобретают величие царского пурпура.

Детское и дикарское пристрастие мужчин и женщин к новым фасонам заставляет многих, сощурясь, вертеть калейдоскоп, выбирая сочетание, на которое сегодня будет спрос. Фабриканты знают, что этот вкус — одна лишь причуда. Из двух рисунков ткани, различающихся лишь несколькими нитями того или иного цвета, один расходуется быстро, другой залеживается на полках, а на следующий сезон именно второй часто оказывается более модным. Татуировка в сравнении с этим не столь отвратительна, как принято считать. Ее не назовешь варварством только потому что рисунок врезан в кожу и не может быть изменен.

Я не могу поверить, что наша фабричная система является лучшим способом одевать людей. Положение рабочих с каждым днем становится все более похожим на то, что мы видим в Англии, и удивляться тут нечему — ведь, насколько я слышу и вижу главная цель этой системы не в том, чтобы дать людям прочную и пристойную одежду, а только в том, чтобы обогатить фабрикантов. Люди в конце концов добиваются только того, что ставят своей целью. Поэтому, хотя бы их и ждала на первых порах неудача, им лучше целить выше.

Что касается Крова, я не отрицаю, что в наше время он стал жизненной потребностью, хотя можно привести примеры, когда люди подолгу обходились без него, даже в более холодных краях, чем наш. Сэмюэл Лэнг[27] пишет, что «лапландец в одежде из шкур, натянув меховой мешок на голову и плечи, может много ночей проспать на снегу, при морозе, от которого погиб бы человек в любой шерстяной одежде». Он сам видел как они спали. При этом он добавляет «Они не крепче других людей». Но человек, очевидно, очень давно обнаружил все удобства крова и создал понятие «домашнего уюта» которое вначале относилось, вероятно, именно больше к дому, чем к семье, хотя оно едва ли могло иметь большое значение в тех широтах, где кров нужен только зимой или в период дождей, а в течение двух третей года не требуется ничего, кроме зонтика. Даже в нашем климате в летнее время дом был некогда нужен лишь в качестве ночного укрытия. В индейской письменности вигвам обозначал дневной переход, и ряд этих вигвамов, вырезанных или нарисованных на древесной коре, показывал, сколько раз люди останавливались на ночлег. Человек не сотворен таким уж могучим, чтобы ему не требовалось сузить окружающий его мир и отгородить себе какое-то укрытие. Сперва он жил обнаженный, под открытым небом, но если это было достаточно приятно в ясную, теплую погоду и в дневное время, то дождливый сезон или зима, не говоря уже о жгучем тропическом солнце, погубили бы человеческий род в самом начале, если бы он не поспешил укрыться под кровом. Адам и Ева, согласно преданию, обзавелись лиственным кровом раньше, чем одеждой. Человеку был нужен дом и тепло — сперва тепло физическое, потом тепло привязанностей.

Мы можем представить себе, как однажды, в период детства человечества, некий предприимчивый смертный нашел убежище в расселине скалы. Каждый ребенок заново открывает мир, вот почему он любит бывать вне дома, даже в дождь и холод. Он играет в

домик, как и в лошадки, потому что это инстинкт. Кто не помнит, с каким интересом мы рассматривали в детстве нависшую скалу и все, что напоминало пещеру? Это проявлялся еще живущий в нас инстинкт наших далеких первобытных предков. От пещеры мы перешли к кровлям из пальмовых листьев, из коры и ветвей, из натянутого холста, из травы и соломы, досок и щепы, камней и черепицы. Теперь мы не знаем, что значит жить под открытым небом, и жизнь наша стала домашней больше, чем мы думаем. От домашнего очага до поля — большое расстояние. Нам, пожалуй, следовало бы проводить побольше дней и ночей так, чтобы ничто не заслоняло от нас звезды, и поэту не всегда слагать свои поэмы под крышей, и святому не укрываться под ней постоянно. Птицы не поют в пещерах, а голубики не укрывают свою невинность в голубятнях.

Но уж если вы хотите построить себе дом, не мешает приложить к этому немного американского здравого смысла, а не то вы окажетесь в работном доме, в лабиринте без выхода, в музее, богадельне, тюрьме или пышной усыпальнице. Вдумайтесь, как немного надо, чтобы соорудить кров. Я видел в здешних краях индейцев племени Пенобскот, живших в палатках из тонкой хлопчатобумажной ткани, когда кругом почти на фут лежал снег, и думал, что они были бы рады еще более глубокому снегу, который лучше защищал бы их от ветра. Размышляя над тем, как мне честно заработать на жизнь и при этом не лишиться себя свободы для своего истинного призвания, — раньше этот вопрос тревожил меня еще больше, ибо сейчас я, к сожалению, стал менее чувствителен, — я часто поглядывал на большой ларь у железнодорожного полотна, шесть футов на три, куда рабочие убрали на ночь свой инструмент, и думал, что каждый, кому приходится туго, мог бы приобрести за доллар такой ящик, просверлить в нем несколько отверстий для воздуха и забираться туда в дождь и ночью; стоит захлопнуть за собой крышку, чтобы свободу духа обрести, и вольность и любовь[28]. Это казалось мне далеко не худшей из возможностей, и ею не следовало бы пренебрегать. Можешь ложиться спать, когда вздумается, а выходя, не бояться, что землевладелец или домовладелец потребует с тебя квартирную плату. Сколько людей укорачивает себе жизнь, чтобы платить за больший и более роскошный ящик, а ведь они не замерзли бы и в таком. Я отнюдь не шучу. Экономические вопросы допускают легкомысленные шутки, но шутками от них не отделаешься. Было время, когда крепкий и закаленный народ строил себе здесь отличные жилища почти целиком из тех материалов, какие имелись наготове у Природы. В 1674 г. Гукин,[29] ведавший делами индейских подданных Массачусетской колонии, писал: «Лучшие их дома очень плотно и тщательно кроются древесной корой, которую сдирают, когда дерево наливается соком, и сразу же спрессовывают крупными кусками, пока она зеленая. Дома похуже крыты циновками, которые плетутся из особого камыша; они тоже достаточно теплы и не протекают, хотя и не так хороши, как первые... Я видел постройки, достигавшие 60 и даже 100 футов в длину и 30 в ширину... Я часто ночевал в вигвамах, и они оказывались не менее теплы, чем лучшие английские дома». Он добавляет, что вигвамы обыкновенно устланы и обтянуты внутри вышитыми циновками прекрасной работы и обставлены разнообразной домашней утварью. Индейцы додумались даже до того, что регулировали силу ветра с помощью особого отверстия в крыше, завешанного циновкой, к которой подвязывалась веревка. Такое жилище можно построить самое большое за день — два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.

У дикарей каждая семья имеет кров, не хуже чем у других, удовлетворяющий простейшим потребностям. У птиц есть гнезда, у лисиц — норы, у дикарей — вигвамы, а современное цивилизованное общество, скажу не преувеличивая, обеспечивает кровом не более половины семей. В крупных городах, где цивилизация победила окончательно, число имеющих кров составляет очень малую долю. Остальные ежегодно платят за эту внешнюю оболочку, ставшую необходимой и зимой, и летом, такие деньги, на которые можно приобрести целый поселок индейских вигвамов, и из-за этого живут в нужде всю свою жизнь. Я не намерен особо доказывать невыгоды наемного жилья по сравнению с собственным, но очевидно, что дикарь имеет собственное жилище потому, что это дешево, а цивилизованный человек снимает квартиру обычно потому, что не может позволить себе собственной, да и наемная в конце концов оказывается ему не по карману. Да, могут ответить мне, зато за эту плату бедняк в цивилизованной стране получает жилище, которое по сравнению с хижинкой дикаря может считаться дворцом. За ежегодную плату в размере от 25 до 100 долларов — таковы цены в сельских местностях — он пользуется всеми усовершенствованиями, достигнутыми в течение столетий: просторными комнатами, чисто окрашенными и оклеенными, румфордовскими печами,[30] штукатуркой, жалюзи, медным насосом, пружинным замком, удобным погребом и многим другим. Но отчего же получается, что тот, кто якобы пользуется всеми этими благами, оказывается *бедняком*, а лишенный их дикарь, по своим понятиям — богат? Если утверждать, что цивилизация действительно улучшает условия жизни, — а я думаю, что это так, хотя истинными ее выгодами пользуются только мудрецы, — тогда надо доказать, что она улучшила и жилища, не повысив их стоимости; а стоимость вещи я измеряю количеством жизненных сил, которое надо отдать за нее — единовременно или постепенно. В наших местах дом стоит в среднем около восьмисот долларов, и, чтобы отложить такую сумму, рабочий должен затратить 10–15 лет жизни, даже если он не обременен семьей. За средний заработок я беру доллар в день, потому что, если некоторые получают больше, то другие получают меньше, — вот и выходит, что он тратит большую часть жизни, пока заработает себе на вигвам. А если он снимает его, то я не знаю, какое из зол меньше. Мудро ли поступит дикарь, если он на этих условиях сменит свой вигвам на дворец?

Можно догадаться, что я свожу почти всю выгоду от приобретенной впрок ненужной собственности к тому, что таким образом можно отложить деньги на похороны. Но, может быть, человек не обязан сам себя хоронить? Тем не менее это указывает на существенное отличие цивилизованного человека от дикаря; не сомневаюсь, что имелось в виду наше благо, когда жизнь цивилизованного народа стала *системой*, при которой жизнь отдельного человека в значительной степени растворена в общей цели: сохранении и совершенствовании всей расы. Я хочу только показать, какой ценой достигается сейчас это преимущество, и предложить устроить нашу жизнь так, чтобы сохранить все преимущества и устранить недостатки. Зачем говорить: «Нищих вы всегда имеете с собою», или «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?[31]

«Живу я! — говорит господь бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.

Ибо вот, все души мои: как душа отца, так и душа сына — мои, душа согрешающая, та умрет»[32].

Глядя на своих соседей — конкордских фермеров, живущих во всяком случае не хуже других слоев населения, — я вижу, что им приходится работать 20, 30 и 40 лет, чтобы действительно стать владельцами своих ферм, которые они или наследуют вместе с закладными, или покупают на деньги, взятые займы. Треть их труда идет на оплату дома, но обычно они так и не выплачивают всей суммы. Правда, долги иногда превышают стоимость самой фермы, так что она становится величайшим бременем, и все-таки на нее находится наследник, хотя он и говорит, что знает ей цену. Расспросив податных инспекторов, я с изумлением узнал, что они затрудняются назвать в городе дюжину людей, у которых ферма не была бы обременена долгами. Историю этих усадеб лучше всего узнавать в банке, где они заложены. Человек, сполна расплатившийся за ферму только собственным трудом на ней, — это такая редкость, что вам его сразу укажут. Таких едва ли наберется трое во всем Конкорде. Если о торговцах говорят, что огромное большинство их — 97 из 100 — наверняка разоряется, то это относится и к фермерам. Правда, банкротство торговца, как правильно заметил один из них, большей частью не является настоящим денежным крахом, а лишь попыткой уклониться от выполнения затруднительных обязательств, т. е. крахом моральным. Но ведь это только бесконечно ухудшает картину и к тому же наводит на мысль, что и остальные трое едва ли спасают свои души и что они терпят крах в худшем смысле, чем честные банкроты. Банкротство и отказ от обязательств — вот та доска, с которой наша цивилизация совершает большую часть своих прыжков, тогда как дикарь стоит на другой доске, совсем не упругой: это — голод. А между тем у нас ежегодно с большой торжественностью устраивается Миддлсекская выставка скота, и можно подумать, что все части сельскохозяйственной машины находятся в полной исправности.

Фермер пытается решить проблему пропитания, но решает ее по формуле, более сложной, чем сама проблема. Чтобы заработать на шнурки для башмаков, он торгует целыми стадами. Он весьма искусно ставит капкан с тончайшей пружиной, надеясь добыть себе обеспеченность и независимость, и тут же сам попадает в него ногой. Вот причина его бедности; по той же причине и все мы лишены множества благ, доступных дикарю, хоть и окружены предметами роскоши. Как говорит Чапмен:

Людское суетное мнение

Во имя благ земных

Небесной радостью пренебрегает[33]

А когда фермер становится владельцем дома, он может оказаться не богаче, а беднее, потому что дом завладевает им. Я считаю, что Момус[34] справедливо критиковал дом, построенный Минервой, когда говорил, что «напрасно она не поставила его на колеса, чтобы можно было удаляться от плохого соседства». Это можно сказать и про наши дома, — они так громоздки, что часто оказываются скорее тюрьмами, чем жилищами; а дурные соседи, которых следует избегать, это мы сами, со всей нашей подлостью. Я, по крайней мере, знаю несколько здешних семей, которые много лет мечтают продать свои дома на окраине и перебраться в поселок, но так и не смогли осуществить это, и освободит их только смерть.

Допустим даже, что *большинству* удастся, наконец, приобрести или снять современный дом со всеми удобствами. Но цивилизация, улучшая наши дома, не улучшила людей, которым там жить. Она создала дворцы, но создать благородных рыцарей и королей оказалось труднее. *А если стремления цивилизованного человека не выше, чем у дикаря, если большую часть своей жизни он тратит лишь на удовлетворение первичных, низменных потребностей, почему жилище его должно быть лучше?*

Ну, а как обстоит с несчастным *меньшинством*? Оказывается, что чем больше некоторые возвысились над дикарями в отношении внешних условий жизни, тем больше принижены другие по сравнению с ними. Роскошь одного класса уравнивается нищетой другого. С одной стороны — дворец, с другой — приют для нищих и «тайные бедняки»[35] Бесчисленных рабов, строивших пирамиды для погребения фараонов, кормили чесноком, а хоронили, вероятно, кое-как. Каменщик, выложив карнизы дворца, возвращается вечером в лачугу, которая, может статься, хуже индейского вигвама. Ошибочно было бы думать, что если в стране существуют обычные признаки цивилизации, то в ней не может быть огромных масс населения, низведенных до уровня дикарей. Я сейчас говорю о деградации бедняков, а не богачей. Чтобы увидеть ее, мне достаточно заглянуть в лачуги, выстроенные вдоль всей железной дороги — этого последнего достижения цивилизации; я ежедневно вижу там людей, живущих в конурах, где дверь всю зиму стоит открытой, чтобы впустить хотя бы луч света, где не видно дров и трудно даже вообразить их, где старые и молодые одинаково сутулы, потому что вечно ежатся от холода и страданий и не в состоянии развиваться ни физически, ни духовно. Да, не мешает приглядеться к жизни того класса, чьим трудом осуществляются все достижения нашего века. В большей или меньшей степени таково положение всех рабочих Англии, этого всемирного рабочего дома. Я мог бы назвать также и Ирландию, которая считается цивилизованной страной, потому что населена белыми людьми. Сравните, однако, физическое состояние ирландца с северо-американским индейцем или жителем островов южных морей или любым другим дикарем, прежде чем он выродился от общения с белыми. При этом я не сомневаюсь, что правители этого народа не глупее обычного среднего уровня цивилизованных правителей. Состояние ирландцев лишь доказывает, какое убожество может ужиться с цивилизацией. Едва ли нужно указывать также на рабов в наших Южных штатах, которые производят основные продукты нашего вывоза и сами являются основной продукцией Юга. Будем говорить лишь о так называемом *среднем уровне жизни*.

Большинство людей, видимо, никогда не задумывается над тем, что такое дом, и всю жизнь терпит ненужные лишения потому, что считает обязательным иметь такой же дом, как у соседа. Так и с одеждой. Неужели нам необходимо носить все, что может скроить портной; неужели, миновав период шляп из пальмовых листьев и шапок из суркового меха, мы будем жаловаться на трудные времена из-за того, что нам не по средствам корона? Можно создать дом еще комфортабельнее и роскошнее нынешнего, но все будут вынуждены признать, что он никому не по карману. Неужели мы должны вечно стремиться добыть побольше всех этих вещей, а не стараться иногда довольствоваться меньшим? Неужели почтенные граждане всегда будут с важностью внушать юношам, и советом и примером, необходимость приобрести, прежде чем умереть, известное количество ненужных галош и зонтов или пустых гостиных для пустых гостей? Почему бы нашей обстановке не быть такой же простой, как у арабов или индейцев? Когда я думаю о благодетелях человеческого рода,

которых мы прославляем как посланцев небес, принесших человеку божественные дары, я не представляю их себе в сопровождении пышной свиты или повозки, нагруженной модной мебелью. Я готов допустить — странное допущение, не правда ли? — чтобы наша обстановка была богаче, чем у араба в той мере, в какой мы превосходим его нравственно и умственно. Сейчас наши дома сплошь заставлены и засорены всякой всячиной; хорошая хозяйка живо вымела бы большую ее часть в мусорную яму, и это было бы полезной утренней работой. Утренняя работа! Во имя румяной Авроры и песни Мемнона,[36] какова же должна быть *утренняя работа* человека в нашем мире? У меня на столе лежало три куса известняка, но я с ужасом убедился, что с них ежедневно надо сметать пыль, а у меня и в голове ничего еще не было обметено, и я с отвращением выбросил их в окно. Как же мне обзаводиться обстановкой? Лучше уж я посижу под открытым небом — ведь на траве пыль не скапливается, если человек не распахивает землю.

Моды создаются праздными богачами, а толпа прилежно им следует. Путешественник, останавливающийся в так называемых лучших отелях, скоро это обнаруживает, ибо трактирщики обязательно считают его Сарданапалом, и стоит ему поручить себя их попечениям, как они лишают его всех признаков мужественности. Мне кажется, что на железной дороге мы тратим на роскошь больше, чем на безопасность и удобства, и вагон грозит превратиться в современную гостиную с ее диванами, оттоманками, экранами и множеством других восточных прихотей, придуманных для гаремных дам и изнеженных обитателей Небесной Империи, — и все это мы берем с собой на запад, когда Джонатану[37] стыдно бы даже знать все это по названиям. Я лучше буду сидеть на тыкве, лишь бы спокойно, чем тесниться на бархатных подушках. Я лучше поеду по земле на волах и буду дышать чистым воздухом, чем отправлюсь на небо в роскошном вагоне экскурсионного поезда,[38] всю дорогу вдыхая губительные *миазмы*.

Самая простота и обнаженность жизни первобытного человека имела по крайней мере то преимущество, что он был только гостем природы. Подкрепившись пищей и сном, он был готов продолжать странствие. Он жил в легком шатре и то шагал по долине, то пересекал равнину, то взбирался на вершины гор. А сейчас, увы! люди стали орудиями своих орудий. Человек, срывавший плоды, чтобы утолить голод, стал фермером, а тот, кто укрывался под сенью дерева, — домовладельцем. Мы теперь не останавливаемся на краткий ночлег, мы осели на земле и позабыли о небе. Мы восприняли христианство лишь как улучшенное *землеустройство*. На этом свете мы выстроили себе фамильный особняк, а для того света — фамильный склеп. Лучшие произведения искусства стремятся выразить борьбу человека против этого рабства, но воздействие искусства сводится к украшению нашей низкой доли и заставляет забывать о высшей. В нашем поселке нет места *подлинному* произведению искусства, если бы оно и попало к нам, потому что наша жизнь, наши дома и улицы не могут служить ему достойным пьедесталом. Тут не найдется гвоздя, чтобы повесить картину, или полки, чтобы поставить бюст героя или святого. Когда подумаешь, как строятся и оплачиваются — или не оплачиваются — наши дома и как ведется в них хозяйство, удивляешься, отчего не разверзнется пол под гостем, который любит безделушками на камине; пусть бы он очутился в погребе, где у него будет хотя бы твердая почва под ногами. Я не могу не видеть, что ради этой так называемой богатой и утонченной жизни надо прыгать выше головы, и я не в состоянии наслаждаться украшающими ее предметами изящных искусств, ибо мое внимание всецело занято прыжком. Я вспоминаю, что рекорды

прыжков без шеста или иной поддержки, с помощью одних только мускулов, принадлежат кочевым арабским племенам, где, говорят, умеют прыгать на 25 футов в длину. Без опоры человек наверняка упадет на землю, не одолев такого расстояния. Первый вопрос, который мне хочется задать владельцу столь непристойной собственности, это — что послужило вам шестом? Кто вы — один из 97 банкротов, или один из трех преуспевших? Ответьте на эти вопросы, а тогда я смогу разглядывать ваши безделушки и находить их прекрасными. Впрягать телегу впереди лошади и некрасиво, и нецелесообразно. Прежде чем украшать наши дома красивыми вещами, надо очистить в них стены, очистить всю нашу жизнь и в основу всего положить жизнь подлинно прекрасную, а сейчас чувство прекрасного лучше всего развивать под открытым небом, где нет ни домов, ни домоправительниц.

Старый Джонсон в своем «Чудотворном провидении», говоря о первых жителях нашего города, своих современниках, рассказывает, что они «вначале рыли себе убежища в склоне холма, а землю выбрасывали наружу, на бревенчатый настил, и разводили дымный костер у самой высокой стенки». «Они не строили себе домов, — пишет он, — пока земля, с благословения божьего, не наплатила их хлебом», а первый урожай был у них такой скудный, что «им долго пришлось нарезать ломти очень тонко»[39]. Секретарь провинции Новые Нидерланды, который в 1650 г. писал по-голландски для сведения тех, кто хотел там селиться, более подробно говорит, что «жители Новых Нидерландов и особенно Новой Англии, когда не могут выстроить себе сразу дом, какой им хотелось бы, роют в земле прямоугольную яму, наподобие погреба, в шесть — семь футов глубиной, любой нужной им ширины и длины, внутри всю ее обкладывают деревом, а потом корьем, или еще чем-либо, чтобы земля не оседала, на дно настилают доски и из досок же делают потолок, а над ним — крышу из перекладин, на которые кладется кора или дерн, и в таких землянках живут всей семьей в сухости и тепле по два, три и четыре года; а смотря по семье ставят внутри их перегородки. Когда зачиналась колония, так селились самые богатые и именитые люди Новой Англии, и вот по каким причинам: во-первых, чтобы не тратить много времени на постройку и из-за этого не остаться без урожая, а во-вторых, чтобы не обидеть работников, которых они в большом числе привозили со старой родины. А года через три — четыре, когда земля была возделана, они выстроили себе отличные дома, затратив на них несколько тысяч»[40].

Поступая таким образом, наши предки проявляли хотя бы видимость благоразумия и старались прежде всего удовлетворить самые насущные потребности. Удовлетворяем ли мы их сейчас? Когда я думаю приобрести роскошный особняк, меня удерживает мысль, что страна еще не возделана под *человеческую* культуру, и что наш *духовный* хлеб мы нарезаем куда тоньше, чем наши предки нарезали пшеничный. Это не значит, что надо вовсе пренебрегать архитектурными украшениями, даже в самые трудные времена; но пусть наши жилища, там где они соприкасаются с нашей жизнью, будут прекрасны прежде всего изнутри, как выложенная перламутром раковина моллюска, а не погребены под ворохом украшений. Но, увы! Я побывал в некоторых из них и знаю, чем они выстланы.

Хотя мы не настолько еще выродились, чтобы не могли и сейчас жить в пещере или вигваме и одеваться в шкуры, лучше, разумеется, использовать преимущества — правда, купленные столь дорогой ценой, — которые предоставляют нам труд и изобретательный ум человечества. В наших местах доски и кровельная щепка, известь и кирпичи дешевле и

доступнее, чем подходящие пещеры, или цельные бревна, или кора в достаточном количестве, или даже хорошая глина и плоские камни. Я говорю об этом со знанием дела, ибо ознакомился с ним и в теории и на практике. Если бы нам немного больше ума, мы могли бы так использовать эти материалы, что стали бы богаче всех нынешних богачей и сделали бы нашу цивилизацию подлинным благом. Современный человек — это более опытный и мудрый дикарь. Однако мне пора вернуться к моему собственному эксперименту.

В конце марта 1845 г. я одолжил топор и пошел в лес, на берег Уолденского пруда, где я хотел выстроить себе дом, и начал валить еще молодые, высокие и стройные белые сосны. Трудно начинать дело без того, чтобы не одолжить что-нибудь, но это, быть может, самый великодушный способ приобщить ближнего к своему предприятию. Владелец топора, вручая его мне, сказал, что топор этот дорог ему, как зеница ока, но я вернул его острее, чем он был. Я работал на склоне живописного холма, покрытого сосняком, сквозь который мне был виден пруд и маленькая лесная поляна, где подрастал орешник и молодые сосенки. Лед на пруду еще не сошел, хотя уже был в полыньях и весь потемнел и набух. Пока я там работал, подымалась временами легкая метель, но обычно, когда я, возвращаясь домой, выходил на полотно железной дороги, песчаная насыпь ярко желтела сквозь легкую дымку, рельсы блестели под весенним солнцем, и я слышал пение жаворонков, чибисов и других птиц, уже прилетевших к нам начинать новый год. То были славные весенние дни, когда оттаивала не только земля, но и «злая зима»[41] и жизнь пробуждалась от спячки. Однажды, когда топор у меня соскочил с топорща и я камнем забил в него клин из зеленой ветки ореха и опустил в полынью, чтобы дать дереву разбухнуть, я увидел, как в воду скользнула полосатая змея; она пролежала на дне все время, пока я там возился, более четверти часа, и, видимо, не ощущала никакого неудобства, должно быть потому, что еще не вполне очнулась от спячки. Мне представилось, что и люди вот так же довольствуются своим нынешним жалким положением; а если бы они ощутили пробуждающую силу истинной весны, то непременно поднялись бы к более высокой и одухотворенной жизни. Мне и раньше попадались морозными утрами на тропинке змеи, частично окоченелые и негнущиеся — ожидавшие, чтобы солнце согрело и оживило их. Первого апреля пошел дождь и растопил лед; в первой половине дня стоял густой туман, и я слышал, как отбившийся от стаи дикий гусь искал дорогу над прудом и гоготал, словно потерянный, или дух тумана.

Так я несколько дней валил и рубил лес на стойки и стропила, и все это одним узким топором, без особо ученых или сколько-нибудь законченных мыслей в голове, напевая про себя:

Мы хвалимся, что знаем дело;

Увы! Все его улетело —

Искусства и науки,

И выдумки и штуки.

Ветерок порхает —

Вот все, что люди знают[42]

Главные бревна я вырубал в шесть квадратных дюймов, большую часть стоек обтесывал только с двух сторон, стропила и доски для пола только с одной стороны, а на других

оставлял кору, и они вышли куда прочнее пиленых и такие же прямые. Каждая была тщательно отделана на конце для крепления на шипах, ибо к тому времени я одолжил и другие инструменты. Мой рабочий день в лесу бывал не очень долг, но все же я обычно брал с собой завтрак — хлеб с маслом — и в полдень усаживался поесть на срубленные мною зеленые ветви сосен и читал газету, в которую был завернут завтрак; хвойный запах сообщался моему хлебу, потому что руки у меня были все в смоле. И хотя я срубил несколько сосен, но, познакомившись с ними поближе, я стал им скорее другом, чем врагом. Иногда на стук моего топора подходил прохожий, и мы заводили приятную беседу над кучей нарубленных мною щепок.

К середине апреля — ибо я не спешил с работой, а наслаждался ею — сруб был готов, и его можно было ставить. Я заранее купил на доски хижину Джеймса Коллинза, ирландца, работавшего на Фичбургской железной дороге. Хижина Джеймса Коллинза считалась отличной. Когда я пришел поглядеть ее, хозяина не было дома. Я обошел ее снаружи, невидимый обитателям, — так высоко было окошко. Она была маленькая, с островерхой крышей, и больше ничего разглядеть было нельзя, потому что грязи вокруг было на пять футов, точно тут заложили компост. Крепче всего была крыша, но и она сильно покоровилась от солнца. Порога не было, и под дверью был постоянный лаз для кур. Миссис К. вышла к дверям и пригласила меня осмотреть дом внутри. Куры при моем приближении укрылись в доме. Там было темно, пол был большей частью земляной — липкий, сырой, малярийный, и только местами лежали доски, просто потому, что их трудно было бы вытащить. Хозяйка засветила лампу, чтобы показать мне изнутри стены и кровлю, а также подтвердить, что доски были настланы даже под кроватью, и при этом остерегла, чтобы я не оступился в погреб — яму в два фута глубиной. По ее словам, «потолок был хоть куда, все доски хоть куда и окно тоже хоть куда» — в нем даже было вначале два целых стекла, да вот недавно их разбила кошка. В лачужке помещались печь, кровать, стул, ребенок, здесь же и родившийся, шелковый зонтик, зеркало в золоченой раме и новая патентованная кофейная мельница, прибитая к стволу молодого дубка. Сделка состоялась быстро, потому что к этому времени пришел Джеймс. Я должен был уплатить четыре доллара 25 центов, а он — освободить помещение к пяти часам утра следующего дня и уже больше никому его не продавать; я мог явиться к шести и вступить во владение своим имуществом. Следовало бы прийти даже пораньше, сказал он, чтобы опередить возможные, но совершенно несправедливые претензии по аренде земли, а также по счетам за дрова. Это, как он меня заверил, было единственным затруднением. В шесть часов утра он встретился мне на дороге со своим семейством. Все их имущество уместилось в одном большом узле — постель, кофейная мельница, зеркало, куры — все, кроме кошки. Она ушла в лес и стала дикой кошкой, а потом, как я слышал, попала в капкан, поставленный на сурков, так что стала в конце концов мертвой кошкой.

Я в то же утро разобрал их жилище, вытащил гвозди, перевез доски на тачке на берег пруда и разложил их в траве, чтобы солнце их выбелило и распрямило. Пока я вез тачку по лесной тропе, ранний дрозд раза два подал мне голос. Ирландский мальчишка предательски сообщил мне, что пока я ездил с тачкой, сосед Сили, тоже ирландец, рассовал по карманам все самые прямые и годные гвозди, костыли и скобы; когда я вернулся, он поздоровался как ни в чем не бывало и невинно поглядел на разрушение: «с работой сейчас трудно», — сказал он. Он у меня представлял зрителей и помог приравнять незначашее по-видимому событие к

переселению троянских богов[43].

Погреб я выкопал в южном склоне холма, где раньше была сурковая нора, — глубже корней сумаха и смородины и всякой другой растительности, шесть квадратных футов и семь в глубину, там, где начинается слой отличного мелкого песка и картофель не промерзнет в любую стужу. Края я сделал уступами и не выложил камнем, но этот песок никогда не видел света солнца и не осыпался до сих пор. Это отняло у меня не больше двух часов. Рытье доставило мне особенное удовольствие, ибо почти на всех широтах люди углубляются под землю в поисках более ровной температуры. Под самым роскошным городским домом вы найдете все тот же погреб, где, как и встарь, хранятся овощи. Дом давно исчез, а потомство обнаруживает его по углублению, оставленному им в земле. Наш дом по сути дела — все еще только крыльцо перед входом в нору.

Наконец, в начале мая, с помощью нескольких приятелей, приглашенных скорей ради добрососедских отношений, чем по необходимости, я поставил свой сруб. Никогда еще не было у человека столь достойных помощников[44]. Мне хочется верить, что им суждено возвести когда-нибудь более величественные строения. Я переселился в свой дом 4-го июля, как только он был обшит и покрыт крышей; доски имели тщательно скошенные края и заходили друг за друга, так что совершенно не пропускали дождя, но прежде чем обшивать, я сложил основание для печи, а для этого своими руками натаскал с пруда не менее двух возов камней. Печную трубу я выложил осенью, когда кончил мотыжить, но раньше, чем мне понадобилось топить, а до того стряпал рано утром под открытым небом, прямо на земле, и этот способ до сих пор считаю в некоторых отношениях более удобным и приятным, чем обычный. Если гроза заставляла меня, когда я пек хлеб, я укрывал огонь несколькими досками, сам укрывался под ними, и пока хлеб не был готов, проводил таким образом приятные часы. В те дни руки мои были постоянно заняты, и я мало читал, но зато всякий клочок печатной бумаги, попадавший на землю или служивший вместо скатерти или тряпки, доставлял мне не меньше удовольствия, чем «Илиада».

Стоило бы, пожалуй, строить еще неторопливее, чем это делал я: обдумывать, каково назначение в нашей жизни двери, окна, погреба, чердака, и ничего не возводить, пока для этого не будут обнаружены более веские основания, чем даже наши потребности на этом свете. В том, что человек сам строит свое жилище, есть глубокий смысл, как в том, что птица строит свое гнездо. Как знать, быть может, если бы люди строили себе дома своими руками и честно и просто добывали пищу себе и детям, поэтический дар стал бы всеобщим: ведь поют же все птицы за этим занятием. Но мы, к сожалению, поступаем подобно кукушкам и американским дроздам, которые кладут яйца в чужие гнезда и никого не улаждают своими немзыкальными выкриками. Неужели мы навсегда уступили плотникам радость строительства? Что же значит тогда архитектура для огромной массы людей? Никогда еще во время своих прогулок я не встречал человека за таким простым и естественным делом, как постройка собственного жилища. Мы стали всего лишь частицами общественного целого. Не только портной составляет одну девятую часть человека,[45] но также и проповедник, и торговец, и фермер. До чего же дойдет это бесконечное разделение труда? И какова, в сущности, его цель? Возможно, кто-нибудь другой смог бы даже и думать за меня, но вовсе не желательно, чтобы он это делал настолько, что я отвыкну думать сам.

Правда, у нас есть так называемые архитекторы, и я слышал об одном,[46] который словно величайшее откровение выдвинул мысль, что архитектурные украшения должны исходить из некоего смысла, быть необходимы и только поэтому прекрасны. Все это, может быть и хорошо с его точки зрения, но лишь немногим лучше обычного дилетантства. Этот сентиментальный реформатор архитектуры начал с карниза, а не с фундамента. Он заботится лишь о том, чтобы вложить в украшение некий смысл, как в конфету вкладывают миндаль или тминное зернышко, — хотя я нахожу, что миндаль полезнее без сахара, — вместо того, чтобы учить обитателей правдиво строить внутри и снаружи, а украшения сами приложатся. Неужели хоть один разумный человек полагает, что украшения — это нечто внешнее и поверхностное; что черепаха получила свой пятнистый панцирь, а устрица — перламутровые отливы своей раковины посредством такого же договора с подрядчиком, как жители Бродвея — свою церковь Троицы? Но человек так же не властен над архитектурным стилем своего дома, как черепаха над строением своего панциря; и солдату ни к чему расписывать свое знамя *всеми цветами* своей доблести. Противник все равно обнаружит истину. В час испытания солдат может побледнеть. Мне кажется, что этот архитектор оперся о карниз и робким шепотом сообщает свою полуправду грубым жильцам, которые знают ее лучше, чем он. Вся архитектурная красота, какую я сейчас вижу, постепенно выросла изнутри, из нужд и характера обитателей, которые одни только и являются подлинными строителями; из некоей бессознательной правдивости и благородства, не помышлявшего о внешнем; и всякой подобной красоте, которой еще суждено родиться, будет предшествовать бессознательная красота самой жизни. Наиболее интересными по архитектуре строениями в нашей стране, как известно художникам, являются скромные и непритязательные бревенчатые хижины бедняков; именно жизнь их обитателей, которым они служат скорлупой, а не одни лишь внешние особенности, делают их *живописными*; столь же интересен будет и пригородный коттедж горожанина, когда жизнь его станет так же проста, и ее так же приятно будет себе вообразить, а в облике его жилища не будет никакой погони за эффектом. Большая часть архитектурных украшений пуста в буквальном смысле этого слова, и осенний ветер мог бы сорвать их как заемные перья, без ущерба для самого здания[47]. У кого в погребе нет маслин и вина, тот может обойтись без *архитектуры*. Что было бы, если бы столько же украшений требовалось в литературе, и архитекторы наших библий уделяли бы столько же внимания карнизам, сколько строители церквей? Так вот и создаются *беллетристика, изящные искусства* и их служители. Что за дело человеку до того, какой наклон придан доскам над его головой или под ногами и в какие цвета окрашен его коттедж? Если бы он сам клал эти доски или красил их, это еще имело бы какой-то смысл, но когда от них отлетает дух их обитателя, это все равно, что сколачивать гроб, — это могильная архитектура, и сказать «плотник» — все равно, что сказать «гробовщик».

Некто, в приступе отчаяния или апатии, говорит: возьми пригоршню праха у своих ног и окрась в этот цвет свой дом. Может быть, он имеет в виду последнее тесное жилище? Подбросим монетку, чтобы это решить. Сколько же у него должно быть досуга! И зачем брать пригоршню праха? Лучше выкрасить дом под собственный цвет лица, и пускай он бледнеет или краснеет за тебя. Движение за улучшение архитектурного стиля жилых коттеджей! Когда мои украшения будут готовы, тогда я их и надену.

К зиме я сложил очаг и обшил стены гонтом, хотя они и без того не пропускали воду, — грубым, сырым гонтом из первого распила бревна, который мне пришлось выравнять по краям фуганком.

У меня получился, таким образом, теплый, обшитый и оштукатуренный дом, десять футов на пятнадцать, с восьмифутовыми столбами, с чердаком и чуланом, с большим окном на каждой стороне, с двумя люками в полу, с входной дверью на одном конце и кирпичным очагом — на противоположном. Ниже я привожу точную стоимость моего дома, при обычных ценах на материалы, но не считая работы, которую я целиком произвел сам; все эти подробности я даю потому, что лишь очень немногие сумели бы точно указать, во что обошелся их дом, и почти никто не скажет, сколько стоили в отдельности различные материалы, которые на него пошли:

Доски — 8 долл. 03 1/2 ц. (большой частью из хижины)

Бросовый гонт на кровлю и стены — 4.00

Дранка — 1.25

Две подержанные рамы со стеклами — 2.43

Тысяча шт. старого кирпича — 4.00

Два бочонка извести — 2.40 (дорого)

Пакля — 0.31 (больше, чем мне требовалось)

Железная дверца для печи — 0.15

Гвозди — 3.90

Петли и винты — 0.14

Щеколда — 0.10

Мел — 0.01

Доставка — 1.40 (большую часть я принес на своей спине)

Итого — 28 долл. 12 1/2 ц.

Вот и все, кроме леса, камней и песка, которые я брал на правах скваттера. При доме у меня есть небольшой дровяной сарай, построенный главным образом из остатков материалов.

Я намерен выстроить себе дом, который красотой и великолепием превзойдет все, что имеется на главной улице Конкорда, при условии, чтобы он так же нравился мне, как нынешний, и обошелся не дороже.

Итак, я обнаружил, что служитель науки, нуждающийся в жилище, может сам выстроить его себе на всю жизнь за ту же цену, какую он сейчас ежегодно платит домохозяину. Если вам кажется, что я непомерно расхвастался, я могу оправдаться тем, что хвастаю ради людей больше, чем ради себя; и все мои погрешности и непоследовательности не умаляют правды моих слов. Несмотря на большую долю ханжества и лицемерия — мякину, которую мне трудно отделить от моего зерна, но на которую я сам досаую не меньше другого, — я хочу свободно дышать и дать себе волю; ведь это такое облегчение для души и тела; и я твердо решил, что не стану из скромности адвокатом дьявола[48]. Я хочу замолвить слово за правду. В Кембридже[49] одна только комната, немногим больше моей, обходится студенту в тридцать долларов в год, хотя корпорации строительство обошлось дешевле, потому что она строила их сразу тридцать две под одной крышей; и к тому же жилец вынужден терпеть многочисленных и шумных соседей, да еще может оказаться на четвертом этаже. Если бы мы были мудрее в этих вопросах, нам не только требовалось бы меньше образования, потому что мы отчасти получали бы его попутно, но и расходы на образование очень сильно сократились бы. Те удобства, какие требуются студенту в Кембридже или другом месте, стоят ему или кому-то другому в десять раз больше сил, чем было бы возможно при разумном подходе обеих сторон к делу. То, что стоит всего дороже — это отнюдь не то, что всего нужнее студенту. Важную статью его расходов за семестр составляет плата за обучение, а за то, гораздо более ценное, образование, которое дает ему общение с наиболее культурными из его современников, с него ничего не взимают. Для основания колледжа обычно проводят подписку, а затем, слепо следуя принципу разделения труда — принципу, который надо бы всегда применять осмотрительно, — приглашают подрядчика, который на этом наживает, а тот нанимает ирландцев или других рабочих, чтобы заложить фундамент, а будущие студенты тем временем якобы готовят себя к поступлению, и за этот недосмотр расплачиваются следующие поколения. Я считаю, что *было бы лучше*, если бы студенты и все, кто хочет получить пользу от колледжа, сами клали его фундамент. Студент, добывающийся желанного досуга и покоя упорным уклонением от всякого полезного труда, получает досуг постыдный и бесплодный, лишая себя того опыта, который один только может сделать досуг плодотворным. «Но, — скажут мне, — не хотите же вы, чтобы студенты работали руками, а не головой?» Я хочу не совсем того, но читателю это может представиться именно так: я хочу, чтобы студент не *играл* в жизнь, и не просто изучал ее, пока общество оплачивает эту дорогую игру, а серьезно *участвовал* в жизни от начала до конца. Что может лучше научить юношу жить, как не непосредственный опыт жизни? Думается, что он будет не худшим упражнением для их ума, чем математика. Если бы я хотел, чтобы юноша усвоил науки и искусства, я не поступил бы, как сейчас принято, то есть не послал бы его к профессору, который изучает что угодно, кроме жизни, чтобы он там глядел на мир в телескоп или в микроскоп, лишь бы только не собственными глазами; изучал химию, но не узнал как пекут хлеб; или механику, но не узнал, как этот хлеб зарабатывают; открывал новых спутников Нептуна, а в собственном глазу не видел сучка и не знал, чей спутник он сам, какого блуждающего небесного тела; созерцал чудовищ, плавающих в капле уксуса, а в это время дал себя пожрать чудовищам, которые кишат вокруг него. Кто научится большому к концу месяца — мальчик, который сам выковал себе нож из металла, им самым добытого и выплавленного, и прочел при этом столько, сколько нужно для этой работы, или мальчик, который вместо этого посещал в институте лекции по металлургии, а ножик Роджерса[50] получил в подарок от отца? Кто из них скорее порежет себе палец?.. Оканчивая колледж, я с

удивлением узнал, что я, оказывается, изучал там навигацию! Да если бы я раз прошелся по гавани, я узнал бы о ней больше. Даже бедному студенту преподают только *политическую* экономию, а экономией жизни, или другими словами, философией в наших колледжах никто серьезно не занимается. В результате, читая Адама Смита, Рикардо и Сэя,[51] студент влезает в долги и разоряет своего отца.

Так же, как с нашими колледжами, обстоит дело с сотней других «современных достижений»; в них много иллюзорного и не всегда подлинный прогресс. Дьявол продолжает взимать сложные проценты за свое участие в их основании и за многочисленные последующие вклады. Наши изобретения часто оказываются занятыми игрушками, отвлекающими нас от серьезных дел. Это лишь усовершенствованные средства к цели, а сама-то цель не усовершенствована и чрезмерно легко достижима — все равно, что поехать по железной дороге в Бостон или Нью-Йорк. Мы очень спешим с сооружением магнитного телеграфа между штатами Мэном и Техасом; ну, а что, если Мэну и Техасу нечего сообщать друг другу? Они окажутся в положении человека, который стремился быть представленным некой важной глухой даме,[52] а когда это состоялось, и один конец ее слуховой трубки оказался у него в руке, ему нечего было сказать. Неужели главная цель в том, чтобы говорить побыстрей, а не в том, чтобы говорить разумно? Мы стремимся прорыть туннель под Атлантическим океаном и на несколько недель сократить путь от Старого Света к Новому; но первой вестью, которая достигнет жадного слуха Америки, может оказаться весть о коклюше принцессы Аделаиды[53]. Если у кого лошадь делает милю в минуту, это еще не значит, что он везет самые важные вести; он не евангелист и не питается акридами и диким медом[54]. Я сомневаюсь, чтобы Летучий Чайлдерс,[55] когда-нибудь подвез на мельницу хоть четверть бушеля зерна.

Кто-то сказал мне: «Удивляюсь, что вы не откладываете деньги; ведь вы любите путешествовать; вы могли бы сесть в вагон и хоть сегодня же поехать в Фичбург[56] повидать новые места». Но я не так глуп. Я знаю, что быстрее всего путешествовать пешком. Я сказал своему приятелю: посмотрим, кто доберется туда раньше. Расстояние — тридцать миль; проезд стоит девяносто центов. Это почти равно дневному заработку. Я помню, когда на этой самой дороге рабочим платили шестьдесят центов в день. Итак, я выхожу пешком и к вечеру буду уже на месте; мне приходилось ходить по стольку и целыми неделями подряд. А тебе надо сперва заработать на проезд, и ты будешь там завтра, или может быть, к ночи, если посчастливится вовремя найти работу. Вместо того, чтобы идти в Фичбург, ты почти весь день проработаешь здесь. Если железная дорога опояшет всю землю, думаю, что и тогда я буду тебя обгонять; а что касается знакомства со страной и всякого рода опыта, тут тебе и вовсе за мной не угнаться.

Таков всеобщий закон, который никому не удастся обойти; мы видим на примере железной дороги, что тут выходит то же на то же. Соорудить кругосветную железную дорогу, доступную всем людям, это все равно что нивелировать всю поверхность планеты. Людям смутно представляется, что стоит только дать орудовать акционерным компаниям и лопатам, — и все смогут куда-то доехать в мгновение ока и притом задаром; и действительно — на вокзале собирается толпа и кондуктор выкрикивает: «Просьба занять места!»; но когда рассеется дым и осядет пар, окажется, что поехали лишь немногие, а остальных переехало, и это будет названо «несчастливым случаем», достойным всяческого

сожаления. Те, кто зарабатывает на проезд, конечно, смогут поехать, если доживут, но скорее всего они к тому времени отяжелеют, и им уже никуда не захочется ехать. Эта трата лучших лет жизни на то, чтобы заработать и потом наслаждаться сомнительной независимостью в оставшиеся, уже отнюдь не лучшие годы, напоминает мне об англичанине, который хотел сперва разбогатеть в Индии, а потом вернуться в Англию и жить жизнью поэта[57]. Лучше бы он сразу поселился на чердаке. «Как! — воскликнет миллион ирландцев, выскакивая повсюду из своих лачуг. — Неужели плоха дорога, которую мы построили?» «Нет, — отвечаю я. — *Относительно* неплоха, она могла бы получиться и хуже, но как своим ближним я пожелал бы вам получше провести время, вместе того, чтобы копаться в этой грязи».

Еще до окончания постройки, желая честно и приятно заработать десять-двенадцать долларов для покрытия лишних расходов, я засадил прилегающие к дому два с половиной акра легкой песчаной почвы главным образом бобами, а отчасти картофелем, кукурузой, горохом и свеклой. Весь участок в одиннадцать акров, заросший большей частью соснами и орешником, был за год до того продан по восемь долларов восемь центов за акр. Один фермер сказал, что он «годился только, чтобы разводить писклявых белок». Я совершенно не удобрял землю, будучи не владельцем, а только скваттером и не предполагая опять столько сеять, и даже не промотыжил ни разу всего огорода целиком. При вспашке я выкорчевал немало пней, которых мне надолго хватило на дрова; на их местах остались маленькие участки целинной почвы, которые все лето легко было различить — так буйно разрослись на этих местах бобы. Кроме того, я использовал на топливо сухостой за домом, большей частью негодный для продажи, и бревна, выловленные из пруда. Для вспашки пришлось нанять человека и упряжку, хотя за плугом ходил я сам. Расходы по моей ферме в первый год на орудия, семена, работу и пр. составили 14 долл. 72 1/2 цента. Кукурузу для посева я получил даром. Это никогда не бывает статьей расхода, если не сеять лишнего.

Я собрал двенадцать бушелей бобов и восемнадцать бушелей картофеля, а кроме того, немного гороха и сахарной кукурузы. С зубовидной кукурузой и брюквой я запоздал, и из них ничего не получилось.

Доход от фермы составил: 23 доллара 44 ц.

За вычетом расходов: 14 долларов 72 1/2 ц.

Чистого дохода: 8 долл 71 1/2 ц.

Это — не считая потребленных мной продуктов и тех, что у меня еще оставались в запасе, когда я подсчитывал, — примерно на 4 доллара 50 центов; запас этот с избытком компенсировал то, что я потерял, когда решил не сеять травы. Принимая во внимание все, в том числе ценность человеческой души и сегодняшнего дня, и несмотря на краткость моего эксперимента, а может быть, именно благодаря его краткости, я, вероятно, преуспел в тот год больше, чем любой фермер в Конкорде.

На следующий год я преуспел еще более, потому что вскопал всю землю, какая была мне нужна — около трети акра; не преклоняясь перед многими знаменитыми руководствами по

сельскому хозяйству, в том числе книгой Артура Юнга,[58] я на опыте этих двух лет усвоил, что если жить просто и есть только то, что сеешь, а сеять не больше, чем можешь съесть и не стремиться обменять свой урожай на недостаточное количество более роскошных и дорогих вещей, то для этого довольно крохотного участка; что эту землю выгоднее вскопать лопатой, чем пахать на волах; что лучше время от времени переходить на новое место, чем удобрять старое; что все работы можно выполнить шутя, между делом, в летние дни, и, значит, не надо обременять себя волом, лошадью, коровой или свиньей, как это сейчас принято. Я стараюсь обсуждать этот вопрос беспристрастно, как лицо, не заинтересованное в успехе или крахе нынешнего экономического и общественного порядка. Я был независимее любого фермера в Конкорде, ибо не был привязан к дому или ферме и мог свободно следовать своим склонностям, а они весьма причудливы. Дела у меня обстояли лучше, чем у них, и даже если бы сгорел мой дом или погиб урожай, они почти не пошатнулись бы.

Мне часто кажется, что не люди пасут стада, а стада гоняют людей, — настолько первые свободнее. Люди и волы работают друг на друга, но если считать один лишь полезный труд, то все преимущество окажется на стороне волов, — настолько их участки обширнее. Часть работы, выполняемой за вола, приходится у человека на шесть недель сенокоса, — и работа эта нешуточная. Ни одна нация, живущая во всех отношениях просто — то есть, ни одна нация философов — не была бы способна на такую глупость, как применение рабочего скота. Правда, нации философов никогда еще не было и едва ли скоро будет, — да я и не уверен, что ее появление желательно. Но должен сказать, что я не стал бы приручать лошадь или быка и брать их на содержание ради работы, которую они могли бы для меня выполнить, — я боялся бы целиком превратиться в конюха или пастуха; если общество и выиграло от этого приручения, то ведь выигрыш одних может оказаться проигрышем для других, и я не уверен, что конюх имеет те же основания считать себя в выигрыше, что и хозяин. Допустим, что некоторые общественные работы не могли быть выполнены без этой помощи; что ж, пусть человек в таких случаях делит славу с волом и лошадью. Но разве он не сумел бы вместо этого совершить другое дело, еще более достойное его? Когда люди применяют рабочий скот не только для возведения памятников искусства, в сущности ненужных, но и для пустых прихотей роскоши, другим людям поневоле приходится целиком работать на этот скот, иначе говоря, стать рабами сильнейших. И вот человек не только угождает животному, которое живет в нем самом, но и вынужден работать — и в этом есть символический смысл — на животных, живущих в его хлевах. Хотя у нас много прочных домов из кирпича и камня, благосостояние фермера поныне измеряется тем, насколько хлев у него больше дома. Говорят, что наш город имеет самые просторные в здешних краях помещения для волов, коров и лошадей; не отстают от них и общественные здания, но как мало в нашем округе зданий для свободной молитвы и свободных речей[59]. Нациям следовало бы увековечивать себя не памятниками архитектуры, а памятниками мысли. Насколько «Бхагаватгита»[60] величественнее всех руин Востока! Башни и храмы — это роскошь для королей. А прямой и независимый ум не станет трудиться по монаршему приказу. Гений не состоит в свите императора и для воплощения его замыслов ему не нужно много золота, серебра и мрамора. К чему, спрашивается, столько тесаного камня? Когда я был в Аркадии, я его что-то не заметил. Нации одержимы честолюбивым стремлением увековечить себя в тесаных камнях. Лучше бы они потратили столько же труда на то, чтобы обтесать и отшлифовать свои нравы! Один разумный поступок был бы памятнее любого

памятника высотой до самой луны. Мне больше по душе камни в их природном виде. Величие Фив было вульгарным. Лучше низенькая стенка вокруг усадьбы честного человека, чем стовратные Фивы, где люди забыли об истинной цели жизни. Религия и культура варварских и языческих эпох оставила после себя великолепные храмы, но так называемый христианский мир этого не делает. Сколько бы камня ни обтесывала нация, он идет большей частью на ее гробницу. Под ним она хоронит себя заживо. Самое удивительное в пирамидах — это то, что столько людей могло так унизиться, чтобы потратить свою жизнь на постройку гробницы для какого-то честолюбивого дурака. Они поступили бы умнее и достойнее, если бы утопили его в Ниле, а потом бросили на съедение псам. Может быть, и можно придумать что-нибудь в оправдание им и ему, но мне это делать недосуг. Что касается веры и любви строителей к своему делу, то она всюду одинакова — будь то египетский храм или банк Соединенных Штатов. Она обходится дороже, чем того стоит. Главным двигателем является тщеславие в сочетании с пристрастием к чесноку и хлебу с маслом. Мистер Болком, молодой архитектор, подающий надежды, чертит проект на обложке своего Витрувия[61] с помощью жесткого карандаша и линейки, а потом подряд передается Добсону и Сыновьям, каменотесам. Когда с высоты этого сооружения на вас глядят тридцать веков, люди тоже начинают поглядывать на него с почтением. Все эти башни и монументы напоминают мне одного здешнего сумасшедшего, который задумал дорыться до Китая и так глубоко ушел в землю, что уверял, будто уже слышит звон китайских горшков и кастрюль; но я вовсе не склонен идти любоваться выкопанной им ямой. Многим хотелось бы знать имена строителей прославленных памятников Запада и Востока. А мне скорее хотелось бы знать, кто в те времена не строил — кто был выше этих пустяков. Но возвращаюсь к своей статистике.

За это время я заработал на селе — землемерными, плотничьими и другими поденными работами, ибо я знаю столько ремесел, сколько у меня пальцев на руках — 13 долларов 34 цента. Привожу расходы на еду за восемь месяцев — с 4 июля по 1 марта, когда я произвел эти подсчеты, хотя всего я прожил там более двух лет, — не считая картофеля, небольшого количества зеленой кукурузы и гороха, которые я вырастил сам, а также стоимости запасов, еще остававшихся у меня к этому дню:

Рис — 1 долл. 73 1/2 ц.

Патока — 1.73 (самое дешевое из сахаристых веществ)

Ржаная мука — 1.04 3/4

Кукурузная мука — 0.99 3/4 (дешевле ржаной)

Свинина — 0.22

Эти опыты оказались неудачными:

Пшеничная мука — 0.88 (дороже и больше хлопот)

Сахар — 0.80

Свиное сало — 0.65

Яблоки — 0.25

Сушеные яблоки — 0.22

Бататы — 0.10

Одна тыква — 0.06

Один арбуз — 0.02

Соль — 0.03

Да, я действительно съел продуктов на 8 д. 74 ц.; я не стал бы признаваться в этом столь беззастенчиво, если бы не знал, что большинство моих читателей виновно наравне со мной и что их деяния выглядели бы в печати не лучше. В следующем году мне иногда удавалось наловить к обеду рыбы, а однажды я даже убил сурка, который опустошал мое бобовое поле, — осуществил переселение его души, как оказал бы татарин, и съел его, больше ради эксперимента; я получил некоторое удовольствие, несмотря на привкус мускуса, но увидел, что вводить это в обиход не стоит, даже если бы готовые тушки сурков продавались в мясной лавке.

За то же время расходы на одежду и некоторые другие случайные расходы составили: 8 долл. 40 $\frac{3}{4}$ ц.

Масло для лампы и разная домашняя утварь: 2 долл.

Таким образом, все расходы, кроме стирки и штопки, которую я большей частью отдавал на сторону и за которую еще не получил счетов, — и больше уж, кажется, в наших местах не на что тратиться — выразились в следующих цифрах:

Дом — 28 долл. 12 $\frac{1}{2}$ ц.

Ферма за год — 14.72 $\frac{1}{2}$

Питание за 8 мес. — 8.74

Одежда и пр. за — 8 мес. 8.40 $\frac{3}{4}$

Масло для лампы и пр. за 8 мес. — 2.00

Итого — 61 долл. 99 $\frac{3}{4}$ ц.

Обращаюсь теперь к тем из моих читателей, которым приходится зарабатывать себе на жизнь. Для покрытия этих расходов мной было:

Продано выращенных с.-х. продуктов на 23 долл. 44 ц.

Заработано поденной работой — 13.34

Итого — 26 долл. 78 ц.

Если вычесть это из моих расходов, остается 25 долл. 21 3/4 ц. — примерно та сумма, с которой я начал свой опыт. Таков, следовательно, дебет. А в кредит надо занести — не считая того, что я обеспечил себе досуг и независимость и укрепил свое здоровье — еще и удобный дом, где я могу жить сколько мне вздумается.

Эти цифры могут показаться случайными и поэтому недоказательными; однако в них есть некоторая полнота, а потому и некоторая ценность. Я отчитался во всем, что получил. Из приведенных цифр видно, что питание обходилось мне деньгами двадцать семь центов в неделю. Почти два года после этого оно состояло из ржаного и кукурузного хлеба без дрожжей, картофеля, риса, очень небольшого количества соленой свинины, патоки и соли, а напитком служила вода. Как поклоннику индийской философии мне подобало питаться главным образом рисом. Предвосхищая неизбежные возражения придирчивых людей, я могу заявить, что, если иногда обедал в гостях, как делал и раньше и надеюсь делать впредь, — это нарушало заведенный дома порядок. Но стоимость этих обедов, как величина постоянная, ни в коей мере не может отразиться на моей сравнительной статистике.

На своем двухлетнем опыте я убедился, что добыть необходимое пропитание удивительно легко, даже в наших широтах; что человек может питаться так же просто, как животные, и при этом сохранить здоровье и силу. Мне случалось вполне удовлетворительно пообедать одним портулаком (*Portulaca oleracea*), сорванным у меня на поле и сваренным в подсоленной воде. Я привожу латинский термин ради аппетитной второй части[62]. Чего еще, спрашивается, желать разумному человеку в мирное время и в будние дни, кроме хорошей порции кукурузы, сваренной с солью? Даже то разнообразие, какое я себе позволял, было скорее уступкой требованиям аппетита, чем здоровья. А люди дошли до того, что умирают не от недостатка необходимого, а от потребности в излишествах, и я знаю женщину, которая убеждена, что сын ее скончался оттого, что стал пить одну воду.

Читатель, вероятно, заметил, что я подхожу к своему предмету скорее с экономической, чем с диетической точки зрения, и не решится повторить мой опыт воздержания, если у него нет в кладовой богатых запасов.

Хлеб я пек сперва из чистой кукурузной муки с солью, в виде плоских лепешек, и пек их на огне, под открытым небом, на щепке или на конце палочки, взятой с моей стройки, но они получались закопченными и отзывали смолой. Пробовал я и пшеничную муку, но в конце концов остановился на смеси ржаной муки с кукурузной, которая всего вкуснее и удобнее для выпечки. В холодные дни было очень приятно печь из нее, по одному, маленькие хлебцы, поворачивая их так же тщательно, как египтяне — яйца, из которых они искусственно выводили цыплят. В моих руках созрел подлинный плод полей, казавшийся мне таким же ароматным, как другие благородные плоды, и я старался сохранить этот аромат подольше, заворачивая хлебы в полотенца. Я изучил древнее и важное искусство хлебопечения по доступным мне источникам с самого его зарождения, с первого пресного хлеба, когда человек после первобытной дикости орехов и мяса впервые вкусил этой

утонченной пищи; я прочел далее о случайно скисшем тесте, которое, как полагают, навело людей на мысль о заквашивании, а затем о различных способах заквашивания, вплоть до «доброго, здорового, вкусного хлеба», опоры жизни. Дрожжи, почитаемые некоторыми за душу хлеба, за *spiritus*, оживляющий его клетчатку, и поэтому тщательно хранимые, подобно девственному огню, — в Америку они, вероятно, были доставлены в какой-нибудь бутылки, бережно привезенной на «Мэйфлауэре», [63] и с тех пор их волны все выше вздымаются, все шире разливаются по стране, — дрожжи я регулярно и заботливо добывал в деревне, но однажды, позабыв правило, обдал их кипятком; благодаря этой случайности я обнаружил, что и в них нет необходимости — ибо свои открытия я делал не синтетическим, а аналитическим путем — и с тех пор обходился без них, хотя большинство хозяек заверяло меня, что настоящий полезный хлеб без дрожжей не получается, а старики пророчили мне быстрый упадок сил. Я установил, однако, что дрожжи не являются главным ингредиентом: прожив без них год, я еще не отправился на тот свет и был рад избавиться от скучной необходимости таскать в кармане бутылку, которая иногда, к моему смущению, выталкивала пробку и содержимое. Обходиться без них проще и достойнее. Человек более всех животных способен применяться к самым различным климатам и обстоятельствам. Не клал я также в хлеб ни соли, ни соды, ни других кислот или щелочей. По-видимому, я пек его по рецепту, предложенному за два века до христианской эры Марком Порцием Катоном [64] «*Panem depsticum sic facito. Manus mortariumque bene lavato. Farinam in mortarium indito, aquae paulatim addito, subigitoque pulchre. Ubi bene subegeris. defingito, coquitoque sub testu*». Это, насколько я понимаю, означает: «Пеки хлеб так: хорошенько вымой руки и квашню. Засыпь муку в квашню. Воду вливай постепенно и вымешивай тщательно. Когда вымесишь, придай хлебу форму и выпекай в закрытой посуде», то есть в кастрюле. О дрожжах тут не сказано ни слова. Однако я не все время имел эту «опору жизни». Однажды из-за пустоты моего кошелька мне не довелось есть ее более месяца.

Каждый житель Новой Англии легко мог бы сам выращивать свой хлеб в нашем краю ржи и кукурузы и не зависеть от отдаленных и изменчивых рынков. Но мы так отдалились от простоты и независимости, что в Конкорде редко найдешь в лавке свежую кукурузную муку, а мамалыгу не употребляет почти никто. Обычно фермер отдает выращенные им злаки окоту и свиньям, а сам покупает в лавке пшеничную муку, более дорогую и уж во всяком случае не более полезную. Я увидел, что легко смогу вырастить нужные мне бушель или два ржи и кукурузы — первая родится даже на самой плохой земле, а вторая тоже не очень прихотлива, — смолоть их на ручной мельнице и обойтись без риса и свинины. А если нужен сахар, оказалось, что у меня получается отличная патока из тыквы или свеклы; чтобы добыть ее еще проще, мне надо было посадить несколько кленов, а пока они растут, употреблять в пищу другие сахаристые вещества, кроме названных. Ибо, как пели наши деды:

*Для сладкой настойки все в дело идет,
Щепа от ореха и тыквенный мед* [65]

Что касается соли, простейшего из бакалейных товаров, то она могла служить поводом для прогулки на морской берег, но можно обходиться и без нее — просто будешь меньше пить воды. Я не слыхал, чтобы индейцы давали себе труд ее добывать.

Так оказалось, что по части пищи я мог обойтись без всякой купли и мены; кров у меня уже был, оставались только одежда и топливо. Брюки, которые я сейчас ношу, были из домотканого сукна, — слава богу, что эта добродетель еще сохранилась, ибо превращение фермера в рабочего я считаю таким же великим и достопамятным падением, каким было грехопадение, превратившее человека в фермера. Топлива в такой новой стране, как наша, некуда девать. А что до права жительства, то если бы мне не разрешили жить и дальше на правах скваттера, я мог бы купить акр земли за ту же цену, по какой был продан обработанный мною участок, — то есть за восемь долларов восемь центов. Но я считал, что повышаю стоимость земли тем, что поселился на ней.

Есть скептики, которые иногда спрашивают меня, действительно ли я способен питаться одной растительной пищей. Чтобы сразу в корне пресечь расспросы, ибо в корне — вера, я обычно отвечаю, что могу питаться гвоздями. Если они этого не поймут, едва ли они поймут меня вообще. А я с удовольствием слышу о подобных опытах, например, о юноше, который пробовал в течение двух недель питаться сырыми початками кукурузы, перетирая их зубами. Беличье племя проделывает это с успехом. Такие эксперименты идут на пользу человеческому роду, хотя и тревожат некоторых старых баб, неспособных к ним из-за отсутствия зубов или владеющих контрольным пакетом акций в мукомольной промышленности.

Моя обстановка, которую я частично сделал сам и на которую не затратил ничего сверх сумм, указанных мною выше, состояла из кровати, стола, письменного стола, трех стульев, зеркала диаметром в три дюйма, щипцов, таганка, котелка, кастрюли, сковороды, черпака, таза, двух ножей и вилок, трех тарелок, одной кружки, одной ложки, кувшина для лампового масла, кувшина для патоки и лакированной лампы. Даже последнему из бедняков необязательно сидеть на тыкве. Для этого надо быть уж совсем неумелым. Стулья, которые мне больше всего нравятся, можно найти на деревенских чердаках, и вам их охотно отдадут даром, только унесите. Мебель! Слава богу, я могу сидеть и стоять без помощи мебельного склада. Кто, кроме философа, способен сложить свою мебель на воз и перевозить ее, не стыдясь людских глаз и света небесного, — это такое убогое собрание пустых ящиков? А ведь такова мебель Сполдинга[66]. Глядя на груженные возы, я никогда не мог определить, кому они принадлежат — так называемому богачу или бедняку: их владелец всегда казался мне бедняком. Чем больше у нас всего этого, тем мы беднее. В каждом таком фургоне словно умещается содержимое целой дюжины лачуг; и если лачуга бедна, значит, тут бедности в 12 раз больше. Зачем мы *переезжаем*, как не для того, чтобы отделаться от нашей мебели, нашей старой, сброшенной кожи? — а там, смотришь, и перебраться в иной мир, обставленный заново, а все здешнее предать сожжению. Так и кажется, будто все эти пожитки прицеплены к человеку, и он, передвигаясь по нашей пересеченной местности, вынужден тащить за собой капкан. Счастлива лиса, оставившая в капкане свой хвост[67]. Мускусная крыса лишь бы освободиться, отгрызает себе лапу. Неудивительно, что человек утратил подвижность. Как часто он застревает в пути! «Простите, сэр, но что вы под этим подразумеваете?» Если вы проницательны, то при виде человека вы видите за его спиной также и все, чем он владеет, и даже многое, от чего он якобы отрекается, — все, вплоть до кухонной обстановки и прочего хлама, который он накопил и не хочет сжечь: он точно впряжен в этот воз и лишь с трудом может продвигаться. Я считаю, что человек застрял, когда он пролез в какой-нибудь лаз или

ворота, куда он не может протащить свой фургон с мебелью. Я невольно испытываю сострадание, слыша, как здоровый, подвижной и, по-видимому, свободный человек беспокоится о своей «обстановке», застрахована ли она: «Что мне делать с моей обстановкой?» Это значит, что легкий мотылек запутался в паутине. Даже те, у кого как будто ничего нет, если приглядеться поближе, что-нибудь да хранят в чужом сарае. Англия наших дней представляется мне старым джентльменом, который путешествует с большим багажом, со всем хламом, накопившимся за долгое хозяйствование, и не решается его уничтожить: тут и сундук, и сундучок, и картонка, и узел. Бросил бы хоть первые три! Ни у одного здорового человека в наше время не хватит сил встать, взять постель свою и пойти[68]. А больному я уж, конечно, посоветую бросить свою постель и бежать. Встречая иммигранта, согбенного под тяжестью узла, в котором находится все его имущество и который похож на гигантскую опухоль, выросшую у него на шее, я жалею его не потому, что тут все его достояние, а потому, что ему столько приходится тащить. Если мне суждено влачить свой капкан, я постараюсь, чтобы он был легким и не защемил важного для жизни органа. Самым мудрым было бы вероятно совсем не совать туда лапу.

Замечу, кстати, что я не расходовался на занавеси, ибо ко мне никто не заглядывал, кроме солнца и луны, а против них я ничего не имею. Луна не сквасит мне молоко[69] и не испортит мяса, солнце не повредит мебель и ковры, а если ласка его бывает иной раз чересчур горяча, я предпочту укрыться за каким-нибудь занавесом, созданным самой природой, но не обзаводиться лишней вещью. Одна дама предложила мне половик, но в доме не нашлось бы для него места, а у меня — времени, чтобы его выбивать, и я отклонил подарок, предпочитая вытирать ноги о дерн перед дверью. Зло лучше пресекать в самом начале.

Недавно я присутствовал на распродаже вещей одного диакона, преуспевшего в жизни:

Людей переживают их грехи [70]

Как водится, большая часть вещей была хламом, который начал накапливаться еще при жизни его отца. В числе других предметов оказался сушеный солитер. Пролежав полвека на чердаке и в чуланах, эти вещи не были сожжены; вместо очистительного *костра* для их уничтожения, устроили *аукцион*, что означает «увеличение». Соседи сбежались посмотреть их, скупили их и бережно перенесли на свои чердаки и в чуланы, чтобы хранить вплоть до собственной смерти, и тогда их снова извлекут. Много пыли подымает человек, когда умирает.

Нам следовало бы перенять обычаи некоторых первобытных народов, у которых существует церемония ежегодного обновления, то есть имеется хотя бы понятие о нем, если даже оно и не происходит в действительности. Хорошо бы и нам праздновать «праздник первых плодов», описанный Бартрамом[71] в числе обычаев индейцев Мукласси. «Для этого праздника, — говорит он, — все жители селения обзаводятся новой одеждой, новой посудой и другой домашней утварью, собирают сношенное платье и другие вещи, пришедшие в негодность; выметают весь сор из домов, с улиц и всего села и сгребают его, вместе с остатками зерна и других запасов, в одну большую кучу, которую поджигают. Затем они все принимают лекарственные снадобья и в течение трех дней постятся, а все огни должны

быть погашены. Во время поста они соблюдают воздержание во всем. Объявляется также общая амнистия; все преступники могут вернуться в село.

На утро четвертого дня главный жрец возжигает на площади новый огонь, добывая его посредством трения сухих палочек одна о другую, и каждый очаг получает от него новое, чистое пламя».

Затем они вкушают от плодов нового урожая и в течение трех дней отмечают праздник пляской и пением, а потом «еще четыре дня пируют вместе с гостями из соседних селений, которые совершили такое же очищение».

У мексиканцев подобное очищение совершается каждые пятьдесят два года, ибо по их верованиям в эти сроки можно ждать конца света.

Мне едва ли приходилось слышать о более высоком таинстве, если таинство, по определению наших словарей, является «внешним и видимым проявлением духовной благодати», и я не сомневаюсь, что оно некогда было внушено индейцам небесами, хотя у них и не имеется Библии, где это откровение было бы записано.

Более пяти лет я всецело содержал себя трудом своих рук и установил, что, работая шесть недель в году, могу себя обеспечить. Вся зима и большая часть лета освобождалась для занятий. Пробовал я и преподавать в школе, но обнаружил, что тут затраты возрастают пропорционально, вернее, не пропорционально доходам, потому что я был вынужден определенным образом одеваться, подготавливаться и даже думать и верить, да к тому же терял время. Поскольку я брался учить не ради блага ближних, а только ради пропитания, я потерпел неудачу. Пробовал я и торговать, но установил, что тут требуется лет десять, чтобы пробить себе дорогу, но тогда уж это будет прямая дорога в ад. Я убоился, что к тому времени буду иметь так называемое доходное дело. Когда я подыскивал себе источник заработка — и при этом крепко задумывался, уже имея печальный опыт неудач, постигавших меня, когда я поступал по желанию друзей, — я часто всерьез подумывал заняться сбором черники; я знал, что сумею это делать и что мне хватит скромного дохода от нее, ибо самый большой мой талант, это — малые потребности; тут не нужно капитала и не придется, как я наивно думал, надолго отрываться от любимых мною занятий. Пока мои знакомцы, не раздумывая избирали торговлю или свободные профессии, я представлял себе свой промысел почти таким же: все лето проводить на холмах, собирая ягоды, а потом сбывать их без хлопот — и таким образом пасти стада Адмета[72]. Мечтал я также собирать лекарственные травы или продавать с воза вечнозеленые ветки тем из горожан, кто любит напоминание о лесах. Но с тех пор я узнал, что торговля налагает проклятие на все, к чему прикасается: хоть бы вы торговали посланиями с небес, над вами тяготеет то же проклятие.

Так как у меня были свои вкусы, и я более всего ценил свободу, так как я мог терпеть нужду и при этом чувствовать себя отлично, я не пожелал тратить время на то, чтобы заработать на богатые ковры или дорогую мебель, или тонкую кухню, или дом в греческом или готическом стиле. Кто способен приобрести все эти вещи, не отрываясь от дела, и умеет ими пользоваться, когда они приобретены, тем я и предоставляю эту заботу. Есть люди «трудолюбивые», по-видимому, любящие труд ради него самого, а, может быть, потому, что

он не дает им впасть в худший соблазн, — этим мне сейчас нечего сказать. Тем, кто не знает, куда девать большой досуг, чем они имеют сейчас, я советую работать вдвое больше — пока они не выкупят себя на волю. Для себя я выяснил, что наибольшую независимость дает работа сельского поденщика, особенно потому, что там достаточно работать 30–40 дней в году, чтобы прокормиться. День у поденщика кончается с заходом солнца, и он тогда свободен для любимого дела и не связан со своей работой; зато его хозяин, постоянно занятый расчетами, не знает покоя круглый год.

Словом, убеждение и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле — не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро: недаром основные занятия первобытных народов превратились в развлечения цивилизованных. Человеку вовсе не обязательно добывать свой хлеб в поте лица — разве только он потеет легче, чем я.

Один знакомый мне юноша, получивший в наследство несколько акров земли, сказал мне, что последовал бы моему примеру, *если бы имел средства*. Я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-либо следовал моему примеру; во-первых, пока он этому научится, я, может быть, подыщу себе что-нибудь другое, а во-вторых, мне хотелось бы, чтобы на свете было как можно больше различных людей и чтобы каждый старался найти *свой собственный* путь и идти по нему, а не по пути отца, матери или соседа. Пусть юноша строит, сажает или ухаживает в море, пусть только ему не мешают делать то, что ему хотелось бы. Вся наша мудрость заключена в математической точке, подобно тому как моряк или беглый невольник отыскивают путь по Полярной звезде, но этого руководства нам достаточно на всю жизнь. Пускай мы не достигнем гавани в рассчитанное время, лишь бы не сбиться с верного курса.

В этом случае то, что истинно для одного, несомненно, остается тем более истинным для тысячи. Большой дом не стоит дороже маленького во столько же раз, во сколько он больше, — ведь все комнаты можно покрыть общей крышей, разделить общей стеной и подвести под них общий погреб. Я, однако, предпочитаю отдельное жилище. К тому же дешевле все выстроить самому, чем убедить другого в преимуществах общей стены. А если вы ее возвели, то она, экономии ради, должна быть тонкой, а сосед может оказаться плохим или не станет содержать ее в исправности. Обычно сотрудничество между людьми бывает лишь частичным и крайне поверхностным, а то подлинное содружество, какое изредка встречается, никому не заметно, ибо эта гармония не слышна людскому уху. Если у человека есть вера, он с той же верой будет сотрудничать со всеми, а если веры нет, то, он будет вести себя, как большинство, с кем бы вы его ни сочетали. Сотрудничать, в самом высоком и одновременно в самом низком смысле слова, значит вместе *зарабатывать на жизнь*. Недавно было предложено, чтобы двое молодых людей вместе путешествовали по свету, но чтобы один ехал без денег и зарабатывал их по пути, на море — матросом, а в поле — пахарем, а другой имел бы в кармане чек. Ясно, что им скоро будет не по пути, — какое уж тут сотрудничество, когда один из них вовсе не будет *трудиться*. Они расстанутся при первом же важном событии в их странствиях. Но главное, как я уже сказал, — тот, кто едет один, может выехать хоть сегодня, а тот, кто берет с собой спутника, должен ждать, пока он будет готов, и они еще очень не скоро пустятся в путь.

Все это, однако, чистейший эгоизм, говорят некоторые из моих соотечественников. Признаюсь, что я до сей поры очень мало занимался филантропией. Мне пришлось принести

кое-какие жертвы моему чувству долга, пришлось, между прочим, пожертвовать и этим удовольствием. Некоторые люди всеми силами пытались убедить меня взять на иждивение каких-нибудь здешних бедняков; и если бы мне нечего было делать — а дьявол всегда находит работу для праздных рук — я мог бы занять себя таким образом. Однако, когда я попытался предпринять нечто подобное и выслужиться перед их Небесами, предложив неким беднякам то же содержание, какое имею я сам, и действительно сделал им такое предложение, — все они, не колеблясь, предпочли остаться в бедности. Раз уж мои земляки обоюго пола всячески посвящают себя благу своего ближнего, я надеюсь, что хоть одному из нас дозволено заняться иными, менее гуманными делами. Для благотворительности, как и для всего другого, нужен талант. Желающих делать *добро* так много, что вакансий не остается. К тому же я честно пробовал свои силы на этом поприще и, как ни странно, убедился, что оно не по мне. Едва ли мне следует сознательно отказаться от своего призвания, чтобы делать добро, предписываемое мне обществом, даже если бы от этого зависело спасение вселенной; думаю, что именно чье-то упорство, подобное моему, но несравненно большее, одно только и спасает ее до сих пор. Впрочем, я не хочу отговаривать тех, кто чувствует призвание именно к благотворительности; каждому, кто делает это отвергаемое мною дело и предан ему душой и сердцем, я говорю: продолжай, даже если свет назовет твоё добро злом, что он, вероятно, и сделает.

Я далек от мысли, что представляю собой исключение; многие из моих читателей наверняка могли бы сказать о себе то же самое. Я уверен, — не ручаюсь, что это мнение разделяют мои соседи, — что меня стоило бы нанять в работники, а на какую работу — это пусть выясняет тот, кто меня наймет. Когда мне случается делать добро в общепринятом смысле слова, это должно быть в стороне от моей главной дороги и большей частью совершенно непреднамеренно. Нам обычно говорят: каков ты ни есть, немедленно, не думая о собственном совершенствовании, начинай творить добро ради добра. Если бы я взялся за подобную проповедь, я сказал бы иначе: начни с собственного совершенствования. Неужели солнце, разгоревшись до яркости луны или звезды шестой величины, должно этим удовольствоваться и бродить по свету, как Робин Добрый Малый[73] — заглядывать в окна, тревожить лунатиков, портить свежее мясо и светить лишь настолько, чтобы тьма делалась видимой, — когда оно может довести свое благодетельное сияние до такого накала, что глаза смертных не в силах будут его созерцать, и идти по своей орбите, чтобы приносить благо Земле, или, согласно более верному учению, чтобы Земля, обращаясь вокруг него, становилась лучше. Когда Фаэтон, желая доказать свое небесное рождение щедростью, получил на один день колесницу Солнца и свернул с торной дороги, он сжег несколько кварталов в нижнем Небесном Граде, опалил земную поверхность, иссушил все источники и образовал пустыню Сахару, но тут Юпитер поверг его на землю громовым ударом, а Солнце, печалась о нем, не светило после этого целый год.

Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падаль, земная и небесная. Если мне станет наверняка известно, что ко мне направляется человек с сознательным намерением сделать мне добро, я кинусь спастись от него, точно от иссушающего ветра африканских пустынь, именуемого самумом, который набивает тебе пылью рот, нос, уши и глаза, пока ты не задохнешься, — так я боюсь его добра, боюсь проникновения этого вируса в мою кровь. Нет, тогда уж лучше претерпеть положенное мне зло. Я не назову *человека* добрым за то, что он накормит меня, голодного, или согреет,

озябшего, или вытащит из канавы, если мне доведется туда свалиться. Это может сделать и ньюфаундлендская собака. Филантропия — это не любовь к ближнему в широком смысле слова. Хауард[74] несомненно был в своем роде весьма добрым и достойным человеком и получил за то свою награду, но что для *нас* сотня Хауардов, если их благотворительность не помогает *нам*, в нашем относительно лучшем положении, когда мы больше всего заслуживаем помощи? Я еще не слышал о благотворительном собрании, где бы искренне предложили сделать добро мне или мне подобным.

Иезуиты оказывались бессильны перед индейцами, которые, горя на костре, сами подсказывали своим мучителям новые способы пытки. Возвысившись над физическим страданием, они иногда были недостижимы и для утешений, какие могли предложить им миссионеры; правило: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»[75] — не слишком убедительно звучало для тех, кому было безразлично, как с ними поступят, кто любил своих врагов на свой особый лад и был очень близок к тому, чтобы простить их.

Помогая бедным, предлагай им именно то, в чем они больше всего нуждаются, хотя бы это был собственный твой пример, до которого им далеко. Если даешь им деньги, отдавай и часть себя самого, а не просто бросай подачку. Мы иногда совершаем странные ошибки. Бедняк зачастую не столько голоден и холоден, сколько грязен, оборван и груб. Это не только его беда, но отчасти и его добрая воля. Дайте ему денег, и он купит на них еще лохмотьев. Я долго жалел неуклюжих ирландских рабочих, рубивших на пруду лед в такой рваной и убогой одежде, когда я дрожал в своем более опрятном и приличном костюме, пока однажды, в особенно холодный день, один из них не упал в воду и не зашел ко мне обогреться: он снял с себя три пары штанов и две пары чулок, правда рваных и грязных, и я увидел, что он не нуждается в дополнительной *верхней* одежде — столько у него было *нижней*. Купанье в пруду было именно то, что ему требовалось. Тут я начал жалеть себя и понял, что дать мне фланелевую рубашку было бы ближе к истинной филантропии, чем подарить ему целую лавку старьевщика! На один удар по истинным корням зла приходится тысяча охотников обрубить его ветви, и может статься, что тот, кто отдает беднякам больше всего времени и денег, всем своим образом жизни способствует увеличению нищеты, которую тщетно пытается облегчить. Это — благочестивый работороговец, жертвующий барыш с каждого десятого раба[76] на воскресный отдых остальным. Некоторые проявляют заботу о бедняках тем, что дают им работу на кухне. Не проявят ли они больше истинной доброты, если потрудятся там сами? Ты хвалишься, что тратишь на благотворительность десятую часть своих доходов, — не лучше ли отдать и остальные девять десятых и сразу покончить с этим делом? В данном случае обществу возвращается лишь десятая доля его имущества. Чем объяснить это — великодушием тех, кому она достается, или нерадивостью служителей правосудия?

Филантропия — почти единственная из добродетелей, достаточно ценимая людьми. Ее даже переоценивают, и виной тому — наш эгоизм. Однажды, в солнечный день, один бедняк здоровенный малый, хвалил мне некоего жителя Конкорда за доброту к беднякам — он разумел под ними себя. Добросердечные дядюшки и тетушки человечества ценятся выше его подлинных духовных отцов и матерей. Я слышал, как один преподобный лектор, человек большой учености, говоривший об Англии, перечислил светил английской науки, литературы

и политической жизни — Шекспира, Бэкона, Кромвеля, Мильтона, Ньютона и других — и тут же перешел к религиозным деятелям; как видно, полагая, что к этому обязывает его звание, он вознес их превыше всех других, как величайших из великих. Ими оказались Пенн,[77] Хауард и миссис Фрай[78]. Каждый почувствует здесь ложь и ханжество. Эти люди не принадлежали к числу лучших сынов и дочерей Англии, разве что к ее лучшим филантропам.

Я не хочу умалять заслуги филантропов, я лишь требую справедливости в отношении тех, кто благодетельствует человечество самой своей жизнью и трудом. Я не считаю праведность и доброту главным в человеке — это лишь его стебель и листья. Сушеные травы, из которых мы делаем лечебные настои для болящих, играют весьма скромную роль и чаще всего их применяют знахари. Мне нужен от человека его цвет и плоды; мне нужно чувствовать его аромат, и общение с ним должно иметь приятный вкус спелого плода. Доброта его не должна быть частичным и преходящим актом, но непрерывным, переливающим через край изобилием, которое ничего ему не стоит и которого он даже не замечает. Такое милосердие искупает множество грехов. Филантроп слишком часто взирает на человечество сквозь дымку собственных прошлых скорбей и зовет это состраданием. Мы должны бы делиться с людьми мужеством, а не отчаянием, здоровьем и бодростью, а не болезнями, а их стараться не распространять. Из каких полуденных стран доносится к нам глас скорби? В каких широтах обитает язычник, которого мы хотим просветить? Где, собственно, тот темный и погрязший в пороках человек, которого мы хотим возродить к новой жизни? Стоит человеку чем-нибудь занемочь, так что дело у него не ладится, или просто у него заболел живот — ибо именно там зарождается сострадание — и он тотчас берется исправлять мир. Представляя собой микрокосм, он обнаруживает — и не ошибается, ибо кому же и знать, как не ему на собственном опыте? — что человечество облепилось зелеными яблоками; вся наша планета кажется ему большим зеленым яблоком, и ему страшно помыслить, что дети человеческие могут вкусить сего незрелого плода. Он немедленно направляет свою неумолимую благотворительность на эскимосов и патагонцев, на многолюдные деревни Индии и Китая; и вот за несколько лет филантропической деятельности, которую правительство использует в своих собственных целях, он излечивается от своей диспепсии; земной шар слегка краснеет с одной или с обеих сторон, словно начиная созревать; жизнь уже не кажется кислой, и сладость ее ощущается снова. Я не представляю себе большей гнусности, чем та, какую я совершил. Я не встречал и никогда не встречу никого хуже себя.

Мне кажется, что душа филантропа — будь он самым праведным из сынов божьих — омрачена не столько состраданием к ближнему, сколько собственными бедами. Стоит им миновать, стоит прийти к нему весне и солнцу засиять над его изголовьем, и он без зазрения совести покинет своих великодушных соратников. Если я не читаю лекций о вреде табака, мое оправдание состоит в том, что я никогда его не жевал; пусть их читают, в виде искупления, раскаявшиеся потребители жевательного табака; хотя и я немало жевал такого, что следовало бы обличать в лекциях. Если вы дадите вовлечь себя в благотворительность, пусть левая рука ваша не знает, что делает правая, потому что этого не стоит и знать. Спасите утопающего и завяжите завязки своих башмаков. Не торопитесь и займитесь каким-нибудь свободным трудом.

Наши нравы пострадали от общения с праведниками. Наши сборники псалмов мелодично клянут бога, которого надо терпеть вечно[79]. Даже пророки и искупители чаще утешали человека в его скорбях, чем укрепляли в надежде. Нигде мы не находим простой, свободно изливающейся хвалы богу и благодарности за дар жизни. Всякое здоровье и всякий успех идет мне на благо, как бы он ни казался чужд и далек; все болезни и неудачи омрачают мою жизнь и идут мне во зло, как бы я ни сочувствовал им или они мне. Если мы действительно хотим возродить человечество индийским, ботаническим, магнетическим или естественным методом, надо прежде всего стать простыми и здоровыми, как сама Природа, разогнать тучи над собственной нашей головой и впустить немного жизни в наши поры. Не стремись быть надсмотрщиком над бедняками, постарайся лучше стать одним из достойных людей мира.

В «Гулистане, или Цветущем саду» шейха Саади из Шираза я прочел, как «одного мудреца спросили, почему из множества деревьев, которые всемогущий бог создал высокими и тенистыми, ни одно не зовется азад, то есть свободный, кроме кипариса, не приносящего плодов, — отчего бы это? Он ответил: у каждого дерева свои плоды и своя пора цвести и своя пора пожелтеть и засохнуть; один кипарис их не имеет, ибо всегда одинаково зелен, — таковы и азады, или люди свободной веры. Не прилепляйся сердцем к тому, что преходяще. Река Дижла, называемая также Тигром, будет протекать через Багдад и тогда, когда кончится династия калифов; если ты богат, будь щедр, подобно финиковой пальме; но если тебе нечего дать, будь азадом, или свободным, как кипарис».

Дополнительные стихи

Притязания бедности

“ Не много ли ты хочешь, бедный раб,
Всеобщего признанья ожидая,
Лишь потому, что в хижине убогой
Ленивое смирение взрастил
На солнце, точно овощ огородный;
Лишь потому, что собственной рукой
Ты истребил в душе живые страсти —
Те стебли, где все лучшее цветет;
Что в человеке ты сковал порывы
И плоть живую в камень обратил.
Такую добродетель мы отвергли.
Унылых постников не надо нам.
Или тупиц бесчувственных, бездушных.
Не знающих ни радости, ни скорби.
Терпенье мы не станем возносить
Над красотой деянья. Жалкая заслуга,
Лишь для рабов пригодная! Мы ж славим
Ту добродетель, что не знает меры.

Да здравствует безудержная смелость,
Могучий разум и великодушие,
И щедрость безграничная, и доблесть,
Которой древние названия не дали,
Но образцы оставили — Геракл,
Тезей и Ахиллес. Ступай в свою лачугу!
А если видишь новый, светлый путь,
Их благородного примера не забудь.

Т.Кэрю[80].

Где я жил и для чего

Есть в нашей жизни пора, когда каждая местность интересует нас как возможное место для дома. Я тоже обозревал местность на дюжину миль в окружности. В своем воображении я покупал поочередно все фермы, ибо все они продавались, и цена была мне известна. Я обходил все сады, пробовал яблоки-дички, толковал с фермером о сельском хозяйстве, соглашался на его цену и вообще на любую цену и мысленно закладывал ферму ему же самому; я даже набивал цену и совершал все, что положено, кроме купчей; вместо купчей я довольствовался разговорами, ибо очень люблю поговорить, получал от них полное удовольствие, а хозяин, смею надеяться, — некоторую пользу, и затем отступался, предоставляя ему вести дело дальше. После этого друзья стали считать меня своего рода агентом по продаже недвижимости. Где бы я ни останавливался присесть, я мог остаться жить и оказывался, таким образом, в самом центре окружающего пейзажа. Дом — это прежде всего *sedes* (сиденье — лат.), жилище, и лучше, когда это жилище сельское. Я обнаружил множество мест, как нельзя более удобных для постройки дома, иным они показались бы слишком удаленными от поселка, но на мой взгляд, наоборот, поселку было до них далеко. Что ж, здесь можно жить, говорил я себе и проводил здесь час, прикидывая, как потечет время, как здесь можно перезимовать и как встретить весну. Где бы ни построились будущие жители нашей округи, они могут быть уверены, что я их опередил. Мне достаточно было нескольких часов, чтобы отвести землю под фруктовый сад, рощу или пастбище, решить, какие из дубов или сосен оставить у входных дверей и откуда каждое из них будет лучше всего видно, а затем я оставлял землю под паром, ибо богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться.

Воображение мое так разыгралось, что я даже получал от иных владельцев преимущественное право отказаться от покупки, — а мне только того и надо было, — но ни разу не вступал во владение. Ближе всего я подошел к этому, когда купил ферму Холлоуэл и начал сортировать семена для посева и собирать доски для тачки, в которой намеревался их перевезти, но прежде чем мы совершили купчую, жена владельца — такая жена есть у каждого — раздумала продавать, и фермер предложил мне десять долларов неустойки. А у меня, признаться, было всего десять центов за душой, и я не взялся бы сосчитать, что же у меня было: десять центов, ферма, десять долларов или все вместе. Но я не взял у него ни десяти долларов, ни фермы — с меня было довольно; я великодушно уступил ему ферму за ту же сумму, какую сам за нее давал, а так как он был небогат, я подарил ему еще десять долларов, у меня же остались мои десять центов, да семена, да еще и доски для тачки. Так я побыл богачом безо всякого ущерба для своей бедности. А ландшафт я оставил себе и ежегодно снимаю с него урожай, с которым управляюсь и без тачки. С ландшафтом у меня обстоит так:

Беспорны мои права

На все, что измерил я взором[81]

Я часто вижу, как поэт снимает с фермы ценнейший урожай, а недогадливый фермер думает, что дал ему только пригоршню яблок-дичков. Владельцу много лет бывает неизвестно, что поэт изобразил его ферму в стихах, обнес ее невидимой изгородью рифм, выдоил ее и снял все сливки, оставив фермеру одно снятое молоко.

На ферме Холлоуэл меня пленило ее уединенное положение в двух милях от поселка, в полумиле от ближайших соседей и вдали от проезжей дороги, от которой ее отделяло широкое поле; близость реки, которая, по словам фермера, своими туманами защищала участок от весенних заморозков, хотя до этого мне не было дела; обветшалые и посеревшие от времени дом и сарай и развалившиеся изгороди, потому что они отделяли меня во времени от последнего обитателя; дуплистые и обомшелые яблони, подгрызенные кроликами, — сразу было видно, кто будет моими соседями; но больше всего — воспоминания, сохранившиеся у меня от прежних поездок вверх по реке, когда ферма пряталась в густой роще красных кленов, из которой доносился собачий лай. Я спешил купить ее, прежде чем хозяин успеет убрать камни, срубить дуплистые яблони и выкорчевать молодые березки, выросшие на лугу, — словом, ввести еще какие-либо улучшения. Чтобы наслаждаться всем этим, я готов был купить ее, взять бремя на свои плечи, как Атлас, — не знаю, какая ему была за это награда, — и притом без малейшей надобности, кроме надобности уплатить за нее и этим превратить ее в свою собственность, ибо я знал, что если бы я мог позволить себе роскошь не хозяйничать на ней, она принесла бы мне обильный урожай всего, чего я желал. Но, как я уже говорил, дело обернулось иначе.

Итак, для крупного хозяйства (садик у меня был всегда) у меня были тогда готовы одни только семена. Многие считают, что семена от времени улучшаются. Не сомневаюсь, что время отделяет хорошие от плохих, и, когда я, наконец, их посею, меня будет ждать меньшее разочарование. Но своих ближних я хочу предостеречь раз и навсегда: живите как можно дольше свободными и не связывайте себя ничем. Осесть на ферме или сесть в тюрьму — разница тут невелика.

Старик Катон[82] в своей *De Re Rustica*, которая служит мне руководством, своего рода «Культиватором», [83] говорит (в единственном известном мне переводе это место получается бессмысленным): «Если вздумаешь покупать землю, не поддавайся жадности и не поленись осмотреть ее как следует, не думай, что достаточно один раз обойти ее. Если участок хорош, чем чаще ты будешь его осматривать, тем больше он будет тебе нравиться». Вот я и не хочу поддаваться жадности; я всю жизнь буду обходить свой участок, пока меня на нем не похоронят, а тогда уж он мне наверное понравится.

Следующим моим опытом в этой области был теперешний, и его я хочу описать подробнее; ради удобства, я объединю опыт двух лет в одно целое. Как я уже говорил, я не намерен сочинять Оду к Унынию, [84] напротив, я буду горланить как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей.

Когда я поселился в лесу, т. е. стал проводить там не только дни, но и ночи — а это случайно совпало с днем Независимости, [85] 4 июля 1845 г., — мой дом еще не был оборудован на зиму, он только защищал меня от дождя, но не был оштукатурен и не имел печи, а стены были из грубых старых досок с большими щелями, так что по ночам там

бывало прохладно. Прямые тесаные белые стойки и свежеструганные дверь и оконные рамы придавали ему опрятный и свежий вид, особенно по утрам, когда дерево пропитывалось росой, и мне казалось, что в полдень оно должно источать сладкий сок. Для меня он на весь день сохранял этот свой утренний облик, напоминая один домик в горах, где я побывал за год до того. То была легкая неоштукатуренная хижина, достойная приютить странствующего бога или богиню в величаво ниспадающем одеянии. И над моей хижинкой веял тот же ветер, который овеивает вершины гор, ветер, доносивший до меня лишь обрывки земной музыки, ее небесную часть. Утренний ветер веет всегда, и песнь мироздания звучит неумолчно, но мало кому дано ее слышать. На всех земных вершинах можно найти Олимп.

Единственным домом, которым я до этого владел, не считая лодки, была палатка, иногда служившая мне во время летних походов; сейчас она хранится свернутой у меня на чердаке, а лодка побывала во многих руках и уплыла по течению времен. Теперь, имея над головой более прочный кров, я мог считать, что несколько упрочил свое положение в мире. Легкая постройка как бы кристаллизовалась вокруг меня и влияла на своего строителя. Она оставляла простор фантазии, как контурный рисунок. Чтобы дышать свежим воздухом, мне не надо было выходить, у меня и в доме было достаточно свежо. Даже в самую дождливую погоду я не был заперт в четырех стенах, а скорее сидел под навесом. В Хариванше[86] сказано: «Дом без птиц — все равно, что мясо без приправ». Мой дом был не таков: я сразу оказался в соседстве с птицами, но мне не пришлось сажать их в клетку, — я сам построил себе клетку рядом с ними. Я приблизился не только к тем, кто обычно прилетает в сады и огороды, но и к более диким — к лучшим лесным певцам, которые почти никогда не улаживают слух жителей поселка — к дрозду,[87] красной танагре, зяблику, козодю и многим другим.

Я жил на берегу маленького озера, примерно в полутора милях к югу от поселка Конкорд и несколько выше его, в обширном лесу, который тянется от поселка до Линкольна, в двух милях к югу от единственного в наших краях знаменитого поля битвы — битвы при Конкорде[88]. Но местность там такая низкая, что горизонт мой замыкался противоположным берегом озера, тоже лесистым, всего в полумиле от меня. В первые дни мне казалось, что пруд лежит на высоком горном склоне и что дно его расположено гораздо выше поверхности других водоемов; когда всходило солнце, он на моих глазах сбрасывал ночное облачение, сотканное из тумана, показывая то тут, то там нежную рябь или гладкую поверхность, отражавшую свет, а туманы тихо уползали в лес, точно призраки, расходившиеся с ночного сборища. Даже роса оставалась на деревьях позже обычного, как это бывает на склонах гор.

Маленькое озеро было особенно приятным соседством в перерывах между теплыми августовскими ливнями, когда вода и воздух совершенно недвижны, но небо задернуто облаками, и день благостно тих точно вечер, а пение дрозда слышно с одного берега до другого. Такое озеро бывает всего спокойнее именно в эту пору; нависший над ним кусок неба неглубок и затемнен тучами, так что вода, полная света и отражений, становится как бы нижним, главным небом. С ближайшего холма, где незадолго перед тем был вырублен лес, открывался чудесный вид через пруд на юг, — там холмистые берега образовали широкую выемку, и казалось, что между их склонов, сбегавших навстречу друг другу, течет

по лесистой долине река, хотя реки не было. Глядя в ту сторону, поверх ближних зеленых холмов и между ними, я видел дальние холмы, более высокие, подернутые синевой. А встав на цыпочки, я мог видеть вершины еще более синих и дальних гор на северо-западе — синие медали небесной чеканки; видна была и часть деревни. Но в других направлениях я даже с этой высокой точки не видел ничего дальше окружавших меня лесов. Хорошо иметь по соседству воду — она придает земле плавучесть и легкость. Самый малый колодец имеет ту ценность, что, глядя в него, вы убеждаетесь, что земля — не материк, а остров. Это такая же важная его функция, как охлаждение масла. Когда я смотрел со своего холма через пруд на луга Сэдбери, которые в половодье, благодаря какому-то обману зрения, виделись мне приподнятыми над долиной — как монета, погруженная в миску с водой, кажется лежащей на поверхности — все земли за прудом представлялись тонкой корочкой, всплывшей на водной глади — даже на этой малой полоске воды, — и напоминали мне, что мое жилище было всего лишь *сушей*.

Хотя с моего порога открывался еще менее широкий вид, я ничуть не чувствовал себя замкнутым в тесном пространстве. Моему воображению открывался большой простор. Противоположный берег пруда переходил в низкое плато, поросшее дубняком, а оно тянулось до самых прерий Запада и даже до татарских степей, которые свободно могли бы вместить все кочевые племена земли. «Лишь те счастливы в мире, кому открыт широкий простор», — сказал Дамодара,[89] когда его стадам понадобились новые, более обширные пастбища.

Изменилось и место и время, и я приблизился к тем краям земли и к тем эпохам истории, которые влекли меня более всего. Я обитал в краях столь же отдаленных, как те, что созерцают по ночам астрономы. Мы любим воображать блаженные места в каком-нибудь дальнем небесном уголке вселенной, где-то за созвездием Кассиопеи, вдали от шума и суеты. Оказалось, что мое жилье находилось именно в таком укромном, нетронutom уголке космоса. Если стоит селиться в подобных местах — вблизи Плеяд или Гиад, Альдебарана или Альтаира, — то мне это вполне удалось; я настолько же удалился от прежней моей жизни и стал для своего ближайшего соседа столь же крохотной звездочкой, видимой ему только в безлунные ночи. Таков был уголок вселенной, где я обосновался на правах скваттера:

*В горах жил некогда пастух,
Он духом рвался ввысь,
Не ниже горных склонов, где
Стада его паслись[90]*

Что же думать о пастухе, у которого стада забираются выше его помыслов?

Каждое утро радостно призывало меня к жизни простой и невинной, как сама природа. Я молился Авроре так же истово, как древние греки. Я рано вставал и купался в пруду; это было ритуалом и одним из лучших моих занятий. Говорят, что на ванне царя Чин-Тана[91] была высечена надпись: «Обновляйся ежедневно и полностью, и снова, и всегда». Мне это понятно. Утро возвращает нас в героические эпохи. Слабое жужжание москита, который незримо пролетал по комнате на заре, когда я распахивал окна и дверь, волновало меня не менее любой трубы, когда-либо певшей о славе[92]. То был реквием Гомеру; целая Илиада и

Одиссея в воздухе, которая сама воспевала и гнев свой и странствия. Тут было нечто космическое — постоянное напоминание вплоть до отмены[93] о неисчерпаемой мощи и плодоносной силе мира. Утро — самая важная часть дня, это — час пробуждения. В этот час мы менее всего склонны к дремоте. В этот час, пускай ненадолго, в нас просыпается та часть нашего существа, которая дремлет во всякое иное время. Немногого следует ждать от того дня, — если можно назвать его днем, — когда нас пробуждает от сна не наш добрый дух, а расталкивает слуга; когда мы просыпаемся не от прилива новых сил, не по внутреннему побуждению, не под звуки небесной музыки и веяние дивных ароматов, а по фабричному гудку; когда мы не пробуждаемся к иной, лучшей жизни, чем та, что окружала нас накануне, чтобы и ночной мрак приносил плоды и был благодатен не менее, чем свет дня. Кто не верит, что каждый новый день несет ему неведомый и священный, еще не оскверненный утренний час, тот отчаялся в жизни, и путь его ведет вниз и во тьму. Во время сна жизнь тела частично замирает, а душа человека, вернее, ее органы, набираются новых сил, и его добрый гений вновь пытается облагородить его жизнь. Мне кажется, что все великое свершается на утренней заре, в чистом утреннем воздухе. В Ведах[94] сказано: «На утренней заре пробуждается всякий разум». С этого часа берут начало поэзия, искусство и все самые благородные и памятные дела людей. Все поэты и герои — сыновья Авроры, подобно Мемнону,[95] и поют свою песнь на восходе солнца. Для того, чья могучая мысль поспевает за солнцем, весь день — утро. Неважно, что показывают часы и что говорят и делают люди. Когда я бодрствую и во мне брезжит свет — тогда и утро. Нравственное совершенствование — это попытка стряхнуть сон. Отчего людям так трудно дать отчет в делах своих и днях, как не потому, что они дремлют? Не так уже они слабы в счете. Если бы их не одолевала дремота, они успевали бы что-нибудь свершить. Для физического труда бодрствуют миллионы; но лишь один человек на миллион бодрствует для плодотворного умственного усилия и лишь один на сто миллионов — для божественной жизни, или поэзии. Бодрствовать — значит жить. Я еще не встречал человека, который вполне проснулся бы. А если бы встретил, как бы я взглянул ему в глаза?

Надо научиться просыпаться и бодрствовать; для этого нужны не искусственные средства, а постоянное ожидание рассвета, которое не должно покидать нас в самом глубоком сне. Больше всего надежд в меня вселяет несомненная способность человека возвыситься благодаря сознательному усилию. Хорошо, когда он способен написать картину или изваять статую, т. е. создать несколько прекрасных вещей, но куда благороднее задача быть, в моральном отношении, ваятелем и художником всей окружающей нас среды. Сделать прекраснее наш день — вот высшее из искусств! Долг каждого человека — сделать свою жизнь во всем, вплоть до мелочей, достойной тех стремлений, какие пробуждаются в нем в лучшие ее часы. Если нам не хватит тех скудных сведений, какие мы имеем, оракулы ясно скажут нам, как это сделать.

Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни — она слишком драгоценна для этого; не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, хотел жить со спартанской простотой, изгнав из жизни все, что не является настоящей жизнью, сделать в ней широкий прокос, чисто снять с нее стружку, загнать жизнь в угол и свести ее к простейшим ее

формам, и если она окажется ничтожной, — ну что ж, тогда постичь все ее ничтожество и возвестить о том миру; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте и правдиво рассказать об этом в следующем моем сочинении. Ибо большинство людей, как мне кажется, странным образом колеблются в своем мнении о жизни, не зная, считать ли ее даром дьявола или бога, и несколько *поспешно заключают*, что главная наша цель на земле состоит в том, чтобы «славить бога и радоваться ему вечно»[96]

А между тем мы живем жалкой, муравьиной жизнью, хотя миф и утверждает, будто мы давно уж превращены в людей,[97] подобно пигмеям, мы сражаемся с цаплями,[98] совершаем ошибку за ошибкой, кладем заплату на заплату и даже высшую добродетель проявляем по поводу необязательных и легко устранимых несчастий. Мы растрачиваем нашу жизнь на мелочи. Честному человеку едва ли есть надобность считать далее чем на своих десяти пальцах, в крайнем случае можно прибавить еще пальцы на ногах, а дальше нечего и считать. Простота, простота, простота! Сведите свои дела к двум-трем, а не сотням и тысячам; вместо миллиона считайте до полдюжины и умещайте все счета на ладони. В бурном плавании цивилизованной жизни столько туч, штормов, плывунов и бесчисленных препятствий, что человек, который хочет достичь гавани, а не затонуть, должен идти вслепую, полагаясь на одни вычисления и хорошую надо иметь голову на цифры, чтобы с этим справиться. Упрощайте же, упрощайте. Вместо трех раз в день, если нужно, питайтесь только один раз, вместо ста различных блюд довольствуйтесь пятью и соответственно сократите все остальное. Наша жизнь подобна Германской Конфедерации, состоящей из мелких княжеств с постоянно меняющимися границами,[99] так что сами немцы не укажут вам, где эти границы проходят в каждый данный момент. При всех так называемых внутренних усовершенствованиях, которые, между прочим, все внешние и поверхностные, жизнь всей страны, как и каждого из миллионов составляющих ее семейств, так же нескладно и громоздко устроена, заставлена мебелью, завалена всяким хламом, разорена роскошью и необдуманными расходами, отсутствием строгого расчета и достойной цели; единственный выход для людей и для страны заключается в строжайшей экономии, в более чем спартанской простоте жизни и стремлении к высокой цели. Мы слишком торопимся жить. Люди убеждены, что *Нация* непременно должна вести торговлю, вывозить лед, сноситься по телеграфу и передвигаться со скоростью тридцати миль в час, не задумываясь, всем ли это доступно; а надо ли людям жить подлинно человеческой, а не обезьяньей жизнью — это еще не решено. Если мы перестанем выделывать шпалы и прокатывать рельсы, посвящая этой работе дни и ночи, и займемся вместо этого собственной нашей *жизнью* и попытаемся ее улучшить, кто же будет тогда строить железные дороги? А если железные дороги не будут построены, как сумеем мы в срок попасть на небо?[100] Но если мы будем сидеть дома, занимаясь своим делом, кому понадобятся тогда железные дороги? Не мы едем по железной дороге, а она — по нашим телам. Думали ли вы когда-нибудь о том, что за шпалы уложены на железнодорожных путях? Каждая шпала — это человек, ирландец или янки[101]. Рельсы проложили по людским телам, засыпали их песком и пустили по ним вагоны. Шпалы лежат смирно, очень смирно. Через каждые несколько лет укладывают новую партию и снова едут по ним; так что пока одни имеют удовольствие переезжать по железной дороге, других, менее счастливых, она переезжает сама. А когда под поезд вдруг попадает человек — сверхкомплектная шпала, не так положенная, — вагоны срочно останавливают, и

подымается шум, словно это — редкое исключение. Я с удовольствием узнал, что на каждые пять миль пути требуется целая бригада людей, чтобы присматривать за шпалами — ведь это значит, что они когда-нибудь могут подняться.

К чему жить в такой спешке и так бессмысленно растрачивать жизнь? Мы решили умереть с голоду, не успев проголодаться. «Один стежок вовремя стоит девяти»,[102] говорят люди, и вот они спешат сделать тысячу стежков сегодня, чтобы завтра не пришлось делать девяти. Но подлинно важной *работы* мы не совершаем. Мы просто одержимы пляской св. Витта и не можем находиться в покое: стоит дернуть несколько раз за веревку колокола, как будто при пожаре, и нет человека в предместьях Конкорда — при всей занятости, на которую они ссылаются по многу раз в день — нет мальчишки или женщины, который не бросил бы все и не прибежал на этот звон, и не только с тем, чтобы спасти из огня имущество, а скорее наоборот, если уж говорить правду: чтобы поглядеть, как оно горит, раз уж загорелось и не мы его подожгли, — да будет это всем известно — или чтобы поглядеть, как тушат, и самим принять в этом участие, если это такое же занятое зрелище, хотя бы горела приходская церковь. Стоит человеку вздремнуть после обеда, как он уже подымает голову и спрашивает: «Что нового?» точно человечество в это время стояло на часах. Иные велят будить себя через каждые полчаса, очевидно с той же целью, а за это рассказывают, что им приснилось. По утрам новости так же необходимы им, как завтрак. «Скажите мне, что нового случилось с кем-нибудь, где-нибудь на нашей планете?» — и вот за утренним кофе с булочкой человек читает, что кому-то на реке Вахито сегодня выбили глаза, и не думает при этом, что сам живет в глубокой и темной мамонтовой пещере нашего мира и сам еще не прозрел.[103]

Что касается меня, то я легко мог бы обойтись без почты. Я считаю, что через нее посылается крайне мало важных вестей. Строго говоря, я за всю жизнь получил лишь одно-два письма (это я написал несколько лет назад), которые стоили затраченного на марку пенни. Городская почта — это учреждение, где мы всерьез предлагаем человеку «пенни за его мысли», как часто делаем в шутливой поговорке. А в газетах я никогда не нахожу важных сообщений. Если мы однажды прочли о грабеже, убийстве или несчастном случае, о пожаре, кораблекрушении, или взрыве парового котла, о корове, попавшей под поезд Западной дороги, о застреленной бешеной собаке или о появлении саранчи среди зимы, — к чему читать о других таких же событиях? Довольно и одного. Если вы ознакомились с принципом, к чему вам миллионы частных случаев? Для философа все так называемые *новости* — не что иное, как сплетни, а те, кто их издает и читает — старые кумушки за чашкой чая. А между тем многие ждут этих сплетен с жадностью. Я слышал, что недавно при получении свежих газет с иностранными новостями создалась такая давка, что в редакции было выдавлено несколько больших стекол, — а ведь, право, сообразительный человек мог бы заготовить такие новости за двенадцать месяцев или даже двенадцать лет вперед и не ошибиться. Для Испании, например, достаточно время от времени вставлять в нужной пропорции Дон Карлоса и инфанту, Дон Педро, Севилью и Гренаду — возможно, что имена немного изменились с тех пор как я в последний раз читал газету, — а за неимением другого подпустить что-нибудь о бое быков, и все будет совершенно точно, и у вас получится картина испанских порядков — или беспорядков — ничуть не менее ясная и сжатая, чем в газетном отчете под этим заголовком. Что касается Англии, то последней важной новостью оттуда была революция 1649 г., и если вы знаете, каковы там средние

годовые урожаи, вам больше нечего и знать, разве только вас занимают одни финансовые расчеты. Насколько может судить человек, редко заглядывающий в газеты, за рубежом никогда не бывает ничего нового — даже новой Французской революции.

Что нового! Насколько важнее было бы узнать что-нибудь такое, что вечно остается новым! «Кью-Хи-Ю, важный чиновник провинции Вэй, послал человека к Кунг-Цзе за новостями. Кунг-Цзе велел посадить посланца рядом с собой и спросил так: Что делает твой господин? Посланец почтительно отвечал: Мой господин стремится уменьшить число своих прегрешений, но никак не доберется до их конца. По уходе посланца философ заметил: Что за достойный посланец! Что за достойный посланец!»[104]. Вместо того, чтобы терзать кое-как составленной проповедью уши сонных фермеров в день отдыха от недельных трудов — потому что воскресенье должным образом завершает дурно прожитую неделю, а могло бы радостно и бодро возвещать новую — проповеднику следовало бы громовым голосом возглашать: «Малый ход! Стоп! Одумайтесь!» К чему эта видимость спешки, когда в действительности вы не двигаетесь с места?[105]

Иллюзии и заблуждения почитаются за бесспорную истину, а истина объявляется вымыслом. Если бы люди твердо держались одной реальности и не поддавались обману, жизнь, по сравнению с нынешней, могла бы стать Сказкой Тысяча и одной ночи. Если бы мы чтили одно «ишь неизбежное и правомерное, на наших улицах звучала бы музыка и поэзия. Когда мы не спешим и способны размышлять, мы замечаем, что подлинной и абсолютной реальностью обладает одно лишь великое и достойное, а мелкие страхи и мелкие удовольствия — всего лишь тени реальности. Сознание этого всегда радует и возвышает душу. Закрывая глаза, погружаясь в дремоту и поддаваясь обманам, люди повсюду создают себе повседневную привычную жизнь — рутину, основанную на чистых иллюзиях. Дети, играющие в жизнь, различают ее истинные законы и отношения яснее, чем взрослые,[106] которые не умеют достойно прожить ее, но воображают себя умудренными своим опытом, то есть неудачами. В одной индусской книге я прочел про „царского сына, который еще в детстве был изгнан из родного города, воспитан лесником и, выросши, считал себя сыном варварского племени, среди которого он жил. Один из приближенных его отца, разыскав его, открыл ему тайну его рождения, и тогда заблуждение его рассеялось и он узнал, что он — царевич“. „Так и душа, — продолжает индусский философ, — из-за окружающих ее обстоятельств заблуждается насчет себя, пока какой-нибудь святой учитель не откроет ей истину и она не познает, что она есть *Брама*“. Я вижу, что мы, жители Новой Англии, живем столь жалкой жизнью потому, что взор наш не проникает глубже поверхности вещей. *Кажущееся* мы считаем за *существующее*. Если бы человек мог пройти по нашему городу, видя лишь подлинную суть вещей, как вы думаете, куда делась бы Мельничная плотина[107]. Если бы он рассказал нам правду о том, что увидел, мы не узнали бы своего города в его описании. Стоит взглянуть непредубежденным взглядом на молитвенный дом, или суд, или тюрьму, или лавку, или жилище и сказать, чем каждое является на деле, и ваше определение тотчас превратит их в ничто. Люди считают, что истина отдалена от них пространством и временем, что она где-то за дальними звездами, до Адама и после последнего человека на земле. Да, вечность заключает в себе высокую истину. Но время, место и случай, все это — сейчас и здесь. Само божество выражает себя в настоящем мгновении, и во всей бесконечности времен не может быть божественнее. Мы способны постичь божественное и высокое только если постоянно проникаемся окружающей нас

реальностью. Вселенная всегда послушно соответствует нашим замыслам. Движемся ли мы быстро или медленно, путь для нас проложен. Посвятим же себя замыслам. Не было еще прекрасного и высокого замысла поэта или художника, чтобы его не осуществил кто-нибудь из потомков.

Проведем хоть один день так же неторопливо, как Природа, не сбиваясь с пути из-за каждой скорлупки или комариного крылышка, попавшего на рельсы. Встанем рано и будем поститься или вкусим пищи, но только с кротостью и без смятения; пусть приходят к нам люди и уходят, пусть звонит колокол и плачут дети, — мы проведем этот день по-своему. Зачем покоряться и плыть по течению? Главное — не опрокинуться на опасном пороге и водовороте, именуемом обедом, который подстерегает нас на полуденном мелководье. Когда он остается позади, мы — в безопасности, потому что остаток пути идет уже под гору. Плывите мимо опасного места, собрав все силы, весь запас утренней бодрости; отвернитесь и велите привязать себя к мачте как Одиссей. Если засвистит паровоз — пусть себе свистит, пока не охрипнет от усердия. Если зазвонит колокол, зачем спешить на его зов? Прислушаемся сперва, что это за музыка. Крепко возьмемся за работу и покрепче утвердимся на ногах. Под грязным слоем мнений, предрассудков и традиций, заблуждений и иллюзий, под всеми наносами, покрывающими землю в Париже и Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Конкорде, под церковью и государством, под поэзией, философией и религией постараемся нащупать твердый, местами каменистый грунт, который мы можем назвать *реальностью* и сказать: вот это *есть* и сомнений тут быть не может. Обретя эту *point d'appui* (точку опоры — франц.), недоступную приливам, морозу и огню, можешь заложить стену, или основать государство, или хотя бы надежно врыть фонарный столб, а может быть сделать промер — только не ниломером, а лучше реаломером,[108] чтобы показать грядущим поколениям, как высок бывал по временам прилив всяческих заблуждений. Встань лицом к факту и ты увидишь, что солнце играет на обеих его гранях, точно на лезвие острого меча, ты почувствуешь, как он пройдет через твое сердце и рассекает костный мозг, и ты счастливо завершишь свое земное существование. Будь то жизнь или смерть — мы жаждем истины. Если мы умираем, пусть нам будет слышен наш предсмертный хрип, пусть мы ощутим смертный холод; если живем, давайте займемся делом.

Время — всего лишь река, куда я забрасываю свою удочку. Я пью из нее, но в это время вижу ее песчаное дно и убеждаюсь, как она мелка. Этот мелкий поток бежит мимо, а вечность остается. Я хотел бы пить из глубинных источников, я хотел бы закинуть удочку в небо, где дно устлано камешками звезд. А я не умею даже считать до одного. Я не знаю и первой буквы азбуки. Я всегда сожалею, что не так мудр, как в день своего появления на свет. Ум человеческий — острый тесак, он находит путь к сокровенной сути вещей. Я не хочу работать руками больше, чем этого требует необходимость. В моей голове есть и руки и ноги. Я чувствую, что в ней сосредоточены все мои способности. Инстинкт говорит мне, что это орган, предназначенный рыть в глубину, как рыльце и передние лапы некоторых животных; я хотел бы врыться им в эти холмы. Мне кажется, что где-то здесь залегает богатейшая жила; я сужу об этом по волшебному ореховому прутику[109] и встающему туману; здесь-то я и начну копать.

Чтение

Если бы они тщательнее выбирали себе занятие, все люди, вероятно, стали бы прежде всего исследователями и наблюдателями; ведь всем интересно постичь нашу природу и назначение. Накапливая имущество для себя и потомков, основывая семью или государство и даже стремясь к славе, мы остаемся смертными, но обращаясь к истине, мы становимся бессмертными и можем не страшиться перемен и случайностей. Философ древнего Египта или Индии приподнял некогда уголок завесы, скрывавшей статую божества; эта завеса колышется и осталась приподнятой, и моему взору является то же чудо, что видел он, ибо я жил в нем, когда он дерзнул, а он сейчас живет во мне и вновь созерцает то же дивное видение. Пыль веков не осела на этой завесе, время не отделило нас от того божественного откровения. Время подлинных свершений не относится ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему.

Мое уединение больше любого университета благоприятствовало не только размышлениям, но и серьезному чтению, и хотя обычная библиотека была мне недоступна, я, как никогда раньше, ощутил влияние тех обошедших весь мир книг, слова которых писались первоначально на древесной коре, а ныне лишь переписываются время от времени на полотняной бумаге. Как говорит поэт Мир Камар Уддин Маст:[110] „Обозреть все области духовного мира, не сходя с места, — это мне было дано через книги. Опьянеть от одного стакана вина — эту отраду я вкусил, когда отведал напитка эзотерических учений“. Все лето я держал у себя на столе „Илиаду“ Гомера, хотя не часто в нее заглядывал. Непрерывная физическая работа — мне надо было кончать постройку дома и одновременно окучивать бобы — вначале оставляла мало времени для занятий. Но я обещал себе чтение в будущем. В перерывах между работой я прочел одну — две легких книги путевых очерков, пока не устыдился такого времяпрепровождения и не спросил себя, где же я живу.

Ученый может читать Гомера или Эсхила на греческом языке, не опасаясь упрека в роскошной праздности, ибо читая, он как бы подражает их героям и посвящает их страницам утренние часы. Язык этих героических книг, даже изданных в переводе на наш, всегда будет для наших времен упадка языком мертвым, и мы вынуждены старательно разгадывать каждое слово и строку, вкладывая в них более широкий смысл, чем общепринятый, и обращаясь для этого ко всей мудрости, доблести и великодушию, какими обладаем мы сами. Современная дешевая и плодovitая печать, со всеми ее переводными изданиями, мало приблизила нас к героическим поэтам древности. Они и их язык все еще стоят особняком, как нечто редкостное. Не жалеете же дней молодости и драгоценных часов на то, чтобы выучить хотя бы несколько слов древнего языка, которые поднимаются над обыденной пошлостью улицы и служат нам постоянным напоминанием и стимулом. Не напрасно фермер запоминает и повторяет немногие слышанные им латинские слова. Иногда говорят, что изучение древних классиков в конце концов уступит место более современным и практически необходимым предметам; но пытливый ум всегда будет обращаться к классикам, на каком бы языке они ни писали и как бы они ни были древни. Ибо что такое

классики, как не записи благороднейших человеческих мыслей? Это единственные уцелевшие оракулы, и у них имеются такие ответы на самые современные вопросы, каких никогда не давали ни Дельфы, ни Додона[111]. Это все равно, что отказаться от изучения природы из-за того, что она древняя. Хорошее чтение — т. е. чтение подлинно хороших книг в надлежащем духе — благородное дело, требующее от человека бóльших усилий, чем любое из принятых ныне занятий. Для него нужна такая же подготовка, какую проходили атлеты, всецело посвящавшие себя своей цели. Книги надо читать так же сосредоточенно и неторопливо, как они писались. Умения говорить на языке, на котором они написаны, еще недостаточно, ибо между языком устным и письменным, языком, который мы слышим, и языком, на котором мы читаем, — расстояние немалое. Первый — недолговечен, это — звук, речь, говор, нечто животное, чему мы бессознательно, как животные, научаемся от матерей. Второй воплощает зрелость и опыт первого; если первый — язык наших матерей, то второй — язык отцов, тщательно отобранные средства выражения, слишком значительные, чтобы просто ловить их на слух; для овладения ими надо родиться заново. В Средние века толпы, умевшие всего лишь говорить по-гречески и по-латыни, не могли, по случайности рождения, читать написанные на этих языках гениальные творения, ибо это был не тот греческий и не та латынь, которые они знали, но утонченный язык литературы. Этот благородный язык Греции и Рима был им незнаком, самые рукописи были для них негодным хламом, и они предпочитали им дешевую современную литературу. Но когда у народов Европы появилась своя, пусть еще грубая, письменность, удовлетворявшая потребностям их развивавшихся литератур, тогда возродилась и ученость, и из глубины веков ученым стали видны сокровища древней культуры. То, чего не могла слышать уличная толпа Рима и Греции, сумели спустя много веков прочесть несколько ученых, и только ученые читают это до сих пор.

Как бы ни восхищали нас порой взлеты ораторского красноречия, благороднейшие памятники письменности обычно так же возвышаются над эфемерной устной речью, как звездное небо над облаками. Вот где светят звезды, и где по ним могут читать все умеющие. Астрономы постоянно их наблюдают и описывают. Это не *испарения*, подобные нашим ежедневным беседам, которые улетучиваются вместе с нашим дыханием. То, что на форуме считается красноречием, в кабинете обычно оказывается всего лишь риторикой. Оратор отдается минутному вдохновению по случайному поводу и говорит с толпой, с теми, кто его *слышит*; писатель, который живет более размеренной жизнью и которого только отвлекли бы события и толпа, вдохновляющие оратора, обращается к уму и сердцу человечества, ко всем людям всех веков, способным его *понять*.

Неудивительно, что Александр возил с собой в походы „Илиаду“ в драгоценном ларце. Писанное слово — драгоценнейшая из святынь. Из всех произведений искусства это и самое близкое нам, и самое универсальное. Оно ближе всего к жизни. Его можно перевести на любой язык и не только прочесть, но и услышать из человеческих уст, не просто представить на холсте или в мраморе, но и изваять из живого дыхания жизни. Знаки, запечатлевшие мысль человека древности, воспроизводятся современным человеком в живой речи. Два тысячелетия окрасили памятники греческой литературы, как и ее мраморные статуи, в зрелые золотые тона осени, и всюду они несут с собой божественную безмятежность, которая защищает их от разъедающей ржавчины веков. Книги — это сокровищница мира, наследственное достояние поколений и наций. Самые древние и

лучшие из них по праву занимают место на полках каждой хижины. Им незачем отстаивать свои права; просвещая и питая ум читателя, они приобретают его уважение. Их авторы составляют естественную и бесспорную аристократию каждого общества и властвуют над человечеством больше, чем короли и императоры. Когда невежественный торговец, презирающий ученость, своей предприимчивостью и неутомимостью обеспечивает себе независимость и досуг и получает доступ в общество богатых, он неизбежно видит за ними более высокие и еще недоступные ему области интеллекта и таланта, сознает недостаточность своего образования, тщету и ничтожность своих богатств и проявляет подлинный здравый смысл, когда всеми силами старается обеспечить своим детям духовную культуру, недостаток которой он так остро ощущает; таким образом он становится основателем семьи.

Те, кто не научился читать древних классиков на языке оригинала, обладают лишь очень несовершенными познаниями в истории человечества, ибо настоящий перевод их не осуществлен еще ни на одном из современных языков, если только не считать таким переводом саму нашу цивилизацию. На английском языке еще нет настоящего Гомера или Эсхила, или даже Вергилия — произведения утонченные, долговечные и прекрасные, почти как само утро; позднейшие писатели, что бы ни говорить об их таланте, редко или почти никогда не достигали совершенной красоты и законченности древних и не могли сравняться с ними в героическом творческом труде. Только те, кто их не знает, могут утверждать, что их ждет забвение. Прежде чем забывать их, надо достичь тех знаний и гениальности, которые дали бы возможность изучить их и оценить. Славен будет тот век, когда драгоценных реликвий, называемых классиками, и еще более древних и более чем классических, но еще менее известных священных книг всех народов будет найдено еще больше; когда многочисленные ватиканские библиотеки[112] наполнятся ведами, зендавестами[113] и библиями, сочинениями Гомера, Данте и Шекспира, и все грядущие века поочередно оставят свои трофеи на этом всемирном форуме. Вот из чего можно надеяться сложить башню, чтобы достичь небес[114]

Творения великих поэтов еще не прочитаны человечеством — ибо читать их умеют лишь великие поэты. А массы читают их так же, как они читают по звездам — в лучшем случае, как астрологи, но не астрономы. Большинство людей научаются читать лишь для удобства, как учится считать ради записи расходов и чтобы их не обсчитали. Но о чтении как благородном духовном упражнении они почти не имеют понятия, а между тем только это и есть чтение в высоком смысле слова, — не то, что сладко баюкает нас, усыпляя высокие чувства, а то, к чему приходится тянуться на цыпочках, чему мы посвящаем лучшие часы бодрствования.

Я полагаю, что, научившись читать, мы должны читать лучшее, что есть в литературе, а не повторять без конца ее азы и не сидеть всю жизнь на низких скамьях первого ряда[115]. Большинство людей довольствуется чтением или слушанием лишь одной хорошей книги — Библии, а может быть даже и постигает ее мудрость, но всю остальную жизнь прозябает и тратит попусту время на так называемое легкое чтение. В нашей библиотеке имеется многотомное собрание, называемое „Малым кругом“, которое я сперва принял за название города, где мне не довелось побывать. Находятся прожорливые бакланы и страусы, способные переваривать подобные вещи даже после сытнейшего обеда из мяса и овощей,

ибо они не терпят, чтобы хоть что-нибудь пропадало даром. Если есть механизмы для производства подобного чтива, то вот вам и механизмы, готовые его поглощать. Они будут читать девятитысячную по счету повесть о Завулоне и Софронии, об их беспримерной любви, путь которой не был, разумеется, гладким,[116] и о том, как они, следовательно, спотыкались, вставали и шли дальше! И о том, как некий несчастный, которому и на колокольню-то не следовало лезть, взобрался на самый шпиль; а затем, загнав его туда безо всякой надобности, счастливый романист звонит в колокола, сзывая народ полюбоваться, как он оттуда спустится. Мне кажется, что лучше было бы превратить всех этих честолюбивых героев романов во флюгера — помещали же героев среди созвездий — и пусть бы они там вертелись, покуда не заржавеют, чем надоедать честным людям своими нелепыми выходками. Когда романист в следующий раз ударит в колокол, я не тронусь с места, хотя бы молитвенный дом сгорел дотла. „Скок-на-Носок“, роман из эпохи Средневековья, того же автора, что и прославленный „Чуть-и-Ничуть“, будет выходить ежемесячными выпусками; ожидается колоссальный спрос; просьба подписаться заблаговременно». Все это читается с разинутым ртом, с самым примитивным любопытством и ненасытным аппетитом, который все готов уместить в своем зобу, совсем как четырехлетний малыш читает двухцентовое раззолоченное издание «Золушки»; незаметно, чтобы читатель, выйдя из этого возраста, сделал какие-нибудь успехи по части выразительности чтения или умения извлекать из книги мораль. В результате — притупление зрения, застой кровообращения, общее размягчение мозгов и ослабление всех умственных способностей. Подобные пряники ежедневно пекутся почти во всех печах, более усердно, чем чистый пшеничный, ржаной или кукурузный хлеб, и находят больше сбыта.

Лучшие книги не читаются даже теми, кого считают хорошими читателями. В чем состоит наша конкордская культура? За очень немногими исключениями, наш город не обнаруживает вкуса к лучшим произведениям, хотя бы даже английской литературы, доступной всем. И у нас, и в других местах даже люди, окончившие колледж и получившие так называемое широкое общее образование, почти незнакомы с английскими классиками; а что касается памятников общечеловеческой мудрости — древних и Библии, доступных всем, кто этого пожелал бы, — то к ним проявляется чрезвычайно слабый интерес. Я знаю одного немолодого лесоруба, получающего французскую газету — не ради новостей, этим он не интересуется, — а «для практики», потому что он родом из Канады; а когда спросишь его, какую еще цель он ставит себе в жизни, он говорит, что хочет усовершенствоваться в английском языке. Примерно к этому стремятся и питомцы колледжей и для этого же выписывают английскую газету. Если вы только что прочли какую-нибудь из лучших английских Книг, много ли вы найдете собеседников, чтобы поговорить о ней? Или, скажем, вы прочли в оригинале греческого или латинского классика, чье имя знакомо даже самым необразованным, — о нем вам уже совсем не с кем поговорить и приходится молчать. В наших колледжах трудно найти даже профессора, который постиг бы не только языковые трудности, но суть остроумия и поэзии греческого автора и мог бы сочувственно выслушать читателя, героически одолевшего такую книгу; что же касается священных книг человечества — кто в нашем городе сумеет назвать хотя бы их заглавия? Большинству вообще неизвестно, что другие народы, кроме древних иудеев, имели такие книги. Никто не поленится свернуть с дороги, чтобы подобрать серебряный доллар, а тут перед нами — золотые слова, изречения мудрейших людей древности, мудрость которых многократно подтверждена учеными всех последующих эпох; но мы не идем дальше школьных

учебников и хрестоматий, а после школы довольствуемся «Малым кругом» и рассказами, годными для одних только мальчишек и начинающих; все наше чтение, беседы и мышление находятся на весьма низком уровне, достойном одних пигмеев и гомункулов.

Я стремлюсь общаться с более умными людьми, чем те, которых произвела наша конкордская земля, а их здесь едва знают даже по именам. Неужели мне суждено только слышать о Платоне и не прочесть его книги? Словно Платон — мой земляк, а я его никогда не видел, мой ближайший сосед, а я ни разу не слышал его речей и не вдумывался в их мудрость. Как это получается? Его диалоги, содержащие все, что было в нем бессмертного, лежат на полке, а я их не читал. Мы живем низменной жизнью, мы необразованны и безграмотны; и в этом отношении я, признаюсь, не делаю большого различия между безграмотностью тех моих земляков, которые не знают азбуки, и безграмотностью тех, кто выучился читать лишь для того, чтобы читать книги для детей и слабоумных. Мы должны стремиться сравняться с достойными людьми древности, а для этого надо прежде всего узнать об их деяниях. Но мы — мелкая порода, и наши духовные взлеты ограничены столбцами ежедневных газет.

Не все книги так бестолковы, как их читатели. В них наверняка есть слова, предназначенные именно нам, и если бы мы только могли услышать их и понять, они были бы для нас благотворнее утра и весны и могли бы заставить нас иначе смотреть на вещи. Для многих людей новая эра в их жизни началась с прочтения той или иной книги. Быть может, существует книга, которая разъяснит нам все чудеса и откроет перед нами новые. То, что нам сейчас кажется невыразимым, где-то, может быть, выражено. Те самые вопросы, которые тревожат, смущают и озадачивают нас, уже вставляли перед всеми мудрецами — все без исключения, — и каждый ответил на них в меру своих сил; ответил своими речениями и своей жизнью. К тому же, вместе со знаниями приходит и широта взглядов. Одиноким батрак, где-нибудь на ферме на окраине Конкорда, который пережил второе рождение и религиозное озарение и считает поэтому нужным молчаливо уединиться от людей, может не поверить этому, но много тысячелетий назад Зороастр[117] прошел тот же путь и пережил то же самое, только он, будучи мудрым, знал, что это — обще всем, и был терпим к своим ближним; говорят, что он-то и ввел обычай молиться. Пусть же батрак смиренно ощутит общность с Зороастром, а через освобождающее влияние всех великих душ приблизится и к самому Иисусу Христу, и «наша церковь» будет ему не нужна.

Мы похваляемся тем, что живем в XIX в. и движемся вперед быстрее всех других наций. Но посмотрите, как мало наш городок заботится о культуре. Я не намерен льстить землякам и сам не жду от них лести — это ни к чему ни им, ни мне. Чтобы мы двигались вперед, нас надо подгонять, как быков. У нас имеется неплохая школьная система, но только для детей младшего возраста. А для нас самих — ничего, кроме убогого Лицея[118] в зимнее время, а недавно — жалких попыток основать библиотеку, по предложению штата. Мы больше тратим на пищу и на лекарства для нашего тела, чем на пищу духовную. Пора нам завести иные школы и не бросать образования, выходя из детского возраста. Пора превратить поселки в университеты, а их старейших обитателей — в служителей науки, которым досуг позволяет, если они в самом деле так зажиточны, до конца жизни пополнять свои познания. Неужели на свете всегда будет только один Париж или Оксфорд? Неужели и под конкордским небом нельзя дать студенту широкое общее образование? Неужели мы не

можем пригласить к себе лектором какого-нибудь Абеляра?[119] Увы! Нас слишком поздно посылают в школу; то надо задать корм скоту, то посидеть в лавке — и из нас выходят недоучки. В нашей стране посёлок должен кое в чем играть ту роль, какую в Старом Свете играл вельможа. Он должен покровительствовать наукам и искусствам. Он для этого достаточно богат. Ему не хватает только щедрости и утонченности. Он немало тратит на то, что ценится фермерами и торговцами, но считает непрактичным расходоваться на вещи, которые, по мнению более образованных людей, имеют куда большую ценность. Наш городок израсходовал семнадцать тысяч долларов на постройку ратуши, за что надо благодарить судьбу или политику, но вряд ли он за сто лет потратит столько на воспитание умов, которые одни лишь и способны наполнить жизнью это здание. Из всех сумм, собираемых в нашем городе, ни одна не находит лучшего применения, чем те сто двадцать пять долларов, которые каждую зиму собираются по подписке в пользу Лицея. Раз уж мы живём в XIX в., почему бы нам не пользоваться преимуществами, которые этот век предоставляет? Зачем жить жизнью провинциального захолустья? Если уж читать газеты, нельзя ли миновать бостонские сплетни и выписать лучшую в мире газету, вместо того, чтобы питаться жидкой кашкой «нейтральных семейных» газет или пастись под сенью наших местных «Оливковых ветвей»?[120] Пусть нам присылают отчеты всех научных обществ, а мы посмотрим, чего стоит их ученость. Почему издательствам «Харпер энд Брозерс» и «Рэддинг энд Ко» присвоено право выбирать для нас чтение? Подобно просвещенному вельможе, окружавшему себя талантами, ученостью, остроумием, книгами, картинами, статуями, музыкой, пособиями по философии и тому подобным, пусть так же делает и наш город, а не ограничивается учителем, пастором, могильщиком, приходской библиотекой и тремя членами городской управы только потому, что наши предки-пилигримы в свое время обошлись ими, когда зимовали на каменистом берегу. Коллективные действия соответствуют духу наших учреждений; раз мы богаче вельможи, я верю, что и возможности наши шире. Новая Англия может пригласить себе в наставники мудрецов со всего света и взять их на общественное иждивение, — тогда она уже не будет провинцией. Вот какая *необычная* школа нам нужна. Вместо вельмож пусть будут у нас целые селения просвещенных людей. Если нужно, пусть будет одним мостом через реку меньше и кое-где придется идти в обход, лишь бы перебросить хоть один пролет моста через окружающий нас омут невежества, куда более глубокий.

Звуки

Но пока мы ограничиваемся книгами — как бы тщательно мы их ни отбирали — и имеем дело лишь с немногими письменными языками, которые в сущности представляют собой провинциальные диалекты, мы рискуем позабыть тот язык, на котором говорят без метафор все вещи и события, — а ведь только он один богат и может служить образцом. Многие оглашаются, но мало что печатается. Кто вспоминает о луче, пробившемся сквозь щели в ставне, когда ставни распахнуты настежь? Никакой научный метод не заменяет необходимости постоянного внимания к жизни. Разве курс истории, или философии, или поэзии, пусть самой избранной, или самое лучшее общество, или самый налаженный обиход могут сравниться с умением видеть все, что показывает нам жизнь? Что ты хотел бы — только читать, быть читателем, или видеть, то есть быть провидцем. Прочти свою судьбу, знай, что лежит перед тобой и шагай в будущее.

В первое лето я не читал книг, я мотыжил бобы. А часто у меня было занятие и получше. Бывало, что я не мог пожертвовать прелестью мгновения ради какой бы то ни было работы — умственной или физической. Я люблю оставлять широкие поля на страницах моей жизни. Иногда летом, после обычного купанья, я с восхода до полудня просиживал у своего залитого солнцем порога, среди сосен, орешника и сумаха, в блаженной задумчивости, в ничем не нарушаемом одиночестве и тишине, а птицы пели вокруг или бесшумно пролетали через мою хижину, пока солнце, заглянув в западное окно, или отдаленный стук колес на дороге не напоминали мне, сколько прошло времени. В такие часы я рос, как растет по ночам кукуруза, и они были полезнее любой физической работы. Эти часы нельзя вычесть из моей жизни, напротив, они были мне дарованы сверх отпущенного срока. Я понял, что разумеют на Востоке под созерцанием, ради которого оставляют работу. Большей частью я не замечал, как течет время. Солнце шло по небу как бы затем, чтобы освещать мой труд; только что было утро — а вот уж и вечер, и ничего памятного не совершено. Я не пел, как поют птицы, я молча улыбался своему неизменному счастью. У воробья, сидевшего на ореховом дереве напротив моих дверей, была своя песенка, а у меня — тихий смешок, приглушенная трель, доносившаяся к нему из моего гнезда. Мои дни не были днями недели, названными по именам языческих богов;^[121] тиканье маятника не рубило и не мельчило их на часы, ибо я жил, как живут индейцы Пури,^[122] которые, как говорят, имеют всего одно слово для обозначения вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня и различают его значение тем, что указывают назад для «вчера», вперед для «завтра» и вверх для «нынешнего дня». Не сомневаюсь, что моим согражданам это показалось бы полной праздностью, но если бы меня судили цветы и птицы со своей точки зрения, меня не в чем было бы упрекнуть. Правда, что человеку надо самому создавать себе дело. В природе день проходит очень спокойно и никто никого не упрекает в лени.

Мой образ жизни давал мне хотя бы то преимущество над всеми, кто вынужден искать развлечений вовне — в обществе или в театре, что для меня развлечением стала сама жизнь, а она никогда не теряла новизны. Это было многоактное, нескончаемое

представление. Если бы мы всегда зарабатывали на жизнь и устраивали ее самым лучшим способом, какой нам известен, мы никогда не знали бы скуки. Следуй влечению своего доброго гения, и он ежечасно будет открывать тебе что-нибудь новое. Приятным времяпрепровождением была для меня и домашняя работа. Когда загрохотал пол, я подымался пораньше, выставлял всю свою мебель наружу, прямо на траву, забирая в одну охапку и кровать и постель, лил на пол воду, посыпал его белым песком с пруда и скреб добела; поселяне еще только принимались за завтрак, а у меня утреннее солнце успевало так хорошо высушить дом, что я мог снова в него перебираться, и ничто уже не прерывало моих размышлений. Приятно было видеть на траве все мое домашнее имущество, сваленное в кучу, как у цыган, и мои трехногий столик, с которого я не снимал книг, чернил и перьев, очень хорошо выглядел среди сосен и орешника. Вещи тоже казались довольными, что их вынесли, и не стремились обратно. Мне иногда хотелось натянуть над ними тент и так сидеть. Стоило посмотреть, как все это освещается солнцем и обдувается вольным ветром; домашние вещи выглядят куда интереснее, если их вынести из дому. На ближней ветке сидит птичка, под столом растет сушеница, а вокруг его ножек обвиваются побеги ежевики; на земле — сосновые шишки, каштаны и земляничные листья. Казалось, что формы природы перешли в нашу мебель — столы, стулья и кровати — именно потому, что когда-то окружали их.

Мой дом стоял на склоне холма, на самой опушке большого леса, среди молодого сосняка и орешника, в какой-нибудь сотне футов от пруда, куда вела под гору узкая тропинка. Перед домом росла земляника, ежевика, сушеница, зверобой, золотарник, дубняк, карликовая вишня, голубика и земляной орех. В конце мая карликовая вишня (*Cerasus rumila*) обрамляла тропинку зонтичными соцветиями на коротких стеблях, а осенью эти стебли, тяжелые от крупных, красивых вишен, лучами ложились по сторонам тропинки. Желая быть вежливым по отношению к природе, я отведал их, хотя они почти несъедобны. Сумак (*Rhus glabra*) роскошно разросся вокруг дома, пробившись через сделанную мною насыпь, и уже в первый год достиг почти шести футов в высоту. Его широкие, перистые тропические листья выглядели необычно, но красиво. Крупные почки, неожиданно появившиеся в конце весны на сухих ветвях, казавшихся мертвыми, точно по волшебству превратились в грациозные нежно-зеленые побеги до дюйма в диаметре; иногда они принимались расти так безудержно, забывая о слабости своих стеблей, что я, сидя у окна, слышал, как нежная молодая ветвь вдруг падала на землю, точно веер, без малейшего дуновения ветерка, сложенная собственной тяжестью. А в августе крупные гроздья ягод, привлекавшие при цветении множество диких пчел, постепенно окрашивались в ярко-алые бархатистые тона, и снова нежные стебли подламывались под их тяжестью.

Сейчас, в летний день, я сижу у окна, а над моей полянкой кружат ястребы; дикие голуби пролетают передо мной по два — три или садятся на ветви белой сосны позади дома, и воздух полон шумом их крыльев; скопа, или птица-рыболов, рябит стеклянную поверхность пруда и выуживает рыбу; из болота крадется норка и хватает на берегу лягушку; осока гнетса под тяжестью болотных птиц, порхающих с места на место; с полчаса назад стал слышен стук железнодорожных вагонов, который то замирает, то снова возникает, точно хлопанье крыльев куропаток, — это едут пассажиры из Бостона за город. Ведь я не настолько удалился от мира, как тот мальчишка, которого, говорят, отдали к фермеру, куда-то к востоку от города, а он скоро сбежал и вернулся домой в самом жалком виде — так он

тосковал. Никогда еще ему не приходилось жить в такой глуши: людей не видно, свистка — и того не слышно! Я сомневаюсь, чтобы во всем штате Массачусетс оставалось сейчас подобное место:

*...стальные рельсы стрелами бегут
К селенью нашему, и тихая равнина,
Его название повторяет — Конкорд[123]*

Фичбургская железная дорога проходит возле самого пруда, на расстоянии трети мили к югу от моего жилища. Я обычно хожу в поселок вдоль ее полотна, и оно как бы связывает меня с человеческим обществом. Бригады товарных поездов, идущих до конечной станции, кивают мне, как старому знакомцу; они видят меня так часто, что наверное принимают за железнодорожного служащего; так оно и есть. Я тоже очень хотел бы чинить пути где-нибудь на земной орбите.

Свисток паровоза слышен в моем лесу летом и зимой; он похож на крик ястреба, парящего над птичьим двором, и оповещает меня о приезде множества беспокойных купцов из столицы или предприимчивых негоциантов с противоположной стороны. Мчась друг другу навстречу, они криком предупреждают друг друга, чтобы уступил дорогу, и этот крик слышен иной раз на оба города. «Эй, деревня, вот тебе бакалейный товар!» «Вот на твою долю». И нет на ферме человека, который мог бы от него отказаться. «А вот тебе взамен», — возвещает свисток встречного поезда из деревни, и к стенам города со скоростью двадцати миль в час устремляются бревна, точно длинные тараны, и столько стульев, что можно посадить на них всех усталых и обремененных городских жителей. Деревня с тяжеловесной вежливостью придвигает городу стул. Со всех индейских холмов дочиста обирают чернику, со всех лугов — клюкву, и все это доставляется в город. В город везут хлопок, из города — ткани; в город идет шелк, из города — шерсть; в город везут книги, но из города устремляются их сочинители.

Когда мне встречается паровоз с вагонами, несущийся, как планета, точнее, как комета, потому что орбита его непохожа на замкнутую кривую, и зрителю может показаться, что он пролетит и больше не появится в нашей солнечной системе; когда облако пара вьется за ним золотыми и серебряными кольцами, напоминая мне многие виденные мной настоящие облака, развертывающие высоко в небе свои пушистые клубы, точно этот стремительный полубог, этот тучегонитель[124] готов увлечь за собой все закатное небо; когда я слышу, как Железный конь громовым фырканием будит эхо в холмах, сотрясает своей поступью землю и пышет из ноздрей огнем и дымом (хотел бы я знать, какой крылатый конь или огненный дракон попадет в нашу новую мифологию), — мне кажется, что явилось, наконец, племя, достойное населять землю. Если бы все было так, как кажется, и покоренные силы природы служили человеку для благородных целей! Если бы облако, висящее над паровозом, было дыханием героических подвигов, или несло в себе ту же благодать, как то, что плывет над посевами фермера, тогда стихии и вся Природа радостно сопутствовали бы человеку во всех его делах.

Я встречаю утренние поезда с тем же чувством, что и восход солнца, — они появляются почти так же точно. За ними стелются клубы дыма, подымаясь все выше; дым идет к небу, а

поезд — к Бостону; дым на миг скрывает солнце и бросает тень на мое отдаленное поле, клубы его мчатся подобно некоему небесному поезду и маленький поезд, жмущийся к земле, по сравнению с ним — лишь зубец на конце копья. Конюх железного скакуна рано поднялся в это зимнее утро, еще при свете звезд над горами, чтобы задать ему корм и запрячь его. Рано пробудили и огонь, который его согрел и дал ему ход. Если бы все это было так же невинно, как и рано! Когда выпадает много снега, его обувают по-особому, и этим гигантским плугом пропахивают борозду от гор до морского побережья, а вагоны, следуя за ним, как сеялка, высевают в эту борозду всех беспокойных людей и весь товар, находящийся в обороте. Целыми днями летает по стране огненный конь, останавливаясь для того, чтобы дать отдохнуть своему хозяину, и его топот и дерзкое фыркание будят меня в полночь, когда он, заснеженный и обледеневший, борется со стихиями где-нибудь в дальних лесных долинах. Он прибегает в стойло лишь на рассвете, чтобы снова пуститься в путь, без сна и отдыха. Только иногда, ночью, я слышу, как он, отдуваясь, выпускает из себя лишнюю энергию, чтобы остыть и успокоиться и на несколько часов забыться железным сном. Если бы все это было так же героично и значительно, как длительно и неутомимо!

Через пустынные леса в окрестностях городов, куда прежде проникал, и то днем, один лишь охотник, бегут темной ночью ярко освещенные вагоны с ничего не ведающими пассажирами; то остановятся у залитого светом городского вокзала, где собралась целая толпа, то в Болоте Уныния,[125] где они вспугивают сов и лисиц. Приход и отправление поездов являются теперь главными событиями сельской жизни. Они уходят и приходят с такой регулярностью и точностью, и свистки их слышны так далеко, что фермеры ставят по ним часы, и жизнь всей округи подчиняется этому четкому ритму. Разве не стали люди пунктуальнее с появлением железных дорог? Разве не научились они и говорить, и думать быстрее на вокзале, чем, бывало, на почтовой станции? На вокзале самый воздух насыщен электричеством. Я удивляюсь, каких он натворил чудес — некоторые мои соседи, которые, я готов был поручиться, ни за что не поехали бы в Бостон на такой быстроходной машине, оказываются тут как тут, едва ударит вокзальный колокол. Сейчас принято все делать «по железнодорожному»; очень полезно, когда вам так часто и так решительно велят убираться с дороги. Тут некогда оглашать закон о бунтах или давать предупредительный залп поверх голов толпы. Мы построили нечто роковое, создали *Атропос*,[126] ту, что не сворачивает со своего пути (так бы и следовало назвать паровоз). Людей оповещают, что в такой-то час и минуту стрела полетит по тому или иному направлению, но это никому не мешает заниматься своим делом, и по второму пути дети идут в школу. Жизнь стала даже устойчивее. Всех нас воспитывают, как сыновей Телля[127]. Воздух полон невидимых стрел. Каждая тропа, кроме вашей, — тропа судьбы. Так держитесь уже лучше своей.

В торговле мне нравится смелость и предприимчивость. Она не воздевает молитвенно руки к Юпитеру. Я вижу, как эти люди ежедневно делают свое дело бодро и отважно, делают даже больше, чем предполагают, и приносят, быть может, больше пользы, чем сами могли бы сознательно придумать. Я меньше удивляюсь героизму тех, кто полчаса простоял на передовой линии в Буэна Виста,[128] чем стойкому, неунывающему мужеству тех, кто проводит зиму в снеговом плуге; ибо они обладают не только предрассветным мужеством, которое Бонапарт считал самым редким, но тем мужеством, которого хватает надолго, которое спит лишь когда стихает буря или заморожены мышцы стального скакуна. Сегодня, в день Великого Снегопада, когда метель бушует и леденит нам кровь, я слышу сквозь

туман, образуемый их дыханием, приглушенный звон паровозного колокола, возвещающий, что поезд *идет*, и без опоздания, назло северо-восточному ветру и снежному бурану Новой Англии; я вижу обледеневших и запорошенных снегом пахарей; их плуг выворачивает кое-что потяжелее, чем маргаритки или гнезда полевых мышей,[129] а головы видны над отвалом, открытые всем ветрам, как валуны Сьерры-Невады.

Торговле присуща удивительная уверенность, спокойствие, бодрость, предприимчивость и неутомимость. К тому же, она куда естественнее многих сентиментальных экспериментов и фантастических прожектов; вот откуда ее поразительные успехи. Когда мимо меня грохочет товарный поезд, на меня веет свежестью и простором; я ощущаю запахи всех товаров, которые он развозит на своем пути от Лонг-Уорфа до озера Шамплейн,[130] и они напоминают мне о дальних краях, о коралловых рифах, об Индийском океане, о тропиках и о том, как велика наша земля. Я больше чувствую себя гражданином при виде пальмовых листьев,[131] которые летом будут защищать от солнца столько белокурых голов в Новой Англии, при виде манильской пеньки, скорлупы кокосовых орехов, канатов, джутовых мешков, металлического лома и ржавых гвоздей. Груз старых парусов сейчас говорит мне больше, чем тогда, когда он превратится в бумагу и печатные книги. Кто может красноречивее рассказать о пережитых бурях, чем этот продранный холст? Это корректура, не требующая правки. Вон идет из штата Мэн лес, который не был отправлен морем в последнее половодье и поднялся в цене на четыре доллара за тысячу, потому что много его унесло или раскололо; вон сосна, ель, кедр — первого, второго, третьего и четвертого сорта, — а давно ли все они были одного сорта и давали приют медведю, лосю и канадскому оленю? Вон везут известь из Томастона — отличный товар, ее отвезут в горы и там будут гасить. Вон лоскут в мешках, всех цветов и качества, последняя ступень падения для бумажной и льняной ткани, последняя фаза превращения платьев, которые уже не расхваливают, разве только в Мильвоки, как отличные изделия из английских, французских и американских ситцев, шотландки, муслина и т. п. Они собраны отовсюду, от модниц и от нищенок, а все одинаково превратятся в одноцветную бумагу, на которой, — подумать только! — будут написаны повести из подлинной жизни, и богатой и бедной, и все они будут основаны на фактах! А вон тот закрытый вагон издает запах соленой рыбы, характерный запах Новой Англии и ее торговли, напоминающий мне о Большой Банке[132] и рыбных промыслах. Кто не знает соленой рыбы, насквозь провяленной и гарантированной от порчи, более нетленной, чем любые мощи? Она так тверда, что ею можно мести или мостить улицы и колоть лучину; возчик вместе с грузом может укрываться ею от солнца, дождя и ветра, а лавочник, открывая торговлю, может, как это сделал однажды некий лавочник в Конкорде, повесить ее над дверью вместо вывески, и самый опытный покупатель не распознает, что это за штука — животное, растение или минерал; и при всем том она остается чище снега, а будучи положена в кастрюлю и сварена, превращается в отличное рыбное блюдо для субботнего обеда. А вот испанские кожи, где хвосты все еще лихо закручены и задраны, как в те времена, когда носившие их волю скакали в пампасах Южной Америки, олицетворяя собой упрямство и показывая, как безнадежно неисправимы все врожденные пороки. Признаюсь, что, узнав характер человека, я уже не надеюсь изменить его к лучшему или худшему до самой его смерти. Как говорят на Востоке: «Сколько ни парь, ни утюжь, ни подвязывай собачий хвост, он через десять лет будет все так же торчать закорючкой». Ничего с этими хвостами не поделаешь, разве только пустить их на клей, — именно так, кажется, и делают, и тут уж они приклеиваются прочно. Вон бочка патоки или бренди,

адресованная Джону Смит, Каттингсвилль, штат Вермонт, — это какой-нибудь торговец в Зеленых горах, который выписал товар для соседей-фермеров, а сейчас, наверное, стоит у своего ларька и раздумывает о последних грузах, прибывших на побережье, и как это повлияет на цены, и говорит покупателям, как уже говорил раз двадцать, что ждет со следующим поездом первосортный товар. О нем объявлено в «Каттингсвилльской таймс».

Одни товары едут в город, другие — оттуда. Услышав свисток, я поднимаю голову от книги и вижу, как несется мимо стройная сосна, срубленная на дальних северных холмах; она миновала Зеленые горы и Коннектикут, за несколько минут стрелой пролетела мимо нашего городка, и никто уже больше не увидит ее, пока она не превратится

...в мачту

Громаднейшего в мире корабля[133]

А это, слышите? — везут скот с тысячи гор,[134] из овечьих загонов, хлевов и коровников, вместе с пастухами и пастушонками, везут все, кроме только самого горного пастбища, и все это несется, как листья, сносимые с гор сентябрьскими ветрами. Воздух наполнен мычаньем телят и блеянием овец, слышно, как переминаются волы, точно в путь тронулась вся сельская долина. И действительно, при звуке колокольчика старого вожака горы прыгают, как овны, а холмы, — как агнцы. В среднем вагоне едут пастухи, теперь уже наравне со своими подопечными; они уже не при деле, но все еще держат в руках ненужные теперь посохи, как знак своей должности. А где же их собаки? Эта гонка им не под силу, они далеко отстали и сбились со следа. Мне чудится их лай за холмами Питерборо или на западном склоне Зеленых гор. Они не успеют. Они тоже теперь не при деле. Их верность, их ум потеряли свою цену. Они бесславно вернутся в свои конуры, а может быть, одичают и заключат союз с волками и лисицами. Так уносится от нас пастушья мирная жизнь. Но слышен звонок, и я должен сойти с полотна, чтобы пропустить поезд:

Мне вовсе не нужен рельсовый путь.

Я не ходил ни разу взглянуть,

Куда он ведет,

Он только и годен — овраги скрыть,

В откосах ласточек приютить,

Вослед ему ветер песок несет,

Да ежевика буйно растет[135]

Но я перехожу его, как перехожу лесную дорогу. Я не хочу, чтобы меня ослепило и оглушило дымом, паром и шипеньем.

Сейчас поезда прошли, и все уgomонилось; грохот уже не тревожит рыб в пруду, и я остаюсь совершенно один. Теперь до конца дня мои размышления изредка прерываются только слабым стуком тележных колес на дальней дороге.

Иногда по воскресеньям, когда ветер благоприятный, я слышу колокола в Линкольне, Эктоне, Бедфорде или Конкорде — нежные, слабые звуки, гармонирующие с природой, достойные моего уединения. На таком расстоянии эти звуки вибрируют, перебирая сосновые

иглы, точно струны арфы. Все звуки, доносящиеся издали, становятся одинаковы, превращаясь в звуки всемирной лиры, подобно тому как воздух окрашивает для нас все отдаленные холмы в нежный голубоватый тон. До меня долетает мелодия, процеженная через воздух и пошептавшаяся с каждым листком и сосновой иголкой в лесу, — та часть звуков, которую природа подхватила, модулировала и передала из долины в долину. Ведь это — тоже своего рода звук, и в этом его очарование. Тут не просто повторение всего лучшего, что есть в колокольном звоне, но также и голос леса, те же знакомые слова и ноты, но пропетые лесной нимфой.

По вечерам отдаленное мычание коровы за лесом звучало нежно и мелодично, и я поначалу принимал его за голоса неких менестрелей, которые иногда пели мне серенады, бродя по холмам и долам, но скоро я был приятно разочарован, когда они оказались обычной, естественной коровьей музыкой. Тут нет никакого сарказма, напротив — высокая оценка пения менестрелей: раз оно показалось похожим на пение коровы, это значит, что оно звучит согласно с Природой.

Ровно в половине восьмого, в определенную пору лета, после вечернего поезда, козодои полчаса служили вечерню, рассевшись на пнях возле дома или на коньке крыши. Каждый вечер они начинали петь почти с точностью часов, ошибаясь не более чем на пять минут, по солнцу. Мне представился редкостный случай наблюдать их повадки. Иногда четыре-пять птиц запевали сразу в разных частях леса, отставая друг от друга на какой-нибудь один такт, и так близко от меня, что мне было слышно не только хлопанье после каждой ноты, но иногда — странное жужжание, точно мухи в паутине, но гораздо громче. Бывало, что одна из них кругами вилась надо мной в лесу, словно привязанная невидимой нитью, — вероятно, я был близко от ее гнезда. Они принимались петь несколько раз в течение ночи и особенно перед рассветом.

Когда смолкают другие птицы, пение подхватывают совы-сипухи, точно древние плакальщицы[136]. Их унылый крик звучит совсем в духе Бена Джонсона. Мудрые полуночные ведьмы! Они издают нечто весьма непохожее на простенькое «ту-уит! ту-уу!», которым их изображают поэты: это настоящая кладбищенская мелодия, жалобы и взаимные утешения любовников-самоубийц, вспоминающих о муках и блаженстве неземной любви в адских пределах. И все же мне нравятся их стенания, их скорбная переключка через весь лес; это тоже птичье пение и музыка, но как бы темная, слезная ее сторона, рвущиеся наружу вздохи и жалобы. Это томительные жалобы, печальные прорицания падших душ, плач тех, кто некогда жил на земле в человеческом образе и творил по ночам темные дела, а ныне искупает свои грехи погребальным пением в тех местах, где они совершились. Они заставляют меня заново ощутить просторы и многообразие Природы — общего нашего жилища. «О, если бы мне никогда не р-р-родиться!» — вздыхает одна из них по эту сторону пруда и, гонимая отчаянием, перелетает на другую ветку серого дуба. «О, если бы мне никогда не р-р-родиться!» — рыдающим голосом откликается ей другая, по ту сторону. «Ро-о-о-диться!» — еле слышно доносится из дальних лесов Линкольна.

Ушастая сова тоже пела мне серенады. Вблизи — это самый унылый звук в Природе, словно она пожелала увековечить в нем предсмертные стоны человека — какого-нибудь несчастного, навеки утратившего надежду; стоя на пороге мира теней, он воет, как

животное, и вместе с тем это человеческие рыдания, особенно жуткие из-за некой булькающей мелодичности. Стараясь воспроизвести их, я невольно обращаюсь к звукам «гл», — они лучше всего выражают студенистое состояние распада, полное омертвление духа, в котором убито все бодрое и здоровое. Звуки эти напоминают о вампирах, об идиотах, о завываниях безумцев. Но вот издали ей откликается другая сова, и, преображенный расстоянием, звук становится даже мелодичным: «У-у-х, ухух». В общем они большей частью навевали мне приятные мысли, когда бы я их ни слышал — ночью или днем, летом или зимою.

Я рад, что на свете есть совы. Пусть они вместо людей возьмут на себя обязанность завывать безумно и дико. Эти звуки удивительно под стать болотам и сумеречным чащам, куда не проникает свет дня; это голос огромной первозданной Природы, не признанной людьми. Он воплощает сумрачные неутоленные желания, которые таятся в каждом из нас. Какое-нибудь глухое болото весь день освещается солнцем, там растет одинокая ель, обвитая бородастым лишайником, вверху кружат ястребки, в вечнозеленых зарослях лепечет синица, прячутся куропатка и кролик; но вот восходит над ним иная, печальная заря, и тогда иные твари подают голос и становятся здесь толкователями Природы.

Поздно вечером я слышал дальний грохот телег по мостам — этот звук по ночам разносится всего дальше — лай собак и иногда опять-таки мычанье какой-нибудь безутешной коровы на отдаленном скотном дворе. Тем временем берег озера оглашается кваканьем лягушек. Это души давних пьяниц и гуляк, доныне нераскаянные, пытаются спеть песню в своих стигийских водах[137] — да простят мне это сравнение уолденские нимфы, ибо хотя тростника здесь почти нет, зато водятся лягушки, — они стремятся соблюсти все обычаи своих прежних пиров, хотя голоса их охрипли и стали печальны и не годятся для застольных песен, а вино утратило букет и только раздувает им брюхо, и вместо блаженного хмеля, несущего забвение прошлого, они наливаются водой. Вот у северного берега один из квакунов, похожий на олдермена, уперев подбородок в лист кувшинки вместо салфетки и пуская туда слюну, отпивает глоток некогда презренной воды и передает чашу дальше, восклицая «тр-р-роник! тр-р-ронк!»; и тотчас из дальней заводи откликается тем же паролем второй по старшинству и пузатости, давая знать, что и он отпил до положенной ему отметки,[138] а когда торжественный ритуал обойдет весь берег, церемониймейстер удовлетворенно крикает «тр-р-ронк», и снова подтверждает это каждый квакун по очереди, вплоть до самого мелкого, наименее пузатого и раздутого, чтоб уж не оставалось сомнений. И снова движется круговая чаша, пока солнце не рассеет утренний туман и на поверхности пруда не останется один патриарх, который еще восклицает по временам «тр-р-ронк!» и напрасно ожидает ответа.

Не помню, чтобы до меня долетало пение петуха, и я подумывал завести его хотя бы ради пения, как заводят певчую птицу. Этого некогда дикого индийского фазана несомненно стоит разводить, и если бы его можно было акклиматизировать у нас, не превращая в домашнюю птицу, его голос стал бы самым примечательным из лесных звуков, затмив клекот гусей и уханье сов, — а какое кудахтанье подымали бы куры, заполняя паузы между трубными звуками своего повелителя! Неудивительно, что человек приручил куриное племя, не говоря уж о яйцах и вкусных куриных ножках. Как хорошо было бы пройти зимним утром по лесу, изобилующему этими птицами, и слышать, как с деревьев далеко и звонко

разносится пение дикого петуха, заглушая тихие песни других пернатых. Это держало бы людей в готовности. Всякий старался бы встать пораньше, с каждым днем все раньше и раньше, пока не стал бы несказанно здоровым, богатым и мудрым[139]. Пение этой привозной птицы воспето поэтами всех стран наряду с певцами их родных краев. Бравый Шантеклер прижился во всех широтах. Он повсюду свой, даже больше свой, чем туземцы. Он всегда здоров, у него богатырские легкие и бодрый дух. Его голос будит даже моряка[140] в Атлантическом и Тихом океанах и только меня ни разу не пробуждала его звонкая песня. Я не держал ни собаки, ни кошки, ни коровы, ни свиньи, ни кур, и вы, пожалуй, скажете, что мне не хватало привычных домашних звуков; меня не улаждали ни маслобойка, ни прялка, ни даже посвистыванье чайника или бульканье котелка или детский плач. Человек старых привычек сошел бы с ума или умер с тоски. Даже крысы не скреблись в стенах; я выморил их голодом или, вернее, не приманил с самого начала; у меня водились только белки на крыше и под полом, козодой на коньке крыши, крикливая сойка под окном, заяц или сурок под домом, сова-сипуха или ушастая сова за домом, стая диких гусей или гагара на пруду, а по ночам лаяла лисица. Даже жаворонки и иволги, кроткие гости полей, никогда не залетали на мою вырубку. Во дворе не пел петух и не кудахтали куры. Да и двора не было! — неогороженная Природа лезла прямо на подоконники. Под окнами рос молодой лес, а из погреба прорастали дикий сумах и ежевика; крепкие смолистые сосны со скрипом терлись о кровлю, требуя, чтобы я потеснился, и пускали под дом корни. Когда подымался ветер, он не срывал мне ставен или крышку люка, а ломал или вырывал с корнем сосну за домом, специально мне на дрова. Когда валил снег, он не заносил дорожку к воротам, потому что у меня не было ни ворот, ни дорожки — никакой тропы в цивилизованный мир!

Одиночество

Сейчас чудный вечер, когда все ощущения обостряются и тело впитывает наслаждение всеми порами. Я удивительно свободно двигаюсь среди Природы — я составляю с ней одно целое. Я иду вдоль каменистого берега пруда, без сюртука, хотя погода облачная, ветреная и прохладная; меня ничто не привлекает особенно, я ощущаю необычайно тесное сродство со всеми стихиями. Лягушки возвещают приближение ночи, и ветерок доносит с того берега пение козодоя. Я смотрю на листья ольхи и тополей и всем сердцем ощущаю их трепет, но, подобно озеру, мой дух не встревожен — это всего лишь легкая зыбь. Маленькие волны, поднимаемые вечерним ветром, так же далеки от бури, как светлая поверхность пруда. Хотя уже стемнело, ветер еще шумит в лесу, волны еще набегают на берег, и какие-то существа баюкают песней засыпающий день. Покой никогда не бывает полным. Самые дикие животные не спят, они сейчас выходят на промысел; лисица, скунс и кролик бесстрашно бродят по полям и лесам. Это — стражи Природы, связующие один ее день с другим.

Вернувшись в дом, я обнаруживаю, что у меня побывали гости и оставили свои визитные карточки — букет цветов, гирлянду из вечнозеленых веток, имя, написанное карандашом на желтом листе грецкого ореха или на щепке. Те, кому редко доводится бывать в лесу, берут какой-нибудь кусочек леса и всю дорогу вертят его в руках, а потом, намеренно или случайно, оставляют у меня. Кто-то очистил ивовый прутик, свил его в кольцо и положил ко мне на стол. Я всегда мог определить, что в мое отсутствие у меня побывали гости — по примятым травинкам и сучьям или по отпечаткам обуви: нередко я даже мог определить их пол, возраст и звание по какому-нибудь неприметному знаку — оброненному цветку или вырванному и брошенному пучку травы, иногда брошенному далеко, почти у железной дороги, в полумиле от меня, или по стойкому запаху сигары или трубки. Часто я за сотни футов узнавал по запаху трубочного табака, что здесь проходил путник.

Обычно вокруг нас достаточно простора. Горизонт не совсем надвинут нам на нос. Лесная чаща не подступает к самым дверям и пруд тоже, — они всегда отделены от нас каким-то знакомым, расчищенным и огороженным пространством, отвоеванным у Природы. Но почему у меня такой простор, целые мили пустынного леса, отданные в мое владение? Ближайший сосед живет на расстоянии мили, и мне не виден ни один дом, если не взобраться на вершину холма, в полумиле от меня. Горизонт, замкнутый лесом, принадлежит мне одному: по одну сторону вдаль видно железнодорожное полотно, там где оно подходит к пруду, по другую — изгородь вдоль лесной дороги. Но большей частью вокруг меня так же пустынно, как в прериях. Все это могло бы происходить в Азии или Африке, а не в Новой Англии. У меня свое собственное солнце, луна и звезды, собственный маленький мир. Никто не проходил по ночам мимо дома, никто ко мне не стучался, точно я был первым или последним человеком на земле, и только весной кто-нибудь изредка приходил из поселка ловить сомов — не столько в Уолденском озере, сколько в глубинах собственного сознания, наживляя крючки ночью тьмой, — но скоро уходил, не слишком отягощенный уловом, «мир уступая молчанью и мне»,[141] и темное сердце ночи оставалось

не потревоженным человеком. Я думаю, что люди до сих пор побаиваются темноты, хотя все ведьмы давно казнены, а христианство и свечи введены повсеместно.

И однако, как я не раз испытал, любое творение Природы может быть источником нежных и невинных радостей и приятным обществом даже для унылого мизантропа и самого заядлого меланхолика. Тот, кто живет среди Природы и сохранил способность чувствовать, не может впасть совсем уж в черную меланхолию. Нет такой бури, которая не могла бы звучать Эоловой арфой для здорового и невинного уха. Простого и мужественного человека ничто не должно повергать в пошное уныние. Пока я дружу с временами года, я не представляю себе, чтобы жизнь могла стать мне в тягость. Тихий дождь, который поливает мои бобы и не дает мне сегодня выйти из дому, вовсе не скучен и не уныл, он тоже полезен мне. Пусть он не дает мне мотыжить, зато он принесет куда больше пользы, чем мотыга. Если он так затянется, что бобы сгниют в земле и в низинах не уродится картофель, — что ж, зато на холмах уродится трава, а раз это полезно для травы, значит и для меня. Иногда, сравнивая себя с другими, я вижу, что боги щедрее оделили меня, по-видимому, больше, чем я заслуживаю. Я нахожусь под особым их покровительством, и мне обеспечено многое, чего не имеют другие люди. Я не льщу себе, — это они, если можно так сказать, мне льстят. Никогда еще я не чувствовал себя одиноким, никогда не бывал подавлен чувством одиночества, и только однажды, через неделю-другую после моего переселения в лес, я на какой-нибудь час усомнился в том, возможна ли безмятежная и здоровая жизнь без тесного общения с людьми. Мне было неприятно оказаться одному. Но я чувствовал, что это было болезненное состояние, и уже предвидел, что оно пройдет. Среди этих мыслей, под шум тихого дождя, я внезапно ощутил — в падении дождевых капель, в каждом звуке и каждом предмете вокруг дома — нечто бесконечно дружественное, и это меня поддержало; воображаемые преимущества человеческого общества показались мне незначущими, и с тех пор я больше о них не думал. Каждая сосновая игла наливалась симпатией и предлагала мне свою дружбу. Я так явственно ощутил нечто родственное даже в тех аспектах природы, которые принято называть мрачными и дикими, так ясно понял, что ближайшим кровным моим родичем не обязательно должен быть человек и сосед, что отныне не буду чувствовать себя чужим ни в какой глуши.

*Горе до срока сжигает унылых;
Кратки часы их в стране живых,
О прекрасная дочь Тоскара[142].*

Когда долгие весенние и осенние ливни не давали мне выйти из дому после полудня и даже по целым дням, я проводил приятнейшие часы под их непрерывный шум; в такие дни рано смеркалось и наступал долгий вечер, в течение которого множество мыслей успевало пустить корни и развиться. Во время проливных северо-восточных дождей, которых так боятся в поселках, что служанки караулят в сенях с ведром и тряпкой, готовясь встретить потоп, я сидел в своей хижине, открытой всем стихиям, и наслаждался надежным убежищем. Однажды в сильную грозу молния ударила в высокую сосну на противоположном берегу пруда, сделав на ней глубокую и правильную спиральную нарезку сверху донизу, более дюйма в глубину и дюймов пять в ширину, похожую на те, что для украшения вырезают на трости. Недавно я прошел мимо нее и ужаснулся при виде этой отметки, все такой же отчетливой, показывающей, что восемь лет назад грянул с неба страшный и

неотвратимый удар. Мне часто говорят: «Вы, вероятно, чувствовали себя там одиноким и вам хотелось быть поближе к людям, особенно в дождливые и снежные дни или по ночам». Мне хочется в таких случаях ответить, что вся обитаемая нами земля — всего лишь точка в мировом пространстве. Как вы думаете, разве не далеки друг от друга двое самых отдаленных жителей вон той звезды, диаметр которой мы даже не можем измерить нашими приборами? Отчего бы мне чувствовать себя одиноким? Разве наша планета не находится на Млечном пути? Ваш вопрос представляется мне не самым существенным. Как далеко должен быть человек от своих близких, чтобы чувствовать себя одиноким? Я выяснил, что иногда, сколько ни шагай, это не помогает сближению двух душ. Чья близость более всего необходима нам? Уж конечно не близость самой большой толпы или станции, почты, трактира, молитвенного дома, школы, бакалейной лавки, Бикон Хилла или Файв Пойнтс,[143] где скопится больше всего людей, — но близость к вечному источнику жизни, найденному нами на опыте; так, ива растет у воды и именно к ней тянется своими корнями. Для разных натур это будут разные места, но тут-то и должен копать свой погреб истинный мудрец... Однажды вечером я нагнал на дороге к Уолдену одного своего земляка, который скопил, что называется, «изрядное состояние», хоть мне и не доводилось разглядеть его вблизи; он гнал на рынок пару быков и спросил меня, как я решился отказаться от стольких жизненных удобств. Я ответил, и вполне серьезно, что такая жизнь мне нравится. И я пошел спать, а он продолжал свой путь в темноте, по грязи в Брайтон, т. е. Веселый город,[144] куда должен был добраться к рассвету.

Когда человеку предстоит воскреснуть из мертвых, время и место ему безразличны. Место этого события всегда будет одинаково и всегда будет несказанно радовать все наши чувства. А мы большей частью придаем значение только внешним и преходящим обстоятельствам. Вот в чем причина нашей растерянности. Ближе всего ко всему сущему находится та сила, которая его созидает. *Ближе всего* к нам постоянно свершаются самые великие законы. *Ближе всего* к нам стоит не работник, которого мы наняли и с которым так любим беседовать, а тот работник, который создал нас самих.

«Сколь велико и глубоко влияние незримых сил Неба и Земли!»

«Мы стремимся постичь их, но не видим их, стремимся услышать их, но не слышим; отождествленные с самой сущностью вещей, они неотделимы от них».

«Благодаря им люди повсюду очищают и освящают сердца свои и облачаются в праздничные одежды, чтобы принести жертвы душам своих предков. Силы эти неисчислимы. Они повсюду — над нами, слева от нас и справа, они окружают нас со всех сторон»[145]

Мы являемся объектами опыта, который весьма интересует меня. Не могли бы мы, при подобных обстоятельствах, обходиться некоторое время без общества наших приятелей и находить отраду в собственных мыслях? Конфуций справедливо замечает: «Добродетель не остается покинутой сиротой, у нее непременно найдутся соседи»[146]

Мышление помогает нам «выйти из себя», но не в обычном смысле этих слов. Сознательным умственным усилием мы можем отстраниться от действий и их последствий, и тогда все,

хорошее и плохое, пойдет мимо нас, как поток. Мы не целиком связаны с Природой. Я могу быть бревном, плывущим по течению, но могу быть и Индрой,[147] созерцающим его с небес. Я могу быть взволнован театральным представлением, и, с другой стороны, остаться равнодушным к действительному событию, которое, по-видимому, касается меня гораздо ближе. Я знаю себя лишь как человеческое существо, вместилище мыслей и чувств, и ощущаю известное раздвоение, которое позволяет мне так же взглянуть со стороны на себя, как и на любого другого. Как бы остры ни были мои переживания, я всегда чувствую, что некая часть меня относится к ним критически; это даже не часть меня, а наблюдатель, не разделяющий моих переживаний и только отмечающий их; этот наблюдатель так же не тождествен со мною, как и вы. Когда жизненное представление, быть может трагическое, оканчивается, зритель уходит восвояси. Для него оно было лишь вымыслом, созданием воображения. Эта наша двойственность делает нас иногда плохими соседями и друзьями.

Я нахожу полезным проводить большую часть времени в одиночестве. Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и отвлекает от серьезных дум. Я люблю оставаться один. Ни с кем так не приятно общаться, как с одиночеством. Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат. Когда человек думает или работает, он всегда наедине с собой, где бы он ни находился. Одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближних. Истинно прилежный студент так же одинок в шумном улье Кембридж-колледжа, как дервиш в пустыне. Фермер может весь день проработать один в поле или в лесу мотыгой или топором и не почувствовать одиночества, потому что он занят делом, а вернувшись вечером домой, он не может оставаться наедине со своими мыслями, и ему хочется побыть «на людях», развлечься и вознаградить себя, как он считает, за дневное одиночество; вот почему он удивляется ученому, который способен просидеть один в доме всю ночь и большую часть дня, не боясь скуки и хандры; он не понимает, что ученый, запершись в доме, обрабатывает в это время *свое поле* или валит деревья в *своем* лесу, как фермер — в своем, а потом так же ищет развлечений и общества, как и тот, хотя, может быть, и в более концентрированной форме.

Людское общество обычно чересчур доступно. Мы встречаемся слишком часто, не успевая приобрести друг для друга новой ценности. Мы трижды в день сходимся за столом и угощаем друг друга каждый раз все тем же старым заплесневелым сыром — нашей собственной особой. Чтобы сделать терпимыми эти частые встречи, нам пришлось договориться о некоторых правилах, именуемых приличиями и этикетом, которые не дают нам вступить в бой. Мы встречаемся и на почте, и на вечеринках, и каждый вечер у домашнего очага. Мы живем в тесноте и спотыкаемся друг о друга и от этого, мне думается, несколько теряем друг к другу уважение. Для подлинно важного и сердечного общения такая частота не нужна. Подумайте о фабричных работницах: они никогда не бывают одни, даже в своих сновидениях. Лучше было бы иметь по одному жителю на квадратную милю, как живу я. Ценность человека не заключается в его шкуре, чтобы надо было непременно о нее тереться.

Я слышал о человеке, заблудившемся в лесу и умиравшем от голода у подножья дерева, и о том, как он в своем одиночестве обрадовался окружившим его причудливым видениям — созданиям его воспаленного мозга, принятым им за действительность. А ведь можно и при полном телесном и душевном здоровье постоянно окружать себя подобным же, но более

нормальным и естественным обществом и прийти к сознанию, что мы никогда не бываем одиноки.

Я никогда не бываю одинок у себя в хижине, особенно по утрам, когда посетителей не бывает. Попытаюсь передать свои ощущения некоторыми сравнениями. Я не более одинок, чем гагара, громко хохочущая на пруду, или сам Уолденский пруд. Кто разделяет одиночество этого водоема? А между тем его лазурные воды отражают не демонов тоски, а небесных ангелов. Одиноко и солнце, кроме тех случаев, когда мы в тумане видим их как бы два, но ведь одно из них — ложное. И бог тоже одинок, а вот дьявол, тот отнюдь не одинок, он постоянно вращается в обществе, и имя ему легион. Я не более одинок, чем одиноко растущий коровяк, или луговой одуванчик, или листок гороха, или щавеля, или слепень, или шмель. Я не более одинок, чем мельничный ручей, или флюгер, или Полярная звезда, или южный ветер, или апрельский дождь, или январская капель, или первый паук в новом доме.

Иногда, в долгие зимние вечера, когда валит снег и в лесу завывает ветер, меня навещает старый поселенец,[148] первый хозяин здешних мест, который, говорят, вырыл Уолденский пруд, обложил его камнем и насадил по берегам сосны; он рассказывает мне о старом времени и новой вечности, и мы весело и приятно проводим с ним вечер, даже без помощи яблок и сидра, — это мудрый и веселый друг, которого я очень люблю и которого труднее увидеть, чем Гоффа[149] или Уолли; говорят, что он умер, но никто не может указать его могилу. Живет также по соседству старая дама,[150] почти никому невидимая; я люблю иной раз побродить в ее душистом саду, собирая лекарственные травы и слушая ее сказки, потому что она знает их бесконечное множество и помнит времена более древние, чем времена мифов, она может рассказать, откуда каждая легенда берет начало, — ведь все это происходило в дни ее юности. Это бодрая и румяная старушка, веселая во всякую пору и в любую погоду; она, пожалуй, переживет всех своих деток.

Сколько здоровья и радости несет нам невинная и благодетельная Природа — солнце, ветер, дождь, лето и зима! И сколько в ней сочувствия к человеческому роду! Вся Природа страдала бы, солнце померкло бы, ветры вздыхали бы, тучи лили слезы, а леса сбросили бы свой убор и среди лета оделись в траур, если бы у человека явился когда-либо истинный повод для горя. Как же мне не ощущать своего родства с землей? Разве сам я не состою отчасти из листьев и растительного перегноя?

Где лекарство, способное даровать нам здоровье, покой и довольство? Это не мое и не твое семейное средство, а растительные снадобья общей нашей праматери Природы, благодаря которым она сама сохраняет вечную юность и пережила стольких старых Парров,[151] — они давно сгнили и пошли ей на удобрение, а она лишь становится здоровее. Не надо мне шарлатанских микстур, почерпнутых из Ахерона[152] и Мертвого моря, которые развозят в длинных черных фургонах; дайте мне целебный глоток неразбавленного утреннего воздуха. Утренний воздух! Если люди не хотят пить его из самого источника, придется разливать его по бутылкам и продавать в лавках тем, кто потерял свою подписку на лучшие утренние часы. Помните только, что даже в самом прохладном погребе вам не удастся сохранить его до полудня, он вышибет пробку и улетит на запад, вослед Авроре. Я не поклонник Гигейи,[153] дочери старого знахаря Эскулапа, которую принято изображать держащей в одной руке змею, а в другой — чашу, откуда змея иногда пьет; я предпочитаю ей Гебу,

чашеносицу Юпитера, дочь Юноны и дикого латука, имевшую власть возвращать молодость богам и людям. Это, вероятно, была единственная подлинно здоровая и крепкая девица, когда-либо ступавшая по земле, и всюду, где она ступала, расцветала весна.

Посетители

Думаю, что я люблю общество не менее большинства людей, и всегда готов присосаться, как пиявка, к каждому здоровому человеку, какой мне встречается. Я от природы не отшельник и, вероятно, мог бы пересидеть любого завсегдатая трактира, если бы у меня нашлись там дела.

В моем доме было три стула — один для одиночества, два для дружеской беседы, три для гостей. Когда посетители неожиданно являлись в большом числе, на всех имелся только этот третий стул, но тогда они обычно стояли, чтобы лучше уместиться. Удивительно, сколько великих людей может вместить небольшая хижина. Под моей кровлей бывало одновременно до двадцати пяти и тридцати душ вместе с их телами, и все же мы часто расходились, не ощутив, что очень приблизились друг к другу. Многие наши дома, общественные и частные, с их бесчисленными комнатами, огромными залами и погребами для хранения вина и других мирных припасов, кажутся мне непомерно большими для своих обитателей. Они так обширны и роскошны, что последние представляются клопами, которые завелись в стенах. Когда герольд трубит в рог перед каким-нибудь дворцом — Тремонт, Астор или Мидлсекс-Хауз,[154] — я с удивлением вижу, как через площадь, вместо обитателей, проползает всего лишь ничтожная мышь,[155] тут же исчезающая в щели.

В моем маленьком домике я испытывал порой лишь одно неудобство — невозможность отодвинуться от гостя на должное расстояние, когда мы начинали изрекать великие мысли крупными словами. Мыслям нужен разбег, чтобы они пошли плавно; им надо пройти один-два галса прежде чем войти в порт. Пуля вашей мысли должна преодолеть боковое и рикошетное движение и выйти на траекторию, иначе вместо того чтобы достичь уха слушателя, она может угодить ему в висок. Нашим фразам негде было развернуться и построиться. Между людьми, как и нациями, должны быть естественные широкие границы и даже нейтральная зона. С одним собеседником мне чрезвычайно понравилось переговариваться через пруд. А у меня в доме мы были так близко что не слышали друг друга, — мы не могли говорить достаточно тихо, чтобы быть услышанными; ведь если вы бросите два камня в тихую воду слишком близко друг от друга, расходящиеся от них круги столкнутся. Когда мы просто говорливы и громогласны, можно стоять как угодно близко и дышать друг другу в лицо, но если беседовать сдержанно и вдумчиво, надо отодвинуться, чтобы дать испариться животному теплу и влаге. Если мы хотим наиболее близкого общения с той частицей каждого из нас, которая находится где-то вовне и выше, мы должны не только молчать, но удалиться друг от друга настолько, чтобы голоса не были слышны. С этой точки зрения речь существует лишь для удобства тугоухих, но есть много прекрасного, чего не выразишь, если надо кричать. Когда наша беседа переходила на более возвышенные и важные темы, мы постепенно отодвигали стулья к противоположным стенам, но и тогда нам не хватало места.

Однако лучшей моей комнатой, моей парадной гостиной — она была всегда готова к приему гостей, и ковер в ней не выгорал от солнца[156] — была сосновая роща за домом. Туда я и вел в летние дни самых почетных гостей; отличный слуга подметал там пол, стирал пыль с мебели и держал все в порядке.

Когда являлся один гость, он иногда делил со мной мою скромную трапезу, и если мне приходилось в это время замешивать пудинг или печь хлеб в золе, это не мешало нашей беседе. Если же их приходило двадцать и они рассаживались в доме, то об обеде не заходило и речи, хотя хлеба хватило бы на двоих; в таких случаях мы считали еду отжившим обычаем и воздерживались от нее, и это не считалось нарушением гостеприимства, а, напротив, чем-то вполне естественным и вежливым. Затрата физических сил, которые нам так часто требуется восстанавливать, при этом чудесным образом задерживалась, и силы сохранялись. Я мог бы принимать так не двадцать, а тысячу человек, и если кто-нибудь уходил от меня разочарованным и голодным, когда заставал меня дома, могу уверить их, что я во всяком случае им сочувствовал. Вот как легко заменить старые обычаи новыми и лучшими, хотя мне и не поверят многие хозяйки. Не надо строить свою репутацию на обедах, которые вы даете. Что касается меня, то ни один Цербер так не отпугивал меня от дома, как хлопоты с обедом, которые я принимал за вежливый косвенный намек — не доставлять больше хозяевам подобного беспокойства. Мне кажется, я никогда больше не стану посещать такие дома. Я с гордостью поместил бы над своей хижиной в качестве девиза строки Спенсера, которые один из моих посетителей написал на желтом листе грецкого ореха вместо карточки:

*Немало их сошлось под низким сводом,
Но угощения не требуется им.
Ценнее пира — отдых и свобода,
Высокий дух доволен небольшим[157].*

Когда Уинслоу, впоследствии губернатор Плимутской колонии, отправился со своим спутником пешком через лес с официальным визитом к Массасойту[158] и пришел усталый и голодный, король радушно встретил их, но о еде в тот день не было речи. Когда настала ночь, рассказывают путники, «он уложил нас вместе с собой и женой, мы — на одном краю ложа, они — на другом, а ложем служили доски, поднятые примерно на фут от пола и застланные тонкой циновкой. Двоим из его приближенных не хватило места, и они прилегли вплотную к нам, так что мы больше утомились от этого отдыха, чем в пути». В полдень следующего дня Массасойт «принес двух пойманных им рыб», каждая величиной с трех лещей; «когда их сварили, их пришлось делить более чем на 40 человек. Большинству досталось по куску. Вот все, что мы съели за день и две ночи, и если бы один из нас не купил куропатку, нам пришлось бы возвращаться натошак». Боясь ослабеть от голода и недосыпания, причиненного «варварским пением туземцев» (они убаюкивали себя песнями), и желая добраться до дому, пока у них еще были силы, они поспешили отправиться в обратный путь. Конечно, ночлег им предоставили не слишком удобный, хотя несомненно думали оказать этим особую честь; что же касается еды, то индейцы сделали для них все, что могли. У них и у самих нечего было есть, но хватило ума не заменять трапезу извинениями, поэтому они стянули пояса потуже и совсем о ней не упоминали. Когда Уинслоу навестил их в другой раз, он попал в период изобилия, и недостатка в угощении не

было.

Люди найдутся всюду. Пока я жил в лесу, ко мне приходило больше гостей, чем в любую другую пору моей жизни, т. е. приходил хоть кто-то. С некоторыми я встретился там при более благоприятных обстоятельствах, чем смог бы в ином месте. Зато меньше людей приходило по пустякам. Самое расстояние от города отлично отсеивало моих гостей. Я так далеко удалился в великий океан одиночества, куда впадают реки общества, что ко мне большей частью приносило только лучшие их отложения. Кроме того, до меня доходили некоторые свидетельства существования на другом берегу необследованных материков.

Кто же посетил нынче утром мою келью? — настоящий герой Гомера или пафлагонец,[159] и имя у него такое подходящее и поэтическое,[160] что мне жаль его здесь опускать; это канадец, лесоруб и пильщик, который за день может обтесать 50 стоек, а вчера поужинал сурком, которого поймала его собака. Он тоже слышал о Гомере и говорит, что «если бы не книги, он не знал бы, что делать в дождливые дни», хотя, пожалуй, не прочел до конца ни одной за многие дождливые сезоны. Какой-то священник в его далеком родном приходе, умевший читать по-гречески, научил его читать Писание, и вот он держит книгу, а я должен ему переводить упреки Ахиллеса Патроклу за его печальный вид: «Что ты расплакался, друг Менетид, точно дева?..»

Может быть, весть о домашних из Фтии один ты прослышал?

Здравствует, скажут, Акторов сын, отец твой Менетий;

Здравствует также и мой Пелей Эакид, в мирмидонах.

О, плачевна была б нам того иль другого кончина! [161]

«Хорошо», — говорит он. Подмышкой он держит охапку дубовой коры для больного, которую собрал сегодня, в воскресное утро. «Такое дело, надо думать, и сегодня делать не грешно», — говорит он. Гомера он считает великим писателем, хоть и не знает, о чем тот писал. Трудно найти человека более простого и естественного. Болезни и пороки, бросающие такую темную тень на весь мир, для него как бы не существуют. Ему 28 лет, и он уже лет двенадцать как оставил Канаду и отчий дом и ушел на заработки в Штаты, чтобы когда-нибудь накопить денег и купить на родине ферму. Скроен он неладно — плотный и медлительный, хотя со своеобразной грацией; с могучей загорелой шеей, густыми темными волосами и сонными голубыми глазами, которые лишь иногда становятся выразительными. На нем плоская серая суконная шапка, поношенная куртка и сапоги коровьей кожи. Он ест много мяса и носит с собой на работу — он все лето рубит лес мили за две от меня — обед в оловянном ведерке: холодное мясо, часто — холодных сурков и кофе в каменной фляге, привязанной к поясу: иногда он угощает им меня. Он проходит рано по моему бобовому полю, хоть и не слишком торопится на работу, как это делают янки. Не надорваться же ему в самом деле. Не беда, если он заработает на одни харчи. Иногда он оставляет свой обед в кустах, когда его собака изловит на пути сурка, и возвращается, чтобы разделить его и оставить в погребе дома, где он живет; но сперва полчаса раздумывает, не лучше ли спрятать его до вечера в пруду — это он любит обсудить обстоятельно. Проходя утром, он говорит: «Экая пропасть голубей! Если бы не надо было ходить каждый день на работу, я бы одной охотой прокормился — тут тебе и голуби, и сурки, и кролики, и куропатки — ух ты, черт! Я бы за день запасся на всю неделю».

Он был искусным лесорубом и любил показать свое мастерство. Он рубил деревья под самый корень, чтобы сильнее пошли новые побеги, а по вырубке можно было проехать на санках. Вместо того, чтобы оставлять целое дерево на подпорку для своих вязанок, он обтесывал его до тех пор, пока от него не оставался тоненький колышек, который можно было переломить руками.

Он заинтересовал меня тем, что жил так тихо и одиноко и вместе с тем так счастливо; его глаза излучали переполнявшее его добродушие и довольство. Ничто не омрачало его веселости. Иногда я заставал его в лесу за работой, и он встречал меня радостным смехом и приветствием на канадско-французском наречии, хотя умел говорить и по-английски. Когда я подходил, он прекращал работу, ложился, посмеиваясь, на ствол срубленной им сосны, отдирая кусок внутренней коры, скатывал из него шарик и жевал его, продолжая смеяться и разговаривать. От избытка жизнерадостности он иногда падал на землю и катался в приступах смеха, а насмешить его могло все, что угодно. Оглядывая деревья, он восклицал: «Честное слово, веселая у меня работа! Чего еще мне надо?» Порой, когда выдавалось свободное время, он весь день развлекался в лесу стрельбой из карманного пистолета; он шел и через равные промежутки времени сам себе салютовал на ходу. Зимой он разводил костер, на котором в полдень разогревал в котелке свой кофе; он обедал, присев на бревно, а синицы садились ему на руку и клевали картофелину, которую он держал, и он говорил, что ему «нравится компания этих пичуг».

Он жил преимущественно телесной жизнью. По физической выносливости и спокойствию он был сродни сосне и утесу. Однажды я спросил его, не устает ли он иногда к вечеру, после долгого рабочего дня; на это он ответил искренне и серьезно: «Такого еще не бывало, чтобы я устал». Но интеллект и то, что зовется духовной жизнью, дремали в нем, как у ребенка. Его обучали наивными и безрезультатными методами, какими католические священники обучают туземцев: не настолько, чтобы пробудить в ученике сознание, но лишь настолько, чтобы воспитать в нем доверие и благоговение; чтобы ребенок не возмужал, а остался ребенком. Природа, сотворив его, дала ему здоровое тело, довольство судьбой и доверчивое уважение к людям и так оградила его со всех сторон, чтобы он прожил ребенком все свои 70 лет. Он был до того искренен и прост, что вы не знали, как его представлять людям, как не сумели бы представить сурка. Каждый должен был разобраться в нем сам. Он совсем не умел притворяться. Люди платили ему за работу и тем самым помогали ему прокормиться и одеться, но он не делился с ними своими мыслями. Он был по природе настолько смиренен — если можно назвать смиренным того, кто чужд всякого честолюбия, — что смирение не было у него каким-то особым качеством, и он не мог бы себе его представить. Умные люди казались ему полубогами. Если ему говорили, что сейчас явится один из таких людей, он считал, что столь великий человек ничего от него не ждет и все возьмет на себя, а его оставит в тени. Никогда он не слышал себе похвалы. В особенности он читл писателей и проповедников. Он считал, что они творят чудеса. Когда я сказал ему, что немало пишу, он долго думал, что я имею в виду лишь упражнения в чистописании — у него и у самого был отличный почерк. Иногда я находил на снегу красиво написанное название его родной деревни, со всеми знаками французского ударения, и знал таким образом, что он тут прошел. Я спросил его, не хочется ли ему иногда записать свои мысли. Он ответил, что ему приходилось читать и писать письма за неграмотных, но мысли он никогда не пробовал записывать — нет, этого он не сумел бы, он не знал бы с чего начать и ничего бы у него не

вышло, а тут еще думай о правописании!

Я слышал, что один известный мудрец и реформатор спросил его, не хотел ли бы он изменить порядки на свете, но он ответил с удивленным смешком и канадским акцентом, не подозревая, что такой вопрос когда-либо ставился: «Нет, по мне они и так неплохи». Общение с ним могло бы навести философа на множество размышлений. Незнакомому человеку он казался крайне невежественным, но я иной раз словно видел его впервые и не мог решить: был ли он мудр, как Шекспир, или несмышлен, как ребенок, и что скрыто в нем — тонкое поэтическое чувство или тупость. Один наш горожанин сказал мне, что, когда он, тихонько посвистывая, прохаживается по нашим улицам в своей маленькой шапочке, он напоминает переодетого принца.

Единственными его книгами были календарь и учебник арифметики, в которой он был довольно силен. Первая из этих книг представлялась ему энциклопедией всех человеческих познаний — а ведь так оно в какой-то степени и есть. Мне нравилось спрашивать его мнение о различных реформах, и его точка зрения всегда оказывалась удивительно простой и трезвой. Ему прежде не приходилось слышать о таких вещах. Можно ли обойтись без фабрик? — спрашивал я. Он носил одежду из домотканой вермонтской материи, и ничего — был доволен. Можно ли обойтись без чая и кофе? Какие у нас есть отечественные напитки, кроме воды? Он настаивал листья хэмлока и пил этот настой, считая, что в жару это лучше воды. Когда я спрашивал, может ли он обойтись без денег, он умел доказать их необходимость не хуже философов, объяснявших происхождение этого института, и в полном согласии с самой этимологией слова *rescupia* (деньги — лат. — от *rescus* (скот)). Если у него, скажем, есть бык, а ему нужно купить в лавке иголки и нитки, то очень неудобно каждый раз обменивать на них животное по частям. Он мог отстаивать многие установления лучше любого философа, потому что описывал их по отношению к себе и тем доказывал их целесообразность и не имел иных доводов, подсказанных размышлением. Однажды, услышав, как Платон определил человека — двуногое без перьев — и как некто демонстрировал ощипанного петуха, называя его платоновым человеком, он указал на важное, по его мнению, различие: *колени* у петуха гнутся не в ту сторону. Иногда он восклицал: «Ух, и люблю я поговорить! Мог бы, кажется, говорить целый день». Однажды, не видя его несколько месяцев, я спросил, не набрался ли он за лето новых мыслей. «Господи! — ответил он, — кто так работает, как я, тому дай бог не растерять и тех мыслей, какие были. Если ты, скажем, мотыжишь, а твой напарник спешит, тут уж не задумаешься — тут надо думать о сорняках». Иногда в таких случаях он первый спрашивал меня, как подвигается моя работа. Как-то зимой я спросил его, всегда ли он бывает собою доволен, думая пробудить в нем духовные стремления, которыми он мог бы заменить наставления своего священника. «Доволен? — переспросил он. — Так ведь смотря кто чем доволен. Иной человек, если сыт, — ему ничего больше и не надо, лишь бы сидеть весь день спиной к огню, а брюхом к столу!» Однако мне ни разу не удалось пробудить в нем духовные интересы; высшие его понятия не шли дальше простой целесообразности, какая доступна и животным. Если я указывал, как он мог бы улучшить свою жизнь, он без сожалений отвечал, что теперь уже поздно. При всем том он твердо верил в честность и тому подобные добродетели.

Однако в нем была известная оригинальность, и я иногда замечал, что он самостоятельно думает и выражает свое собственное мнение, — явление столь редкостное, что я всегда

готов проделать десять миль, чтобы его наблюдать; это было равносильно обновлению многих общественных институтов. Хоть он и запинался и не умел ясно выразиться, за его словами всегда крылась определенная мысль. Правда, мысли его были весьма примитивны и подчинены его телесной природе; они, казалось, обещали больше, чем у человека образованного, но редко вызревали настолько, чтобы их можно было сформулировать. На его примере я увидел, что на низших ступенях общественной лестницы могут быть талантливые люди, как бы ни были они смиренны и неграмотны; они имеют собственный взгляд на вещи, а когда чего-нибудь не понимают, то не притворяются, — они такие же бездонные, каким считается Уолденский пруд, хотя темны и тинисты.

Множество путешественников делали крюк, чтобы заглянуть ко мне, а чтобы иметь предлог войти, просили стакан воды. Я говорил им, что пью из пруда, и направлял их туда, предлагая одолжить черпак. Как ни далеко я поселился, это не спасало меня от ежегодного наплыва посетителей примерно около первого апреля, когда все словно срывается с места; в общем мне везло, хотя среди посетителей попадались курьезные. Приходили полоумные из богадельни и других мест; но этих я старался заставить открыться мне и выказать весь ум, какой у них был; я заводил разговор именно об уме и бывал вознагражден. Я обнаружил, что иные из них разумнее, чем так называемые *надзиратели* над бедными и члены городской управы, и что им пора было бы поменяться местами. Оказалось, что между полоумными и умными разница не столь уж велика. Однажды, например, ко мне пришел один безобидный и простодушный бедняк, которого я часто встречал в полях, где он, стоя или сидя на корзине, служил живой загородкой, чтобы скот — да и он сам — не забрели, куда не следует; он изъявил желание жить так, как я. С величайшей простотой и искренностью, возвышенной или, вернее, приниженной по сравнению с тем, что зовется смирением, он сказал мне, что ему «недостает ума». Так он и сказал. Таким его создал бог, но он полагает, что бог любит его не меньше, чем других. «Такой уж я уродился, — сказал он, — и всегда такой был; не то, что другие дети, — слабоумный. Так уж, видно, богу угодно». И вот он сам — живое подтверждение своих слов. Он был для меня философской загадкой. Мне редко встречалась столь благодарная почва для сближения с человеком — так просто, искренне и правдиво было все, что он говорил. Чем смиреннее он был, тем больше это его возвышало. Сперва мне даже показалось, что это было у него обдуманно. На основе правдивости и откровенности, заложенной бедным слабоумным нищим, можно было бы установить нечто лучшее в отношениях людей между собою, чем удавалось до сих пор мудрецам.

Приходили ко мне и те, кто не числился среди городской бедноты, хотя, конечно, принадлежал к бедноте вселенской; это — те, кто обращается не к вашему гостеприимству, а к вашей жалости; те, кто больше всего хочет получить помощь и сразу предупреждает вас, что сам себе помогать не намерен. Я не возражаю против отличного аппетита у гостя, где бы он ни нагулял его; но он не должен умирать с голоду. Объекты благотворительности не годятся в качестве гостей. А также люди, не знающие, когда им пора уходить, хотя я при них брался за работу и переговаривался с ними издали. В сезон миграций у меня перебивали люди самые различные по уму. У иных ума было даже больше, чем им требовалось; забитые создания, покорные хозяину, которые по временам прислушивались, как лиса в басне,[162] не гонятся ли за ними собаки, и смотрели на меня с мольбой, как бы говоря:

Христианин, не оттолкни меня.

Был среди них и настоящий беглый раб, которого я помог направить к северной звезде. Были люди одной мысли, вроде курицы, высидевшей одного цыпленка, да и то утенка; были люди с лохматыми головами, полными множества мыслей, похожие на куриц, которым вверена сотня цыплят, а те все гонятся за одним жуком и каждое утро пропадают десятками, и от этого курицы взъерошены и тощи; были люди, которым идеи заменяли ноги — этакие интеллектуальные сороконожки, при виде которых у вас бегают мурашки по всему телу. Один предложил завести книгу и заносить туда имена посетителей, как это делается в Белых горах, но увы! у меня слишком хорошая память, чтобы в этом была надобность.

Я невольно подмечал некоторые особенности своих посетителей. Девушкам, юношам и молодым женщинам обычно нравилось быть в лесу. Они любовались прудом и цветами и отлично проводили время. Деловые люди и даже фермеры удивлялись моему уединению, были озабочены расстоянием, отделявшим меня от того или другого, и хотя говорили, что любят иногда побродить по лесу, было ясно, что они этого совсем не любят. Люди, загруженные делами, целиком занятые заработком; пасторы, говорившие о боге так, словно имели на него монополию и не терпели других мнений; врачи, юристы, любопытные хозяйки, заглядывавшие ко мне в буфет и в постель, когда меня не было дома, — а как бы иначе миссис Х узнала, что ее простыни чище моих? — юноши, которые преждевременно утратили молодость и предпочли идти по торной дорожке в выборе профессии, — все они говорили, что в моем положении много добра не сделаешь. «Вот в чем трудность»[163]. Старые, больные и боязливые люди обоего пола и любого возраста больше всего думали о болезни, несчастном случае и смерти; жизнь казалась им полной опасностей, — а какая может быть опасность, если вы о ней не помышляете? Они считали, что разумный человек должен селиться там, где он всегда имеет под рукой доктора Б[164]. Для них поселок был прежде всего оборонительным союзом; они, кажется, и по ягоды не пошли бы, не захватив аптечку. А пока человек жив, *опасность* умереть имеется всегда, но она тем меньше, чем более полной жизнью он живет. Сидящие рискуют не меньше бегущих. И наконец, меня навещали самые надоедливые из всех, самозванные реформаторы, думавшие, что я постоянно напеваю:

Вот дом, который построил я сам.

А вот и я, проживающий там.

Но они не знали следующих строк:

А вот опять

Люди, что ходят мне докучать

В доме, который построил я сам[165]

Я не опасался ястребов, потому что не держал цыплят; но есть ведь и такие птицы, что охотятся на людей.

Бывали у меня и более приятные посетители. Приходили дети собирать ягоды; железнодорожные рабочие на воскресную прогулку, ради которой они надевали чистые рубашки; рыболовы и охотники, поэты и философы, словом, все честные паломники, которые

искали в лесу свободы и действительно стремились уйти из поселка. Этим я готов был приветствовать словами: «Добро пожаловать, англичане! Добро пожаловать!»,^[166] ибо с этим народом я общался.

Бобовое поле

Тем временем мои бобы, которых я насадил столько рядов, что они вместе составили бы семь миль, требовали опалывания; первые успели подрасти, прежде чем я посадил последние, и медлить с этим было нельзя. В чем был смысл этого почтенного занятия, этого гераклова труда в миниатюре, я и сам не знал. Но я полюбил свои бобы, хотя их было гораздо больше, чем мне требовалось. Они привязывали меня к земле, и я черпал в них силу, как Антей. К чему мне было растить их? Одному небу известно. И все-таки я трудился целое лето, чтобы вырастить бобы на полоске земли, где прежде вырастали только лапчатка, ежевика, зверобой, сладкие лесные ягоды и красивые полевые цветы. Что суждено мне знать о бобах, или бобам обо мне? Я хожу за ними, окучиваю их мотыгой и весь день оберегаю их; это составляет мой дневной труд. У них красивые широкие листья. В помощниках у меня состоят росы и дожди, увлажняющие здешнюю сухую почву, и сама почва, хоть она не слишком плодородна и порядком истощена. Врагами являются черви и холода, но больше всего сурки. Эти последние начисто съели у меня четверть акра. Впрочем, имел ли я право изгонять зверобой и все прочее и распахивать древний травяной заповедник? Скоро, однако, остальные бобы станут для сурков слишком твердыми и надо будет опасаться новых врагов.

Я хорошо помню, как четырех лет от роду меня везли из Бостона сюда, в родной мой город, через эти самые леса и поля, к пруду. Это одно из первых моих воспоминаний. И вот сегодня вечером моя флейта будит эхо над теми же водами. Еще стоят сосны, которым больше лет, чем мне; а те, которые повалились, пошли мне на дрова; и всюду вокруг подымается новая поросль, и скоро новые деревья будут радовать глаза других детей. Кажется, что тот же зверобой растет на лугу из того же вечного корня; я сам участвую в украшении сказочного пейзажа моих детских снов, и одним из результатов моего присутствия и влияния являются вот эти самые бобы и ростки кукурузы и картофеля.

Я засадил на холме около двух с половиной акров; так как землю здесь расчистили всего каких-нибудь 15 лет назад и я сам выкорчевал множество пней, я ничем не удобрил свои посевы; но судя по наконечникам стрел, которые я нашел в течение лета, работая мотыгой, здесь некогда жило вымершее племя, сажавшее кукурузу и бобы раньше, чем белые пришли расчищать землю, так что почва под эти культуры уже была несколько истощена.

Раньше чем на тропинку выскакивал хоть один сурок или белка, раньше чем солнце поднималось над дубняком и высыхала роса — хоть фермеры и предостерегают от этого, я всем советую делать всю работу по утренней росе, — я принимался сравнивать с землей заносчивые сорняки на моем бобовом поле и сыпал их главу прахом[167]. Рано утром я работал босой и возился, точно скульптор, с сырым и рыхлым песком; но потом солнце начинало жечь мне ноги. Солнце светило мне, а я медленно проходил взад и вперед по желтому песчаному холму, между длинных зеленых рядов, 82 ярда длиной, одним концом упиравшихся в дубняк, где я мог отдохнуть в тени, другим в лужайку, заросшую ежевикой,

где зеленые ягоды успевали потемнеть, пока я проходил следующий ряд. Я выпалывал сорняки и подсыпал свежей земли к корням бобов, помогая этому сорняку, который сам посадил; я заставлял желтую почву выражать свои летние думы бобовыми листьями и цветами, а не полынью, пыреем или бором; я требовал, чтобы земля сказала «бобы» вместо «травы», — это и был мой дневной труд. Не имея ни лошади, ни вола, ни батраков, ни новых сельскохозяйственных орудий, я работал гораздо медленнее обычного и больше успел сдружиться со своими бобами. Но физический труд, даже однообразный, никогда не бывает худшим видом лености. Он заключает в себе вечно живую мораль, а ученому дает классический результат. Для путников, направлявшихся через Линкольн и Уэйленд куда-нибудь на запад, я был истинным *agricola laboriosus* (трудолюбивым земледельцем — лат.); удобно сидя в своих повозках, упершись локтями в колени и свободно распустив вожжи, они созерцали трудолюбивого домоседа. Но скоро моя усадьба исчезала у них из виду и из памяти. Она была единственным возделанным участком на большом расстоянии, так что пользовалась у них особым вниманием; иной раз работавший на поле слышал даже больше, чем предназначалось для его ушей: «Кто же это сажает бобы так поздно? Да еще и горох», — потому что я все еще сажал, когда другие уже начинали мотыжить — об этом законопослушный фермер не мог и помыслить. «А кукурузу, верно, для скота, да, наверное для скота». «Неужели он и живет тут?» — спрашивает черный чепец у серого сюртука, и угрюмый фермер придерживает охотно повинующуюся лошадку и спрашивает, отчего я не положил удобрения в борозду, и рекомендует очистки или хоть какие-нибудь отбросы, а то еще можно золу или известь. Но у меня два с половиной акра этих борозд и нет тележки — всего только мотыга, да две моих руки; конной тяги я не признаю, а за опилками далеко ехать. Проезжающие вслух сравнивают мое поле с другими, которые им встретились, и мне, таким образом, становится известно, как я котируюсь на сельскохозяйственном рынке. Мое поле не попало в отчет м-ра Кольмана[168]. А, кстати, кто определяет ценность урожая на еще более обширных полях, не возделанных человеком? *Английское сено*[169] тщательно взвешивается, в нем вычисляется процент влаги, а также содержание силикатов и поташа; но во всех лощинах и высохших лесных прудах, на пастбищах и на болотах вырастает обильный и разнообразный урожай, не собираемый человеком. Мое поле было как бы связующим звеном между дикими и возделанными полями; как бывают страны цивилизованные, получивилизованные и дикие, или варварские, так и мое поле было, однако не в дурном смысле, полукультурным. Я выращивал бобы, радостно возвращавшиеся в первобытное, дикое состояние, и моя мотыга исполняла им *Ranz des vaches*[170]

Вблизи от меня, на верхней ветке березы, поет пересмешник, или певчий дрозд, как его называют иные, поет все утро, очень довольный моим обществом; не будь здесь моего поля, он отыскал бы другое. Ты сажаешь, а он приговаривает: «В зем-лю, в зем-лю, глуб-же-са-жай, глубже-са-жай, вы-дер-ни, вы-дер-ни, вы-дер-ни». Но моим семенам он не страшен — это не кукуруза, и такие враги им не опасны. Неизвестно, помогает ли работе его трескотня, его дилетантские упражнения на одной струне или на двадцати, но они все же приятнее щелочного раствора или извести. Это было дешевое удобрение, но я твердо верил, что от него будет польза.

Подгребая мотыгой землю вдоль своих гряд, я тревожил прах неизвестных племен, некогда живших под нашим небом, и извлекал на свет их немудреные орудия войны и охоты. Они были перемешаны с простыми камнями, из которых иные были обожжены в индейских

кострах, а иные — на солнце, и с осколками глиняной и стеклянной посуды, оставшимися от более поздних земледельцев. Когда моя мотыга звонко ударялась о камни, эта музыка подымалась к лесу и к небу, сопровождая моему труду, который тут же приносил неисчислимый урожай. Это уже не было простым опалыванием бобов; и я вспоминал с гордостью и сожалением, если вспоминал вообще, своих знакомых, которые отправились в город слушать оратории. Под вечер — я иногда работал весь день — надо мной начинал кружить ястреб, маленький, точно соринка в глазу, вернее, в глазу у неба, по временам камнем падая вниз с таким звуком, что, казалось, небесная завеса рвалась в клочья, а посмотришь — небесный свод невредим. Эти воздушные чертенята откладывают яйца на земле — в песке или в камнях на вершинах холмов, где их трудно найти; они легки и грациозны, как легкие волны, пробегающие по пруду, или листья, поднятые ветром и взмывшие в небо. В Природе все объединено родством. Ястреб приходится воздушным братом волне, над которой он парит; его крылья, надутые воздухом, под стать могучим крылам морской стихии. Порой я следил за парой ястребов, высоко вившихся в небе, то спускаясь, то взмывая, то сближаясь, то разлетаясь, как воплощение моих собственных мыслей. А то меня привлекали дикие голуби, быстро пролетающие от леса к лесу с трепетным шумом крыльев; или моя мотыга извлекала из-под гнилого пня какую-нибудь диковинную, неуклюжую и медлительную пятнистую саламандру, напоминавшую о Египте и Ниле, и, однако же, нашу современницу. Когда я останавливался, опираясь на мотыгу, я всегда мог развлечься звуками и зрелищами из неисчерпаемого запаса сельской природы.

По праздникам город палит из больших пушек, которые здесь, в лесу, звучат как духовые ружья; порой долетают даже обрывки военной музыки. На моем бобовом поле большие орудия производили такой звук, словно лопался гриб-дождевик; а когда бывали какие-нибудь маневры, о которых я ничего не знал, у меня весь день было чувство, будто на горизонте что-то чешется и вот-вот появится сыпь — корь или скарлатина, — пока попутный ветерок, пролетая над полями и дорогой в Уэйленд, не оповещал меня о том, что это упражняется милиция. Судя по отдаленному жужжанью казалось, что где-то роятся пчелы, а соседи, по совету Вергилия, бьют в самую звонкую из домашней утвари и этим *tintinnabulum* (звоном — лат.) пытаются загнать их в улей. Когда звуки совсем замирали и жужжание смолкало, и ветер, даже дующий в мою сторону, уже ничего не доносил до меня, я знал, что трутни все до последнего загнаны в Мидлсекский улей и теперь помышляют только о меде, которым он намазан.

Я с гордостью сознавал, что свобода Массачусетса и всей нашей родины находится в столь надежных руках; я мог снова взяться за мотыгу с легким сердцем и спокойно предаться своим трудам, преисполненный веры в будущее.

Когда играло несколько оркестров, казалось, что весь поселок стал огромными мехами, и каждое здание то шумно раздувается, то опадает. Но иногда ко мне в лес доносились подлинно вдохновенные звуки; трубы пели о славе, и я ощущал желание проткнуть какого-нибудь мексиканца^[171] — стоит ли останавливаться перед таким пустяком? — и искал глазами сурка или скунса, на котором мог бы испробовать свой воинственный пыл. Бравурные звуки доносились словно из далекой Палестины, напоминая о крестовых походах; верхушки вязов, осенявших поселок, слегка вздрагивали в такт музыке. То бывали великие дни, а впрочем, небо над моей поляной выглядело таким же великим и вечным, как

всегда.

Очень интересным было мое длительное знакомство с бобами, пока я их сажал, окапывал, собирал, обмолачивал, лушил и продавал — последнее было всего труднее, — а можно добавить еще: и ел, потому что я их пробовал. Я решил познать бобы. Выращивая их, я работал мотыгой с пяти утра до полу дня, а в остальное время обычно занимался другими делами. Интересно также близкое знакомство, которое сводишь с различными видами сорняков, — да буди мне позволено несколько повторяться, потому что и в самой работе немало повторений, — и как беспощадно сокрушаешь их нежные стебли, и какие несправедливости творишь своей мотыгой: одни растения сравниваешь с землей, другие усердно возделываешь. Вот полынь, вот белая лебеда, вот щавель, вот пырей — руби их, выворачивай корнями к солнцу, не оставляй ни одного корешка в тени; если оставишь, они повернутся другим боком и через два дня, смотришь, опять свежи и зелены. То была долгая война — не с журавлями, а с сорняками; а на стороне этих троянцев было и солнце, и дождь, и роса. Я ежедневно выходил на подмогу бобам, вооружась мотыгой, и ряды врагов редели, а канавы наполнялись трупами. Не один Гектор в перистом шлеме, на целый фут возвышавшийся над своими соратниками, был сражен моим грозным оружием.

Летние дни, которые иные из моих современников посвящали изящным искусствам в Бостоне или Риме, иные — созерцанию в Индии, а иные — коммерции в Лондоне или Нью-Йорке, я, вместе с другими фермерами Новой Англии, посвятил работе на земле. Не то чтобы я непременно хотел питаться бобами (по части бобов я пифагореец,[172] для чего бы они ни предназначались — для похлебки или баллотировки,[173] и я менял их на рис); быть может, я работал в поле лишь ради образов и тропов, которые пригодятся в будущем какому-нибудь сочинителю притч. В общем, это было редкостным удовольствием, и если бы длить его слишком долго, оно превратилось бы в настоящий разгул. Хотя я не удобрял свои бобы и даже не окучил их все до конца, я мотыжил весьма усердно там, куда я доходил, и был за это вознагражден, потому что, как говорит Эвелин[174] «ни один компост или удобрение не сравнится с постоянным рыхлением и перелопачиванием земли» «Земля, — говорит он в другом месте, — особенно свежевзрытая, таит в себе нечто притягательное, привлекающее ту соль, силу или потенцию (назовите это как хотите), которая придает ей жизнь и является смыслом всего нашего труда на земле, а унавоживание и иное низменное вмешательство — не более как вспомогательные средства». К тому же мое поле было одним из тех истощенных полей под паром, которые отдыхают и, по предположению сэра Кенельма Дигби,[175] привлекают из воздуха «жизнетворящую силу». Словом, я собрал с него 12 бушелей бобов.

Постараюсь быть более точным — не даром многие жаловались, что м-р Кольман описал главным образом дорогостоящие опыты фермеров-любителей, — и приведу таблицу своих расходов.

Мотыга — 0 дол. 54 ц.

Вспашка, боронование, нарезка борозд — 7.50 (слишком дорого)

Семенные бобы — 3.12 1/2

Семенной картофель — 1.33

Семенной горох — 0.40

Семена брюквы — 0.06

Белая веревка для отпугивания ворон — 0.02

Пользование конным культиватором и оплата работы мальчика (3 часа) 1.00

Лошадь и повозка для доставки урожая — 0.75

Итого: 14 дол. 72 1/2 ц.

Доходы мои (patrem familias vendacem, non emacem esse oportet (отцу семейства надлежит продавать, а не покупать — лат.)) составились из следующих статей:

Выручка за девять бушелей двенадцать кварт бобов — 16 долл. 94 ц.

За пять бушелей крупного картофеля — 2.50

За девять бушелей мелкого картофеля — 2.25

За траву — 1.00

За стебли — 0.75

Итого: 23 долл. 44 ц.

Что оставило мне чистого дохода, как я уже говорил, 8 д. 71 1/2 ц.

Таковы результаты моего опыта выращивания бобов. Советую сажать обыкновенные мелкие белые бобы, примерно первого июня, рядами, на расстоянии три фута на восемнадцать дюймов, отбирая для посева чистые и круглые бобы. Остерегайтесь червей, а пустые места заполняйте новыми посадками. Если место открытое, берегитесь сурков, которые почти начисто обгрызают первые нежные листочки, а когда появляются молодые побеги, они опять тут как тут и объедают бутоны и молодые стручки, сидя на задних лапах, как белки. Но главное, соберите урожай немедленно, чтобы уберечь его от заморозков и легче продать; этим вы избежите больших потерь.

И еще кое-чему я научился. Я сказал себе: на следующий год я не столько буду заботиться о посевах бобов и кукурузы, сколько о семенах искренности, правды, простоты, веры, невинности и тому подобного, если они еще уцелели; посмотрим, не удастся ли их взрастить на этой почве, даже и с меньшими затратами труда и удобрения, чтобы они питали меня, потому что этими посевами земля наверняка еще не истощена. Но увы! — так я сказал себе, а прошло лето, и еще одно, и еще, и я вынужден признаться тебе, читатель, что посеянные мной семена, если они *действительно* были семенами добродетелей, были поедены червями

или потеряли всхожесть, но только они не взошли. Люди обычно не бывают смелее своих отцов. Наше поколение наверняка каждый год будет с роковой неизбежностью сажать кукурузу и бобы в точности так, как веками сажали их индейцы и как они обучили этому первых поселенцев. Недавно я с удивлением увидел, как старик, уже по крайней мере в 70-й раз в своей жизни, ковырял мотыгой землю и притом не для своей могилы. А почему бы жителю Новой Англии не испробовать нечто новое и вместо того, чтобы вкладывать всю душу в зерно, сено, картофель и огород, не посеять и других семян? Почему столько заботы о семенных бобах и никакой заботы о новом поколении людей? Разве не питается наша душа радостью, когда мы встречаем человека, в котором укоренились и выросли хотя бы некоторые из названных мною качеств; ведь все мы ценим их больше всяких других посевов, но они большей частью рассеиваются в воздухе? Вот, скажем, попало где-то такое драгоценное качество, как правда или справедливость, пусть даже в малом количестве или в какой-либо новой разновидности. Мы должны поручить нашим посланникам присылать на родину их семена, а Конгрессу — распределять их по всей стране. Когда того требует искренность, нам нечего стесняться и церемониться. Будь меж нами хоть зернышко достоинства и дружелюбия, мы никогда не обманывали бы, не оскорбляли бы, не отталкивали друг друга своей низостью. Плохо, что мы встречаемся второпях. С большинством людей я вообще никогда не встречаюсь; у них, как видно, нет времени; они слишком заняты своими бобами. Как хорошо было бы, если бы человек не гнул вечно спину над лопатой или мотыгой, не вращался в земле, как гриб, а легко стоял на ней, точно ласточка, присевшая отдохнуть:

Он крылья расправлял по временам, Как будто устремляясь к небесам.[176]

Пусть нам кажется, что мы беседуем с ангелом. Если хлеб не всегда насыщает нас, он всегда для нас — благо. Созерцая великодушие в человеке или Природе, приобщаясь к любой чистой и высокой радости, мы распрямляем натруженные спины, становимся гибкими и легкими, забываем о наших недугах.

Древняя поэзия и мифология содержат указания на то, что земледелие было некогда священным занятием, а мы занимаемся им с кощунственной поспешностью и небрежностью и с единственной целью: чтобы усадьбы и урожаи были побольше. У нас нет торжественных церемоний и праздников урожая, которые напоминали бы земледельцу о святости его дела и позволяли выразить благоговейное к нему отношение, — я не считаю такими праздниками наши выставки скота или так называемый День Благодарения. Тут фермера больше всего прельщают премии и выпивка. Не Церере и не Земному Юпитеру приносит он жертвы, а скорее Плутону, властителю ада. Себялюбие, стяжательство и гнусная привычка, от которой никто из нас не свободен, — считать землю прежде всего собственностью или средством накопления — уродуют наши пейзажи, унижают земледельческий труд и обрекают фермера на жалкое прозябание. К Природе он относится, как грабитель. Катон[177] говорит, что плоды земледельческого труда особенно праведны и чисты (*maximeque pius quoestus*), а у Варрона[178] сказано, что древние римляне «звали землю Матерью, или Церерой, и считали жизнь земледельцев самой праведной и полезной, а их самих — единственными потомками царя Сатурна».

Мы склонны забывать, что солнце равно светит на возделанные поля, на прерии и на леса. Все они равно отражают и поглощают его лучи, и поля — всего лишь малая часть величавой картины, которую оно созерцает, свершая свой дневной путь. Пред лицом его вся земля — возделанный сад. Будем же пользоваться его светом и теплом доверчиво и великодушно. Что из того, что я купил семена бобов, а осенью собрал их? Поле, которое я так долго созерцал, не мне одному обязано урожаем; высшие силы поили его влагой и заставляли зеленеть. Не мне и собирать весь урожай. Разве суркам тоже не принадлежит в нем доля? Пшеничный колос (по латыни *spīca*, а раньше *spesa*, от *spe*, что означает «надежда») не должен быть единственной надеждой земледельцев, ибо он вынашивает не одни только зерна (*granum* — от *gerendo*, «носящий».) Тогда нам не придется бояться неурожая. Отчего бы нам не радоваться также и сорнякам? Ведь их зерна — житница птиц. Не так уж важно, чтобы урожай наполнил закрома фермера. Истый земледелец должен жить без тревог — ведь не заботится же белка о том, чтобы каштаны непременно каждый год урождались, — пусть он завершает свой труд ежедневно, пусть не притязает на весь урожай своих полей и приносит мысленно в жертву не только первые, но и последние их плоды.

Поселок

До полудня я работал на огороде, иногда читал и писал, а после этого обычно вновь купался в пруду, задавшись целью переплыть какой-либо из его заливов, обмывал с себя трудовой пот или усталость от умственных занятий и во второй половине дня был совершенно свободен. Каждый день или через день я шел в поселок за новостями, которые передаются там непрерывно, из уст в уста или из газеты в газету; в гомеопатических дозах они освежают не хуже шелеста листвы или пения лягушек. Как я ходил в лес поглядеть на птиц и белок, так я ходил в поселок поглядеть на людей и ребятишек; вместо шума ветра в соснах я слушал стук повозок. Неподалеку от моего дома, на приречных лугах, жила колония мускусных крыс, а в противоположной стороне, среди вязов и платанов жили чем-то всегда занятые люди; они интересовали меня не меньше, чем если бы то были луговые собаки, сидящие каждая у своей норы или бегающие поболтать к соседям. Я часто ходил туда наблюдать их повадки. Поселок представлялся мне большим отделом новостей. На одном его конце, чтобы окупить его содержание, как некогда у Рэддинга и Компании[179] на Стейт Стрит, торговали орехами, изюмом, солью, мукой крупного помола и другой бакалеей. У иных такой ненасытный аппетит на первый из этих продуктов — т. е. на новости — и такое отличное пищеварение, что они могут сколько угодно просидеть на людных улицах, пропуская через себя новости, точно пассатные ветры; или вдыхая их как эфир, который не действует на сознание, но вызывает онемение и нечувствительность к боли — иначе некоторые новости было бы больно слушать.

Проходя по поселку, я всякий раз видел этих достойных особ; они либо сидели на лесенке, греясь на солнце, подавшись всем телом вперед и по временам с блаженным выражением оглядывая улицу; либо стояли, заложив руки в карманы, прислонясь к своим амбарам и подпирая их, точно кариатиды. Они постоянно на улице и ловят все носящиеся в воздухе слухи. Это грубые мельницы, на которых новости подвергаются первичной обработке, прежде чем их передадут в более тонкие бункера, размещенные в домах. Я заметил, что главные жизненные органы поселка — это бакалейная лавка, пивная, почта и банк; там всегда наготове такие необходимые вещи, как колокол, пушка и пожарная машина, а дома расположены так, чтобы лучше всего видеть приезжих, — рядами, друг против друга, чтобы всякий путник прошел сквозь строй, а каждый мужчина, женщина и ребенок мог его ударить. Разумеется, дороже всего стоили места в начале ряда, где лучше всего видно и где сами они были видны и могли нанести первый удар, а последние домишки, на окраине, где в ряду попадались пустыри, и путник мог перелезть через забор или свернуть на тропинку и таким образом ускользнуть, — те платили всего меньше поземельного или оконного сбора. Для привлечения путника всюду висели вывески; одни — рассчитанные на его аппетит, как трактир или съестная лавка, другие — на причуды, как галантерейный или ювелирный магазины; остальные пытались поймать его за волосы, за ноги или за полы, как, например, цирюльник, башмачник или портной. Еще страшнее было постоянное приглашение зайти в любой из этих домов, так как в эту пору все они поджидали гостей. Большей частью мне отлично удавалось избегнуть этих опасностей — я смело и быстро шагал вперед, как

советуют всем, кого прогоняют сквозь строй, или старался сосредоточить мысли на предметах возвышенных, подобно Орфею, который, «громко воспев хвалу богам на своей лире, заглушил голоса Сирен и этим спасся»[180]. Иногда я внезапно шарахался в сторону и сразу исчезал из виду, потому что в подобных случаях я обычно не церемонился и пользовался любым лазом в изгороди. Или же я врывался в один из домов, где меня хорошо принимали, и, выслушав все новости последнего помола — узнав, каковы виды на войну и мир и долго ли еще продержится свет, — пробирался задами и скрывался в лесу.

Когда я допоздна задерживался в поселке, было очень приятно выйти в ночь, особенно темную и непогожую, из светлой комнаты или клуба, вскинуть на плечо мешок с ржаной или кукурузной мукой и держать путь в свою надежную лесную гавань; я плотно задраивал люки и спускался в рубку со всем экипажем веселых и приятных мыслей, оставив у штурвала одну лишь свою телесную оболочку; а когда плавание предстояло нетрудное, то и вовсе покидал штурвал. «Пока я так плыл», [181] мне было хорошо в каюте, наедине с моими мыслями. И ни разу я не терпел бедствия и не шел ко дну, хотя вынес немало бурь. Даже в обычную ночь в лесу темнее, чем думают многие.

Чтобы не сбиться с пути, мне часто приходилось поглядывать вверх, на просветы между деревьями, а там, где не было колеи, нащупывать ногой еле приметную тропинку, которую я сам же протоптал, или держать курс на знакомые деревья, ощупывая их руками; и в самую темную ночь я всегда проходил между двух сосен, росших не более чем в восемнадцати дюймах друг от друга. Иной раз, возвращаясь домой в темную и ненастную ночь и отыскивая ногами тропу, которой я не мог видеть, я так глубоко задумывался — пока не наткнулся на свой дверной засов, — что не мог бы вспомнить ни одного шага своего пути; вероятно, тело мое нашло бы дорогу домой, если бы даже хозяин покинул его, как рука сама находит путь ко рту. Несколько раз, когда у меня засиживался гость, а ночь бывала темная, мне приходилось выводить его на проезжую дорогу позади дома и указывать направление, которого ему надо было держаться, и где он должен был больше доверять ногам, чем глазам. Однажды в очень темную ночь я показал таким образом дорогу двум юношам, приходившим на пруд ловить рыбу. Они жили в какой-нибудь миле от меня и хорошо знали дорогу. Спустя дня два один из них рассказал мне, что они проплутали почти всю ночь совсем близко от своего дома и попали туда только к утру, а за это время несколько раз принимался сильный дождь, листва была мокрая, и они вымокли до нитки. Я слышал, что людям случалось заблудиться даже на улицах поселка, когда тьма была такая, что, как говорится, хоть режь ее ножом. Некоторым окрестным жителям, приезжавшим в поселок за покупками, приходилось там ночевать; дамы и мужчины, направляясь в гости, делали полмили крюку, нащупывая тротуар ногой и не зная, где они свернули. Заблудиться в лесу в любое время доставляет странное и незабываемое ощущение, к тому же поучительное. В буран даже днем часто выходишь на знакомую дорогу и все-таки не знаешь, в какой стороне поселок. Знаешь, что проходил тут тысячу раз, и все же ничего не узнаешь, и все так незнакомо, точно ты находишься где-нибудь в Сибири. Ночью, разумеется, трудности неизмеримо возрастают. В самых обычных наших прогулках мы постоянно, хотя и бессознательно, правим, как лоцманы, на какой-нибудь хорошо знакомый маяк или косу, и если даже отклоняемся от привычного курса, всегда мысленно ориентируемся на ближайший мыс. Пока мы совсем не собьемся с дороги и не закружимся — потому что человека достаточно один раз повернуть вокруг себя с закрытыми глазами, чтобы он

совершенно потерялся в этом мире, — мы не постигаем всей огромности и необычайности Природы. Каждому приходится, пробудившись от сна или выйдя из задумчивости, заново находить точки компаса. Пока мы не потеряемся — иными словами, пока мы не потеряем мир, — мы не находим себя и не понимаем, где мы и сколь безграничны наши связи с ним.

Однажды под вечер, в конце моего первого лета, когда я пошел в поселок взять башмак из починки, меня схватили и посадили в тюрьму за то, что я, как я рассказал об этом в другом месте,[182] отказался уплатить налог и признать власть штата, где у сенатских дверей торгуют мужчинами, женщинами и детьми, точно скотом. Я удалился в лес не поэтому. Но куда бы ни отправился человек, люди гонятся за ним и стараются навязать ему свои гнусные порядки и принудить его вступить в их мрачное и нелепое сообщество. Правда, я мог бы сопротивляться с большим или меньшим успехом; мог бы свирепствовать, точно одержимый «амоком»; но я предпочел, чтоб свирепость проявил не я, а общество — ведь это оно доведено до крайности. Впрочем, на другой день я был освобожден, получил починенный башмак и вернулся в лес вовремя, чтобы пообедать черникой на холме Фейр-Хэвен. Никто никогда не причинял мне вреда, кроме официальных представителей штата. Я ничего не запираю, кроме ящика с бумагами, и ни одним гвоздем не забивал двери или окон. Я не запираю двери ни днем ни ночью, даже когда отлучался на несколько дней и даже когда на следующую осень провел две недели в лесах штата Мэн. И все же мой дом был в большей сохранности, чем если бы был оцеплен солдатами. Усталый путник мог отдохнуть и обогреться у моего очага, любитель чтения — пользоваться немногими книгами, оставленными на столе, а любопытный — шарить в моем чулане и смотреть, что осталось у меня от обеда и что предполагается на ужин. И хотя на пруд ходило множество самых разных людей, я не терпел от них особых неудобств, и у меня ничего не пропало, кроме маленького тома Гомера, на котором было, быть может, слишком много позолоты, как в этом сейчас, наверное, убедился один из солдат, стоявших у нас лагерем. Я уверен, что если бы все жили так просто, как я жил тогда, кражи и грабежи были бы неизвестны. Они имеют место только в тех обществах, где у одних есть излишки, а другие не имеют даже необходимого. Тогда и тома Гомера были бы распределены по справедливости.

*...Nec bella fuerunt,
Faginus astabat dum scyphus ante dapes*[183].

...Войн не знали люди, Покуда ели в лубяной посуде.

«Правители, к чему применять наказания? Возлюбите добродетель, тогда и народ станет добродетелен. Добродетель великих подобна ветру, а добродетель простых людей подобна траве: под ветром трава сгибается»[184]

Пруды

Иногда, пресытившись людским обществом и разговорами и надоев всем моим приятелям из поселка, я шел еще дальше на запад от своего постоянного жилища, в самые безлюдные части нашей округи, «в новый лес и в луг иной»,[185] или на закате солнца ужинал черникой и голубикой на холме Фейр-Хэвен и запасался ею на несколько дней. Те, кто покупает ягоды и фрукты, как и те, кто растит их на продажу, не знают их истинного аромата. Узнать его можно лишь одним способом, но к нему прибегают немногие. Если хочешь узнать, как вкусна черника, спроси у пастуха или у перепелки[186]. Кто никогда не собирал черники, тот напрасно думает, что знает ее вкус. До Бостона черника не доходит, она неизвестна там с тех пор, как перестала расти на трех его холмах. Неповторимый аромат и вкус ее исчезают вместе с нежным налетом, который стирается с нее в рыночной повозке, и она превращается в простой фураж. Пока царит Вечная Справедливость, ни одна ягода черники не может быть доставлена с лесных холмов во всей своей невинности.

Иногда, окончив дневную прополку, я присоединялся к долго поджидавшему меня товарищу, который с утра рыбачил на пруду, молчаливый и недвижимый, как утка или плавучий лист кувшинки, и перебрав различные философские системы, к моему приходу обычно убеждался, что принадлежит к древней секте сенобитов[187]. Приходил также один старик, отличный рыболов, опытный, кроме того, во всех видах охоты; ему нравился мой дом, который он считал построенным специально ради удобства рыболовов; а мне нравилось, когда он сидел у меня на пороге, разбирая свои удочки. Иногда мы вместе сидели на пруду, он на одном конце лодки, я — на другом; но разговаривали мы мало, потому что он к старости оглох и только иногда тихонько напевал псалом, что вполне соответствовало моему умунастроению. Таким образом, ничто не нарушало гармонии наших отношений, и вспоминать их куда приятнее, чем если бы они выражались словами. Когда — как это бывало чаще всего — мне не с кем было общаться, я будил эхо, ударяя веслом по краю лодки, и наполнял окрестные леса волнами разбегающихся звуков, дразня их, как сторож зверинца дразнит зверей, пока каждый лесистый дол и холм не откликался мне рычанием.

В теплые вечера я часто сидел в лодке и играл на флейте, и ко мне, словно зачарованные, подплывали окуни, а лунный свет передвигался по ребристому дну, усеянному лесными обломками. Раньше я ходил на пруд в поисках приключений, в темные летние вечера, с каким-нибудь приятелем; мы разводили костер у самой воды, думая привлечь этим рыбу, и ловили сомов на связку червей, а потом, глубокой ночью, высоко подбрасывали в воздух головешки, как фейерверк; падая в пруд, они гасли с громким шипением, и мы внезапно оказывались в полной тьме. В этой темноте, насвистывая песенку, мы возвращались в жилые места. А теперь я совсем поселился на берегу пруда.

Иногда, погостив у кого-нибудь в поселке, пока хозяевам не пора было спать, я возвращался в лес и добывал свой завтрашний обед — удил рыбу с лодки при луне; совы и лисицы пели

мне серенады, а иногда над самой моей головой раздавался трескучий крик какой-то неведомой птицы. Это были незабываемые ночи; я стоял на якоре на глубине 40 футов, в четверти мили от берега, окруженный иногда тысячами мелких окуней и других рыбешек, которые рябили хвостами посеребренную лунной воду; длинная льняная нить соединяла меня с таинственными ночными рыбами, обитавшими на глубине 40 футов; иногда, плывя по воле легкого ночного ветерка, я тащил по пруду 60 футов лесы, временами ощущая в ней легкое подергивание, говорившее о том, что на другом ее конце идет какая-то жизнь и кто-то ворочается там и никак не может решиться. Наконец, перебирая лесу руками, медленно вытягиваешь наверх какую-нибудь извивающуюся и прыгающую рогатую рыбу. Это очень странное чувство — особенно темной ночью, когда уносишься мыслями в беспредельный космос, — ощутить вдруг этот слабый рывок, прерывающий твои грезы и снова соединяющий тебя с Природой. Казалось, я мог бы забросить удилище не только вниз, но и вверх, в воздух, почти такой же темный. И я как бы ловил двух рыб на один крючок.

Пейзажи Уолдена скромны; хотя они и прекрасны, но не могут быть названы величавыми и не тронут того, кто не ходит сюда часто или не живет на берегу. Однако пруд так удивительно глубок и чист, что заслуживает подробного описания. Это прозрачный и глубокий зеленый водоем, длиною в полмили, окружностью в милю и три четверти, а площадью примерно в 61,5 акра; неисчерпаемый родник среди сосновых и дубовых лесов, без какого-либо видимого притока или оттока, кроме облаков и испарения. Окружающие его холмы круто поднимаются из воды на высоту от 40 до 80 футов, а в каких-нибудь четверти или трети мили на юго-восток и восток они достигают 100–150 футов. Все это поросло лесом. Все водоемы Конкорда имеют по меньшей мере два цвета — один издали, другой, более правильный, вблизи. Первый больше зависит от освещения и отражает небо. В ясную летнюю погоду, особенно при ветре, озера на небольшом расстоянии кажутся синими, а издали все они одинаковы. В бурную погоду они иногда становятся темно-серыми. А море, говорят, бывает один день синим, другой — зеленым, независимо от погоды. В нашей реке мне случалось видеть и воду, и лед зелеными, почти как трава, когда кругом лежал снег. Некоторые считают, что цвет чистой воды — «синий, как в жидком состоянии, так и в твердом». Но если смотреть в наши воды прямо с лодки, цвета оказываются там самыми различными. Уолден кажется иногда голубым, а иногда — зеленым, даже с одного и того же места. Он лежит между небом и землей и принимает цвет обоих. Если смотреть на него с вершины холма, он отражает цвет неба, а если приблизиться, то увидишь, что у берега, там, где виден песок, он желтоватый, дальше — светло-зеленый, а к середине зеленый цвет постепенно сгущается. При известном освещении он даже с холма кажется у берегов ярко-зеленым. Некоторые объясняют это отражением зелени, но он так же зелен и у песчаного берега, ближайшего к железной дороге, и весной, когда листва еще не распустилась; быть может, это происходит от смешения преобладающего в нем голубого цвета с желтым цветом песка. Таков цвет глаз Уолдена. Такова также та его часть, где весенний лед, разогретый солнечным теплом, отраженным от дна, а также теплом земли, тает раньше всего и образует узкий канал вокруг еще замерзшей середины. Как и в других наших водоемах, в ясную погоду и при сильном ветре, когда волны отражают небо под прямым углом или вообще получают больше света, синева пруда на некотором расстоянии кажется темнее неба; в такую пору, находясь на его поверхности и одновременно следя за отражениями, я различал в нем несравненную и неопишемую светлую синеву, напоминающую переливы муара или блики на сабельном лезвии и более яркую, чем само

небо; другая сторона волны оставалась темно-зеленой и рядом с этим цветом казалась мутной. Мне запомнилась эта стеклянная, зеленоватая голубизна, подобная кускам зимнего неба на закате, проглядывающим сквозь тучи. Между тем стакан уолденской воды кажется на свет прозрачным и бесцветным, точно стакан воздуха. Известно, что большой стеклянный сосуд имеет зеленоватый оттенок, объясняющийся, как говорят мастера, тем, что здесь стекло «в массе», а маленький осколок того же сосуда бесцветен. Сколько требуется уолденской воды, чтобы отражать зеленый цвет, этого я не проверял. Вода нашей речки, если смотреть на нее прямо сверху, кажется черной или темно-коричневой; как и в большинстве прудов, тела купальщиков выглядят в ней желтоватыми; но в этом пруду вода так кристально чиста, что придает телам купающихся белизну алебаstra и к тому же увеличивает их и чудовищно искажает пропорции, превращая их в натурщиков, достойных Микеланджело.

Эта вода так прозрачна, что на глубине 25–30 футов можно ясно различить дно. С лодки вам видны глубоко внизу стайки окуней и плотвы, длиною не более дюйма; первых легко отличить по их поперечным полоскам, и вы спрашиваете себя, какие рыбы-аскеты могут находить там пропитание. Однажды зимой, много лет назад, я вырубал во льду проруби, чтобы ловить молодых щук и, выходя на берег, кинул на лед топор, который, как на зло, скользнул прямо в одну из прорубей, глубиной в 25 футов. Из любопытства я лег на лед и стал глядеть в прорубь, пока не увидел свой топор, стоявший стоймя, топорищем вверх, и тихо качавшийся в такт пульсу Уолдена; так он мог бы стоять и покачиваться, пока не сгнил бы, если бы я не потревожил его. Прodelав прямо над ним еще одно отверстие с помощью долота и срезав ножом самую высокую березку, которая нашлась по соседству, я прикрепил к ее концу скользящую петлю, осторожно опустил ее туда, накинул на топорище, подтянул топор вдоль ствола с помощью лесы и таким образом вытащил его.

Пруд окаймлен гладкими, округлыми белыми камнями, вроде тех, какими мостят мостовые, и только в двух местах имеются небольшие песчаные пляжи; берега его так круты, что во многих местах вы можете одним прыжком оказаться в воде с головою; если бы не удивительная прозрачность этой воды, дальше уж не было бы видно дна до противоположного берега. Некоторые считают этот пруд бездонным. В нем нигде нет ила, и на первый взгляд кажется, что совсем нет и водорослей и вообще никаких растений, кроме как на недавно затопленных лужайках, которые, собственно, нельзя считать частью пруда, — сколько ни смотри, не увидишь ни шпажника, ни камыша, ни даже желтой или белой кувшинки, лишь кое-где мелкий рдест и кабомба; купальщик может и не заметить их; все эти растения чисты и светлы, как окружающая их вода. Галька продолжается на 15–20 футов под водой, а дальше идет чистый песок, и разве что в самых глубоких местах немного отложений — вероятно, остатки листьев, столько лет падавших в воду, да еще ярко-зеленые водоросли, которые якорь зацепляет и вытягивает там даже среди зимы.

Есть у нас еще один такой же пруд — Белый пруд в Найн-Эйкр Корнер, в двух с половиной милях к западу; но хотя мне и знакомо большинство прудов на 12 миль в окружности, я не знаю больше ни одного, который отличался бы подобной родниковой чистотой. Вероятно, не одно племя пило из него, любовалось им, меряло его глубину и исчезало с лица земли, а его вода все так же зелена и прозрачна. Никогда не иссякал этот источник. Быть может, в то весеннее утро, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, Уолденский пруд уже существовал и

тогда уже поливался тихим весенним дождем с туманом и южным ветром, а на поверхности его плавали бесчисленные утки и гуси, ничего не слыхавшие о грехопадении и вполне довольные этой чистой водой. Уже тогда его уровень то подымался, то опускался, и он очистил свои воды, придав им их теперешний цвет, и получил от небес патент на право быть единственным в мире Уолденским прудом, где производится дистилляция небесной росы. Как знать, быть может, в поэзии многих забытых племен он был Кастальским источником?[188] А в Золотом веке у него были свои нимфы? В короне Конкорда — это алмаз чистейшей воды.

И все же первые пришельцы на эти берега оставили, по-видимому, какие-то следы. Я с удивлением обнаружил вокруг всего пруда, даже там, где только что были срублены густые заросли, узкую, как карниз, тропу вдоль крутого склона, которая идет то подымаясь, то опускаясь, то приближаясь к воде, то отдаляясь от нее; тропа эта, вероятно, ровесница первым людям здешних мест; ее протоптали туземные охотники, а с тех пор ею иногда пользовались позднейшие обитатели. Если стоять зимой посередине пруда, когда только что выпал снег, она особенно ясно различима в виде волнистой белой линии; ее не заслоняют ветви и камыши, и она видна за четверть мили во многих местах, где летом ее трудно различить даже вблизи. Снег как бы печатает ее четким и рельефным белым шрифтом. Следы ее, вероятно, сохранятся и тогда, когда по берегам настроят вилл с нарядными садами.

Пруд имеет свои приливы и отливы, но насколько они регулярны и часты — этого не знает никто, хотя, как обычно, многие уверяют, что знают. Обыкновенно вода в нем стоит выше зимой и ниже — летом, хотя это не зависит ни от засухи, ни от дождей. Я помню время, когда она стояла на фут или два ниже и, наоборот, футов на пять выше, чем в ту пору, когда я там жил. Там есть узкая песчаная отмель, а по одну сторону от нее — большая глубина; на этой отмели в 1824 г. мы варили в котелке рыбу, в сотне футов от главного берега, чего нельзя было делать целых 25 лет; с другой стороны, друзья не верили мне, когда я рассказывал, что несколько лет спустя я удил рыбу с лодки в полусотне футов от единственного известного им берега, в укромной бухточке, которая с тех пор превратилась в лужайку. Но вот уже два года, как уровень воды неуклонно подымается, и сейчас, летом 1852 г., он на пять футов выше, чем когда я там жил; он опять так же высок, как 30 лет назад, и на лужайке снова можно удить. Разница уровня составляет шесть — семь футов, а между тем с окружающих холмов стекает очень незначительное количество воды, и повышение объясняется, очевидно, подземными родниками. Этим летом уровень воды снова начал снижаться. Примечательно, что эти колебания, периодические или непериодические, растягиваются, видимо, на много лет. На моей памяти одно такое повышение и частично — два понижения, и я думаю, что через 12–15 лет вода опять достигнет самого низкого из известных мне уровней. На расстоянии мили к востоку Флинтов пруд — где, конечно, надо принимать в расчет впадающие в него и вытекающие из него ручьи и роль смежных мелких прудов — ведет себя одинаково с Уолденом и недавно одновременно с ним достиг своего наивысшего уровня. Насколько я мог наблюдать, то же относится и к Белому пруду.

Это медленное падение и повышение уровня уолденских вод имеет, во всяком случае, одно значение: держась на высоком уровне в течение года и больше, вода затрудняет путь вокруг пруда, уничтожает кустарник и деревья, успевшие вырасти по берегам после

прошлой высокой воды, — смолистую сосну, березу, ольху, осину и другие — и, отступая, оставляет берега чистыми; в отличие от многих прудов и всех водоемов, где бывают ежедневные приливы, берега Уолдена всего чище, когда уровень воды понижается. На той стороне пруда, которая ближе к моему дому, ряд смолистых сосен высотой в 15 футов был таким образом опрокинут и срезан; наступление леса было остановлено, и по размеру деревьев можно судить, сколько лет назад вода подымалась в последний раз до этого уровня. Благодаря таким колебаниям уровня, пруд *оберегает* свои берега, и деревья не могут на них закрепиться. Это — губы пруда, на которых не растет борода. Время от времени он их облизывает. Когда вода стоит всего выше, ольха, ива и клен, стараясь удержаться, опускают из своих стволов в воду массу красных волокнистых корней в несколько футов длиной, а обычно бесплодные кусты голубики, растущие по берегу, в изобилии покрываются ягодами.

Некоторые недоумевают, отчего берега пруда как будто вымощены камнем. Всем моим землякам известна легенда — самые древние старики уже слышали ее в юности — об индейцах, некогда собравшихся на сходку на холме, который настолько же подымался к небу, насколько пруд ушел сейчас в землю, и будто бы они там сквернословили — хотя это один из тех пороков, в которых индейцы никогда не были повинны, — как вдруг холм внезапно провалился под ними; уцелела лишь одна старая скво (женщина — на языках сев.-амер. индейцев) по имени Уолден, в честь которой и был назван образовавшийся пруд. Предполагают, что когда холм сотрясся, с него скатились камни, которые и образовали нынешние берега. Одно во всяком случае достоверно — когда-то пруда не было, а теперь он есть, и этот индейский миф ничуть не противоречит рассказу уже упомянутого мною старого поселенца[189], который отлично помнит, как впервые пришел сюда с заветным ореховым прутиком[190], как с травы встал туман, а прутик упорно указывал вниз, и он решил копать тут колодец. Что касается камней, многие не согласны с тем, что их смыло с холмов волнами; однако, по моим наблюдениям, окрестные холмы изобилуют точно такими же камнями, и там, где железная дорога проходит ближе всего к пруду, их пришлось сгрести в высокие валы по обе стороны полотна; к тому же, камней больше всего там, где берег круче, так что, к несчастью, это теперь для меня не тайна. Я догадался, кто вымостил берега. Если название не произошло от какой-нибудь английской местности — например, Саффрон Уолден, — можно предположить, что пруд назывался первоначально Walled-in pond (пруд, окруженный стеной — англ.).

Пруд служил мне колодцем. Четыре месяца в году вода в нем так же холодна, как она бывает чиста весь год, и тогда она, по-моему, не хуже любой в городе, а пожалуй, и лучше. Зимой вода под открытым небом холоднее, чем в закрытых источниках и колодцах. Однажды я продержал прудовую воду с пяти часов вечера до полудня следующего дня, 6 марта 1846 г., в комнате, где температура временами доходила до 65–70° отчасти потому, что крыша накалялась солнцем, и температура воды осталась 42° — на градус меньше, чем свежая вода из самого холодного колодца в поселке. В тот же самый день температура Кипящего Ключа была 45°, [191] т. е. теплее всех испробованных, хотя вообще летом это самая холодная вода из известных мне, когда к ней не примешивается застоявшаяся вода с поверхности или мелких мест. К тому же летом Уолден благодаря своей глубине никогда не нагревается так, как обычная вода, согретая солнцем. В самую жаркую погоду я обычно ставил ведро воды в погреб, где она охлаждалась за ночь и оставалась холодной весь день;

правда, я брал также воду из ближайшего ключа. Через неделю она была так же свежа, как только что набранная, и не имела привкуса металлической трубы. Если кто летом раскинет на неделю палатку на берегу пруда, пусть только вьет в землю ведро воды где-нибудь в тени, и ему не потребуется такая роскошь, как лед.

В Уолдене случалось вылавливать молодых щук весом в семь фунтов; а одна ускользнула и с большой скоростью утащила за собой спиннинг, который рыболов, не разглядев ее, спокойно поставил на восемь фунтов; здесь ловят также окуней и сомов, достигающих иной раз двух фунтов, голавлей или плотву (*Leuciscus pulchellus*), изредка лещей и даже угрей — один из них весил четыре фунта; я привожу эти подробности потому, что славу рыбе создает только ее вес, а про других угрей я здесь не слыхал. Вспоминаются мне также рыбки дюймов в пять длиной, с серебристыми боками и зеленоватой спиной, несколько похожие на плотву, которых я упоминаю здесь главным образом для того, чтобы подкрепить легенды фактами. Но все же пруд наш не так уж богат рыбой. Больше всего он может похвалиться щуками. Мне доводилось видеть на льду щук по крайней мере трех различных видов; одна — длинная и плоская, стального цвета, более других похожая на речных щук; другая — золотая с зеленоватыми отливами, удивительно насыщенного цвета — этой здесь водится больше всего; и третья — тоже золотистая и той же формы, но усыпанная с боков, как форель, мелкими темно-коричневыми или черными пятнышками, попеременно с красными. К ней не применимо название *reticulatus*; скорее можно сказать про нее *guttatus* (сетчатый — лат.; пятнистый — лат.). Все это очень плотная рыба, и весит она больше, чем может показаться по объему. Плотва, сомики, да и окуни, как и вся рыба, обитающая в нашем пруду, гораздо красивее, чище и мякоть у нее плотнее, чем у речной рыбы или рыбы из большинства других прудов; ее сразу можно отличить — и это потому, что вода здесь чище. Вероятно, многие ихтиологи отнесли бы некоторых из них к особым разновидностям. Водится у нас также чистая порода лягушек и черепахи; изредка попадаются двустворчатые ракушки. Здесь находят следы ондатры и норки, а иногда забредает и кусающаяся черепаха. Бывало, что по утрам, спуская на воду лодку, я спугивал крупную кусающуюся черепаху, которая пряталась под ней на ночь. Весной и осенью пруд посещают дикие утки и гуси; над ним проносятся белобрюхие ласточки (*Hirundo bicolor*), а на каменистых берегах все лето подпрыгивают кулики-травники (*Totanus macularius*). Иногда мне случалось спугнуть птицу-рыболова, сидевшую над водой, на ветке белой сосны, но в отличие от Фейр-Хавена наш пруд не оскверняется чайками. Он допускает самое большое одну полярную гагару в год. Вот и все главные нынешние обитатели пруда.

В тихую погоду у песчаного восточного берега, где глубина достигает восьми — десяти футов, вы можете увидеть с лодки круглые кучи мелких камней меньше куриного яйца; кучи футов шести в окружности и около фута в высоту, насыпанные на чистом песке. Сперва вы можете подумать, что индейцы зачем-то насыпали их на льду, а летом они опустились на дно; но для этого они имеют слишком правильную форму, а некоторые явно совсем недавнего происхождения. Подобные образования находят и в реках, но так как здесь не водятся чукучаны и миноги, я не могу сказать, какие рыбы их образовали. Быть может, это гнезда голавлей[192]. Они придают дну пруда некую приятную таинственность.

Берега достаточно разнообразны, чтобы не наскучить. Я мысленно представляю себе западный берег, изрезанный глубокими заливами, более крутой северный и красивый

южный, вырезанный фестонами, где мысы заходят один за другой, образуя неизведанные бухты. И лес кажется всего красивее, если смотреть на него с середины небольшого озера, окруженного холмами, встающими прямо из воды; вода, в которой он отражается, не только образует для него самый лучший передний план; извилистые берега составляют вместе с тем естественную и живописную границу леса. Ничто здесь не нарушает гармоничной линии опушки, как нарушают ее порубки или примыкающие к ней поля. Деревья могут свободно расти в сторону воды, и каждое простирает к ней свою самую мощную ветвь. Природа создает здесь естественную кайму, и взгляд постепенно переходит от низких прибрежных кустов к вершинам самых высоких деревьев. Здесь почти не видно следов человека. Вода омывает берега, как тысячу лет назад.

Озеро — самая выразительная и прекрасная черта пейзажа. Это — око земли, и, заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души. Прибрежные деревья — ресницы, опушившие этот глаз, а лесистые холмы и утесы вокруг него — это насупленные брови.

Тихим сентябрьским днем, стоя на гладком песчаном восточном берегу, когда противоположный берег слегка подернут туманом, я понял, откуда идет выражение «зеркальная гладь озера». Если смотреть на нее вниз головой,[193] поверхность озера покажется тончайшей паутиной, протянутой через долину, блестящей на фоне дальнего соснового леса и разделяющей два воздушных слоя. Вам покажется, что можно пройти под ней, не замочившись, до противоположного берега и что летающие над озером ласточки могли бы на нее сесть. Иногда им действительно случается нырнуть за черту, но тут они обнаруживают свою ошибку. Взгляните на запад, и вам придется обеими руками заслониться не только от настоящего, но и от отраженного солнца, ибо оба они одинаково ярки; всмотритесь пристально в водную поверхность между ними — она кажется действительно гладкой, как стекло, и только слегка искрится от рассыпанных повсюду водомерок, или где-нибудь плещется утка, или ласточка, как я уже говорил, задевает воду крылом. Или вдруг выпрыгнет рыба и опишет в воздухе дугу в три — четыре фута, ярко сверкнув там, где выпрыгнула, и там, где ушла под воду, а иной раз прочертив серебром всю дугу; или проплывет пушинка чертополоха, и рыбы, стараясь схватить ее, рябят воду. Вода подобна расплавленному стеклу, охлажденному, но еще не затвердевшему, и немногие пятнышки на ней тоже чисты и прекрасны, как бывают изъязны на стекле. Часто в ней можно различить еще более гладкий и темный слой, отделенный словно невидимой паутиной, — плавучий мост для отдыха водяных нимф. С вершины холма вам видна каждая прыгнувшая рыба; стоит щуке или плотве поймать мошку на этой зеркальной глади, как уже потревожена вся поверхность озера. Удивительно, с какой ясностью обнаруживается этот простой факт — это убийство на воде, — и с моего отдаленного наблюдательного поста я вижу расходящиеся круги до сотни футов в диаметре. За четверть мили можно даже различить, где по водной глади бежит водяной жук (Gyrinus); эти жуки слегка бороздят воду, образуя ямку, и от нее — две расходящиеся линии; а водомерки — те скользят, почти не оставляя ряби. Когда поверхность взволнована, на ней нет ни водомерок, ни водяных жуков, а в тихую погоду они отваживаются выходить из укрытий и, двигаясь короткими толчками, сбегаются на середину. В погожие осенние дни, когда особенно дорожишь солнечным теплом, хорошо сидеть на пне, где-нибудь на вершине холма, над прудом и следить, как кто-то непрестанно чертит расходящиеся круги на зеркале, которое иначе было бы невидимо и только отражало небо и деревья. Что бы ни взволновало эту обширную

поверхность, она спешит успокоиться и разгладить свои морщины; как бывает при сотрясении сосуда с водой, дрожащие круги бегут к берегу, и все снова стихает. Стоит где-нибудь выпрыгнуть рыбе или насекомому упасть на воду, и это тотчас же отражается в разбегающейся ряби, в прекрасных линиях — это дышит пруд, это трепещет в нем жизнь и вздымается его грудь. Боль и радость выражаются здесь одинаковым трепетом. Как мирно свершается все на озере! Снова творения рук человеческих сияют, точно весной; всякий лист, веточка, камушек и паутинка сверкают среди дня так, как это бывает весной только по утрам, по росе. Каждое движение весла или насекомого высекает искру света; а когда весло падает на воду, какие нежные отзвуки оно будит!

В такой день, в сентябре или октябре, Уолден кажется настоящим лесным зеркалом в оправе из камней, которые представляются мне редкостными и драгоценными. Нет на лице земли ничего прекраснее, чище и в то же время просторнее, чем озеро. Это — небесная вода. Ей не нужны ограды. Племена проходят мимо нее, не оскверняя ее чистоты. Это зеркало, которое нельзя разбить камнем, с которого никогда не сойдет амальгама, на котором Природа постоянно обновляет позолоту; ни бури, ни пыль не могут замутить его неизменно ясной поверхности; весь сор, попадающий на него, исчезает, смахивается легкой метелкой солнца; его не затуманить ничьим дыханием, а собственное его дыхание подымается над ним облаками и продолжает в нем отражаться.

Водная стихия отражает воздушную. Она непрестанно получает сверху новую жизнь и движение. По природе своей она лежит посредине между землей и небом. На земле от ветра колышутся только трава и деревья, а на воде он волнует всю поверхность. По бликам света я вижу, где пробегает над ней ветерок. Замечательно, что на водную поверхность можно смотреть. Когда-нибудь наш глаз сможет так же смотреть и на воздушную и замечать на ней дуновения еще более неуловимые.

В конце октября, когда наступают настоящие заморозки, исчезают и водомерки и водяные жуки, в это время и в ноябре, в тихие дни ни одна морщинка не набегает на водную гладь. Однажды в ноябре, уже после полудня, во время затишья после нескольких дней бури и дождей, когда небо было еще сплошь затянуто тучами, а в воздухе стоял туман, я обратил внимание на то, что пруд был удивительно гладок, так что поверхность его была почти невидимой, хотя отражала уже не яркие краски октября, а сумрачные ноябрьские холмы. Я вел лодку как только мог осторожно, но легкие волны, которые от нее разбегались, все же уходили очень далеко и смещали отраженные в пруду картины. Но вот в нескольких местах я заметил на поверхности воды слабое мерцание, точно там собрались водомерки, уцелевшие от холодов, или же гладкая поверхность выдавала места, где со дна били ключи. Тихо подплыв к одному такому месту, я с удивлением увидел, что оказался среди несметной стаи мелких окуней, около пяти дюймов длины; они резвились, сверкая бронзой в зеленой воде, то и дело подымаясь на поверхность и оставляя на ней рябь и пузырьки. На этой прозрачной и словно бездонной воде, отражавшей облака, я как будто парил на воздушном шаре, и стаи рыб тоже, казалось, были в полете, точно стаи птиц, пронесившиеся как раз подо мной, справа и слева, распустив плавники, будто крылья. В пруду было много таких стай, которые, видимо, спешили пользоваться короткой порой, прежде чем зима задвинет их широкое окно ледяными ставнями; из-за них поверхность воды иногда казалась взволнованной легким ветром или изрытой дождевыми каплями. Когда я спугивал их

неосторожным приближением, они разом шлепали по воде хвостами — точно кто-то ударял по ней ветвистым суком — и скрывались в глубине. Но вот ветер усилился, поднялся туман, по пруду пошли волны, и окуни начали подпрыгивать еще выше, наполовину выскакивая из воды, и сотни этих темных черточек в три дюйма длиной одновременно появлялись на поверхности. Был один год, когда еще 5 декабря я заметил на воде ямочки и, думая, что начинается сильный дождь, потому что стоял туман, налег на весла и поспешил домой; дождь, казалось, усиливался, хотя на меня еще не упало ни одной капли, и я приготовился промокнуть насквозь. Но ямочки внезапно исчезли, потому что это были окуни, которых плеск моих весел прогнал в глубину, — я увидел, как они уходили, — так что я все же остался сухим.

Один старик, часто бывавший на нашем пруду лет шестьдесят назад, когда он был затенен окружающими лесами, рассказывал мне, что в ту пору пруд кишел дикими утками и другой водяной птицей, и немало было также орлов. Он приходил сюда рыбачить и брал старый долбленный каноэ, который нашел на берегу. Каноэ был сделан из двух выдолбленных сосновых бревен, скрепленных вместе и срезанных на концах под прямым углом. Это был очень неуклюжий челн, но он прослужил много лет, а потом пропитался водой и, вероятно, затонул. Он не знал, чья это лодка, — она принадлежала пруду. Якорный канат он сплел из орехового лыка. А один старый горшечник, живший у пруда еще до Революции,[194] рассказывал ему, что на дне лежит железный сундук и что он сам его видел. Иногда сундук подплывал к берегу, но когда вы подходили, он опускался в глубь и исчезал. Мне понравился рассказ о старом долбленном каноэ, заменившем индейский каноэ из такой же сосны, но более красивой формы, а тот некогда мог быть просто деревом, которое росло тут же, на берегу, упало на воду и много лет на ней плавало, — самый подходящий челн для такого озера. Помню, что, впервые заглянув в глубину, я смутно различил на дне множество толстых стволов, которые свалились туда во время бури или, может быть, остались на льду после порубок, когда дрова были дешевле; сейчас их почти не видно.

Когда я впервые выехал в лодке на Уолден, он был со всех сторон окружен густым и высоким сосновым и дубовым лесом, а в некоторых бухтах дикий виноград, обвивая деревья над самой водой, образовал своды, под которые могла въехать лодка. Окружающие озеро холмы так круты, а лес на них был в те годы так густ, что когда вы смотрели на него с западного берега, он казался амфитеатром для какой-то лесной феерии. Когда я был моложе, я проводил на нем многие летние часы; выгребя на середину, я ложился на спину и плыл по воле зефира и грезил наяву, пока лодка не вреза́лась в песок; тогда я вставал посмотреть, к какому берегу привела меня судьба, — то были дни, когда праздность была самым привлекательным и продуктивным занятием. Так я провел много утренних часов, так предпочитал проводить лучшую часть дня, ибо я был богат, если не деньгами, то солнечными часами и летними днями, и расточал их щедро и не жалею о том, что не проводил их чаще в мастерской или за учительским столом. Но с тех пор, как я покинул эти берега, их сильно опустошили лесорубы, и теперь много лет нельзя будет бродить под лесными сводами, где лишь изредка открывается вид на воду. Если моя Муза с тех пор умолкла, в этом ее извинение. Разве птицы могут петь, когда вырублены их рощи?

Нет больше затонувших стволов на дне, нет старого долбленного каноэ, нет вокруг темных лесов, и жители поселка, которые едва ли знают к пруду дорогу, вместо того, чтобы

купаться в нем или пить из него, поговаривают, как бы эту воду, которая должна быть для них священна не меньше Ганга, провести к себе в трубах,[195] чтобы мыть в ней посуду! Стоит повернуть кран или вынуть втулку, и вот тебе Уолден! Дьявольский Стальной Конь, который оглушительно ржет на весь город и замутил копытами Кипящий Ключ, — вот кто съел все леса на берегу Уолдена; Троянский Конь, скрывающий тысячу людей в своем чреве, введенный торгошами-греками! Где же герой, где Мур из Мур Холла,[196] который сошелся бы с ним в Глубокой Лощине и вонзил чудовищу копьё между ребер?

Все же из всех известных мне мест Уолден всего больше сохранил свою чистоту. Многих людей сравнивали с ним, но немногие заслужили эту честь. Хотя лесорубы обнажили один за другим его берега, а ирландцы настроили на них свои хлева, хотя в его пределы ворвалась железная дорога, а продавцы льда совершили на него налет, сам он не переменялся; здесь все та же вода, которую я видел в молодости; это я переменялся. Сколько ни ходило по нему ряби, морщин на нем не осталось. Он вечно молод, и я по-прежнему могу видеть, как ласточка, ловя мушек, словно ныряет в него. Сегодня он вновь поразил меня, точно я вот уже 20 с лишком лет не вижу его почти ежедневно. Да, вот он Уолден, то самое лесное озеро, которое я открыл столько лет назад; вместо леса, срубленного прошлой зимой, на берегу его подрастает новый, столь же полный соков и сил, и та же мысль подымается со дна его на поверхность, что и тогда; он так же сияет и переливается, на радость себе самому и своему Создателю, а, *быть может*, и мне. По всему видно, что это — творение хорошего человека, в котором нет лукавства. Он своими руками вырыл эту округлую купель, углубил и очистил ее своей мыслью и завещал Конкорду. Я вижу в ней его отражение и готов спросить: Уолден, это ты?

*Все это — вовсе не вымысел мой,
Чтоб удивить красивой строкой.
Можно ли ближе быть к небесам,
Если мой Уолден — это я сам?
Я над ним и ветер быстрый,
Я и берег каменистый,
Я держу в ладонях рук
Его воду в песок,
А глубинную струю
Я в душе своей таю[197].*

Вагоны никогда не останавливаются, чтобы полюбоваться им, но мне кажется, что машинисты, их помощники, кочегары и те пассажиры, которые имеют сезонный билет и проезжают здесь часто, становятся лучше от этого. Машинист ночью вспомнит, пускай бессознательно, что ему хоть раз в день явилось это видение покоя и чистоты. Пусть оно только промелькнуло — оно успело смыть с него следы Стейт Стрит[198] и паровозную сажу. Я предложил бы назвать его «Божьей Каплей».

Я сказал, что у Уолдена нет никаких видимых оттоков и притоков; но с одной стороны он связан, хотя и отдаленно, через несколько мелких прудов, с Флинтовым прудом, лежащим на большей высоте, а с другой — прямо и явно соединен с рекой Конкорд, лежащей ниже, через такие же промежуточные пруды, по которым в иную геологическую эпоху он,

возможно, протекал, а если кое-где прорыть — отчего упаси нас бог! — то и опять может потечь. Если он приобрел свою дивную чистоту тем, что долго вел строгую, уединенную жизнь лесного отшельника, кто захочет, чтобы к нему примешались гораздо менее чистые воды Флинта, или чтобы сам он излил свою прозрачную струю в океан?

Флинтов, или, иначе, Песчаный пруд, в Линкольне, самый крупный из наших водоемов и внутренних морей, находится примерно в миле к востоку от Уолдена. Он гораздо больше, занимает примерно 197 акров и более богат рыбой, но сравнительно неглубок, и вода в нем не отличается чистотой. Я часто совершал к нему прогулки через лес. Он стоил такого похода хотя бы для того, чтобы ощутить свежий ветер, увидеть бегущие волны и вспомнить о жизни моряков. Осенью я ходил туда за каштанами, в ветреные дни, когда каштаны падали в воду и их выносило на берег к моим ногам; однажды, шагая вдоль прибрежной осоки, обдаваемый свежими брызгами, я набрел на полусгнивший остов лодки, от которой мало что осталось, кроме плоского днища, отпечатавшегося среди камышей; но очертания ее сохранились так четко, точно это был большой сгнивший лист водяной лилии со всеми прожилками. Более впечатляющего зрелища вы не нашли бы и на морском берегу, и мораль была столь же ясна. Сейчас эта лодка превратилась в перегной, слилась с берегом, сквозь нее проросли камыши и шпажник. У северного берега этого пруда я любовался волнистыми наносами на песчаном дне, плотными и твердыми под моей ногой, благодаря давлению воды; а камыш там рос индейским строем — теми же волнистыми рядами, точно его насадили волны. Там же я находил множество любопытных шаров, совершенно правильной формы, от полдюйма до четырех дюймов в диаметре, скатанных, видимо, из тонкой травы, или корней, может быть из шерстестебельника. Они колышутся в мелкой воде над песчаным дном, и иногда их выносит на берег. Они бывают сплошь травяные, а бывает, что в середине находишь песок. Сперва можно подумать, что они образовались под действием волн, как галька; но даже самые мелкие из них скатаны из той же жесткой травы, в полдюйма длиной, и притом они появляются лишь в определенное время года. К тому же я полагаю, что волны способны обкатать плотное тело, но не слепить его. В сухом виде эти шары сохраняют свою форму как угодно долго.

Флинтов пруд! До чего убоги наши названия! Как посмел тупой и неопрятный фермер,[199] оказавшийся по соседству с этим небесным водоемом, чьи берега он безжалостно вырубил, дать ему свое имя? Какой-нибудь скряга, больше всего любивший блестящую поверхность доллара или новеньких центов, где отражалась его наглая физиономия, который даже диких уток, севших на пруд, готов был считать нарушителями его прав, у которого пальцы от долгой привычки загребать превратились в кривые, жесткие когти, как у гарпии, — нет, не признаю я этого названия. Я хожу туда не за тем, чтобы видеть его или слышать о нем — о нем, который ни разу не увидел озеро, не искупался в нем, не любил его, не оберегал, не сказал о нем доброго слова и не возблагодарил бога за то, что он его создал. Лучше назвать озеро в честь рыб, которые в нем плавают, птиц или животных, которые близ него водятся, или полевых цветов, растущих на его берегах, или какого-нибудь дикаря или ребенка, чья жизнь была с ним связана, но не в честь того, у кого было только одно право — купчая крепость, выданная таким же, как он, соседом или местной властью; не в честь того, кто расценивал озеро только на деньги, чье присутствие было проклятием для всего берега, кто истощал землю вокруг него и рад был бы истощить его воды; кто жалел, зачем на его месте не сенокосный луг и не болото с клюквой; кто не ценил его, кто спустил бы его и продал,

если бы надеялся нажиться на иле, устилающем дно. Оно не вертело ему мельницу, а какой был толк в том, чтобы просто смотреть на него? Я не чту ни его трудов, ни его фермы, где все имеет свою цену; он готов снести на рынок всю эту красоту, он готов снести туда и бога, если за него что-нибудь дадут; да он и так ходит молиться именно на рынок; ничто на его ферме не растет бесплатно, поля его дают лишь один урожай, луга — одни цветы, деревья — одни плоды: доллары; он не любит красу своих плодов, они не созревают для него, пока не обращены в доллары. По мне лучше бедность, заключающая в себе истинное богатство. Чем фермер беднее, тем я больше уважаю его и интересуюсь им. Знаете, что такое образцовая ферма? Дом стоит, как поганый гриб на мусорной куче; и все помещения — для людей, лошадей, быков и свиней, чистые и нечистые, — все смежны одно с другим. Все углы забиты людьми. Огромное сальное пятно, благоухающее навозом и снятым молоком! Отлично обработанная ферма, удобренная человеческими сердцами и мозгами. Разве можно выращивать картофель на кладбище? Вот что такое образцовая ферма.

О нет, если уже называть красивейшие места в честь людей, то только самых достойных и благородных. Пусть наши озера будут названы хотя бы как Икарийское море, «где берега хранят о подвиге преданье»[200]

По пути к Флинтову пруду лежит небольшой Гусиный пруд; на расстоянии одной мили к юго-западу находится Фейр-Хэвен, расширение реки Конкорд, занимающее, как говорят, около 70 акров; а за Фейр-Хэвен, примерно в полутора милях, находится Белый пруд, площадью в 40 акров. Таков мой озерный край[201]. Вместе с рекой Конкорд озера составляют мои водные угодья; изо дня в день, из года в год они перемалывают все зерно, какое я им приношу.

С тех пор, как лесорубы, железная дорога и я сам осквернили Уолден, самым привлекательным, если не самым прекрасным из всех наших озер, драгоценностью наших лесов стал Белый пруд — тоже неудачное, слишком обычное имя, происходящее то ли от замечательной чистоты его вод, то ли от цвета его песка. Но и в этом, как и в других отношениях, он лишь младший брат Уолдена. Они так похожи, что можно подумать, будто они сообщаются под землей. У них одинаковые каменистые берега и одинаковый оттенок воды. Как и на Уолдене, в жаркую погоду вода в некоторых его бухточках, достаточно мелких, чтобы окрашиваться в цвет дна, имеет мутный голубовато-зеленый цвет. Много лет назад я возил оттуда тачками песок для изготовления наждачной бумаги и с тех пор продолжаю его навещать. Некто, бывающий здесь часто, предложил назвать его Озером Свежести. Можно было бы также назвать его Озером Желтой Сосны, и вот почему: лет пятнадцать назад из-под воды, очень далеко от берега торчала верхушка смолистой сосны, которая в наших местах зовется желтой сосной, хотя и не составляет особой разновидности. Некоторые предполагали даже, что пруд образовался на месте провала и что это остаток некогда бывшего здесь леса. Я обнаружил, что уже в 1792 г. автор «Топографического описания города Конкорд», которое я нашел в архивах Массачусетского исторического общества, описав Уолденский и Белый пруды, добавляет: «Когда вода стоит очень низко, на середине этого последнего видно дерево, по-видимому, растущее на том месте, хотя корни его находятся в пятидесяти футах под водой; верхушка дерева обломана и имеет там четырнадцать дюймов в диаметре». Весной 1849 г. я беседовал с человеком, жившим в Сэдбери, поблизости от этого пруда, и он сказал, что сам извлек из воды это дерево лет за

10–15 до того. Насколько он мог припомнить, оно находилось более чем в 200 футов от берега, где глубина достигала 30–40 футов: дело было зимой, и он в то утро добывал на пруду лед, а днем решил с помощью соседей вытащить старую желтую сосну. Он прорубил во льду канал до самого берега и вытащил ее на лед с помощью упряжки быков, но скоро с удивлением обнаружил, что сосна стояла вверх корнями, — плотно увязнув верхушкой в песчаном дне. Комель ее имел в диаметре около фута, и он рассчитывал ее распилить, но она оказалась такой гнилой, что вряд ли годилась даже на топливо. Остатки ее лежали у него под навесом. На стволе виднелись следы топора и дятлов. Он считал, что это был сухостой, сваленный в пруд бурей; когда верхушка дерева пропиталась водой, а у корня оно было еще сухим и легким, оно и перевернулось вверх корнями. Отец этого человека, которому было тогда 80 лет, помнил это дерево с тех пор, как помнил себя. На дне и сейчас можно разглядеть толстые стволы, которые из-за колыхания воды на поверхности кажутся большими водяными змеями.

Здесь лодки редко тревожат воду, потому что для рыболовов этот пруд малопривлекателен. Здесь нет белых кувшинок, которые любят илистое дно, или даже обыкновенного шпажника; одна лишь редкая поросль голубых ирисов (*Iris versicolor*) окаймляет прозрачную воду, подымаясь с каменистого дна; в июне к ним слетаются колибри, и цвет их голубоватых острых листьев и цветов, особенно их отражений, странно гармонирует с опалово-зеленоватой водой.

Белый пруд и Уолден — это крупные кристаллы на лице земли, Озера Света. Если бы они застыли и были таких размеров, чтобы их можно было схватить, рабы могли бы похитить их на украшение императорских корон; но они жидкие и большие и навеки принадлежат нам и нашим потомкам, поэтому мы пренебрегаем ими и гонимся за алмазом Кохинором[202]. Они слишком чисты, чтобы иметь рыночную цену; к ним не примешано никакой грязи. Насколько они прекраснее нашей жизни, насколько чище наших нравов! Они не учили нас никаким гнусностям. Насколько они лучше, чем лужа на дворе фермера, где плавают его утки! Только чистые дикие утки прилетают сюда. Природа не имеет ценителей среди людей. Оперение птиц и их пение гармонирует с цветами; но где тот юноша или та девушка, которые составляли бы одно целое с роскошной, вольной красотой природы? Она цветет сама по себе, вдали от городов, где они живут. А еще говорят о небесах! Да вы позорите землю.

Ферма бейкер

Иногда я ходил в сосновые рощи, похожие на храмы или на эскадры кораблей с распушенными парусами, полные переливов света и качания ветвей, такие свежие, зеленые и тенистые, что друиды оставили бы свои дубы, чтобы там молиться; или в кедровый лес за Флинтовым прудом, где высокие деревья, усыпанные синими ягодами, могли бы украшать вход в Валгаллу,[203] а ползучий можжевельник устилает землю гирляндами, полными плодов; или на болота, где древесные мхи фестонами свисают с белых елей, где стоят огромные поганки — круглые столы болотных богов, — а пни изукрашены великолепными грибами, похожими на бабочек или на ракушки, своего рода растительные устрицы; где растут хелониас и дёрен; где красные ягоды ольхи горят, точно глаза болотных чертенят, а вьющийся древогубец душит в своих объятиях самые твердые породы деревьев; где ягоды остролиста так хороши, что, глядя на них, забываешь о доме; где тебя соблазняет еще столько других неведомых и запретных лесных плодов, слишком прекрасных для смертных уст. Вместо того, чтобы ходить к ученым людям, я навещал некоторые деревья редкой в наших краях породы, одиноко стоявшие среди луга или в глубине леса, или болота, или на вершине холма, — скажем, черную березу, которая иногда попадает у нас двух футов в диаметре; или ее родственницу, такую же душистую желтую березу в просторной золотой одежде; или бук, безукоризненный сверху донизу, с гладким стволом, красиво расписанным лишайниками, от которого, кроме отдельных деревьев, уцелела одна только маленькая рощица, — говорят, ее насадили голуби, привлеченные буковыми орешками, — а когда рубишь это дерево, от него летят серебряные искры; американскую липу; граб; *celtis occidentalis*, или каменное дерево, представленное у нас одним-единственным экземпляром; или особо высокую сосну, годную на мачту или на кровельную дранку; или особо красивый хэмлок,[204] стоящий среди леса, как пагода, и еще много других я мог бы назвать. Вот к каким алтарям я ходил летом и зимою.

Однажды я оказался у самого края радуги, которая заполнила нижние слои воздуха, окрасила траву и листья и ослепила меня, точно я смотрел сквозь цветной хрусталь. В этом озере радужного света я некоторое время купался, как дельфин. Продлись это дальше, он мог бы окрасить все мои дела и дни. Идя по железнодорожному полотну, я удивлялся светлому нимбу вокруг своей тени и воображал себя одним из избранных. Кто-то из моих посетителей уверял, что вокруг теней ирландцев он этого нимба не видел и что им отмечены лишь уроженцы здешних мест. Бенвенуто Челлини[205] в своих мемуарах рассказывает, что после страшного сна или видения, посетившего его во время заключения в замке св. Ангела, над тенью его головы появлялся ослепительный свет, и так бывало по утрам и по вечерам, в Италии и во Франции, и особенно было заметно, когда трава была мокрой от росы. То же явление, вероятно, наблюдал и я; его легче видеть утром, но можно и в другое время и даже при луне. Оно не редко, но обычно никем не замечается, а пылкому воображению Челлини могло представиться чем-то сверхъестественным. Он сообщает, к тому же, что показывал это чудо очень немногим. Но разве это не отличие — сознавать, что на тебя вообще обратили внимание?

Однажды я после полудня отправился через лес рыбачить на Фейр-Хэвен, чтобы пополнить чем-нибудь мою скудную растительную пищу. Путь мой лежал через Плезант Мэдоу, примыкающий к ферме Бейкер, — уголку, воспетому с тех пор поэтом:

*Луг привольный и душистый,
Между старых яблонь мшистых
Синева ручья блестит,
Ондатра робкая скользит,
И форель под водой
Пролетает стрелой[206].*

Я подумывал поселиться там, прежде чем выбрал Уолден. Я рвал яблоки и прыгал через ручей, распугивая ондатр и форель. Это был один из тех дней, которые обещают быть бесконечными, в которые многое может случиться, в которые может вместиться большая часть жизни, хотя, когда я вышел, он уже был во второй своей половине. В пути меня застиг ливень, вынудивший меня полчаса простоять под сосной, укрывая голову ветками и используя носовой платок в качестве навеса; когда я, наконец, отважился шагнуть через заросли понтедерии, где воды было по пояс, набежала туча, и гром загредел так грозно, что пришлось к нему прислушаться. «О кичливые боги, — подумал я, — тратить столько ветвистых молний, чтобы обратить в бегство бедного безоружного рыболова!» И я поспешил укрыться в ближайшей хижине, стоявшей в полумиле от какой бы то ни было дороги, но зато близко к пруду, и давно уже необитаемой:

*Конечно, строил здесь поэт,
И жалкое строенье
Заброшено уж много лет
И отдано на разрушение.*

Так говорит Муза. Но оказалось, что в хижине поселился ирландец Джон Филд с женой и множеством детей — от широколицего мальчишки, помогавшего отцу в работе, а сейчас прибежавшего вместе с ним болота, спасаясь от дождя, до сморщенного младенца с удлинённой головой, похожего на вещь сивиллы, который в сырой и голодной лачуге восседал на отцовских коленях, точно на княжеском троне, с любопытством разглядывая незнакомца, и в своем младенческом неведении мог считать себя наследником знатного рода и надеждой человечества, а не бедным голодным пашенком Джона Филда. Пока снаружи бушевала гроза, мы сидели все вместе под той частью крыши, где меньше текло. Я сиживал там и прежде, еще до того как построили корабль, доставивший это семейство в Америку. Джон Филд явно был честным и трудолюбивым, но неумелым человеком, а жене его тоже много надо было мужества, чтобы сварить столько обедов в глубинах огромной печи; с обнаженной грудью и круглым лоснящимся лицом, она все еще надеялась на лучшее; она не выпускала из рук тряпки, но следов уборки я что-то не замечал. Куры, тоже спасавшиеся от дождя, расхаживали по комнате, как члены семьи, и, казалось, слишком очеловечились, чтобы хорошо зажариться. Они заглядывали мне в глаза или настойчиво клевали мой башмак. Тем временем хозяин рассказывал о себе, о том, как тяжело работать на соседнего фермера, как он роет на лугу канавы лопатой или болотной цапкой, получая за это по десять долларов за акр и пользование землей и удобрениями на один год; рядом с

ним весело работал его круглолицый сынишка, не зная, за какую невыгодную работу они взялись. Я попытался поделиться с ним моим опытом, сказав, что мы с ним близкие соседи и что я тоже, хоть и пришел рыбачить словно какой-нибудь бездельник, работаю в поте лица; но живу в крепком, светлом и чистом доме, который едва ли обошелся дороже, чем ему стоит в год аренда его развалины; что он мог бы, если бы захотел, за месяц-два выстроить себе собственный дворец; что я не употребляю ни чаю, ни кофе, ни масла, ни молока, ни свежего мяса, и поэтому мне не надо на все это зарабатывать; или, иначе говоря, я работаю меньше, поэтому мне не требуется много еды, и я расходую на нее сущие пустяки; а он, непременно желая иметь и чай, и кофе, и масло, и молоко, и говядину, вынужден зарабатывать их тяжким трудом, а после такой работы снова должен как следует наедаться, чтобы возмещать затраченные силы; так что он ничего не выигрывает, даже наоборот, потому что он при этом недоволен и губит свою жизнь; а ведь отправляясь в Америку, он считал, что выиграет, именно потому, что здесь можно ежедневно иметь и чай, и кофе, и мясо. Но единственная подлинная Америка — это страна, где вы вольны так устроить свою жизнь, чтобы обойтись без всех этих продуктов, и где государство не пытается принудить вас оплачивать рабство, войну и другие лишние издержки, прямо или косвенно вытекающие из потребления всего этого. Я намеренно говорил с ним так, словно он был философом или хотел им быть. Я был бы рад оставить нераспаханными все луга на земле, если бы это означало освобождение человека. Человеку не обязательно изучать историю, чтобы понять, как лучше возделывать самого себя. Но к ирландцу, увы! для этого не подойдешь иначе как с некой моральной болотной цапкой. Я сказал ему, что его тяжелая работа на болоте требует крепких сапог и плотной одежды, которые, однако же, быстро снашиваются; а мне достаточно легких башмаков и легкой одежды, стоящей вдвое дешевле, хотя он, может быть, думает, что это костюм джентльмена (на самом-то деле это не так), и я за час-два, в виде развлечения, могу наловить себе рыбы на два дня или заработать денег на неделю. Если бы он и его семья решили жить просто, они летом могли бы все ходить по чернику, ради удовольствия. Тут Джон испустил вздох, а жена его, подбоченившись, уставилась на меня, и оба, казалось, стали прикидывать, достаточно ли у них капитала, чтобы начать такую жизнь, и достаточно ли познаний в арифметике, чтобы ее вести. Это было для них плаванием вслепую, и они не видели гавани; вероятно, они до сих пор по-своему борются с жизнью, борются храбро и изо всех сил; не умея расшатывать ее массивные опоры тонкими клиньями и одолевая ее по частям, они думают, что тут надо рубить плеча, как рубят чертополох. Но положение их на редкость невыгодное — без арифметики, увы! Джон Филд далеко не уйдет.

«Вы когда-нибудь ловите рыбу?» — спросил я. «Случается, когда в работе бывают простои; ловлю окуней», «А на что ловите?» «Сперва ловлю плотву на червя, а на нее — окуня». «Тебе бы и сейчас пойти, Джон», — сказала жена, и лицо ее залоснилось надеждой; но Джон не спешил.

Ливень кончился, радуга на востоке предвещала погожий вечер, и я собрался уходить. Выйдя из хижины, я попросил напиться, надеясь увидеть дно колодца и этим завершить осмотр усадьбы; но увы! с колодцем у них прямо беда — то плывуны, а то рвется веревка и тонет ведро. Наконец сыскали подходящую посудину, вода, по-видимому, подверглась какой-то очистке и после долгих совещаний и промедлений была подана жаждущему — прежде чем она охладилась или хотя бы отстоялась. «И эту жижу они пьют», — подумал я;

закрыв глаза и стараясь искусными дуновениями отгонять ото рта сор, я выпил, сколько мог, за гостеприимных хозяев. Если надо проявить учтивость, я обычно не привередничаю.

Когда я покинул после дождя хижину ирландца и снова направился к пруду, мне на миг показалось, что спешить на ловлю щук, идти вброд по лугам и болотам, по глухим и диким местам — пустое занятие для человека, обучавшегося в школе и колледже; но вот я сбежал с холма к алеющему закату; за плечами у меня сияла радуга, а в ушах стоял нежный звон, неведомо откуда доносившийся в чистом воздухе, — и мой добрый гений, казалось, говорил мне: Иди, куда глаза глядят, рыбачь и охоться — каждый день все дальше и дальше — и беспечно отдыхай у всех ручьев и всех очагов. В дни молодости помни своего Создателя[207]. Беззаботно вставай с зарею и иди навстречу приключениям. Пусть полдень застает тебя всякий раз у иного озера, а ночью пусть ты повсюду будешь дома. Нигде нет полей просторнее этих, и нигде нельзя затеять лучших игр. Расти на воле, согласно своей природе, как растут осока и папоротник, которые никогда не пойдут на сено. Пусть грохочет гром; что из того, что он угрожает полям фермеров? Тебе он говорит совсем другое. Укрывайся под сенью тучи, а они пусть бегут к телегам и навесам. Добывай пропитание так, чтобы это было не тяжким трудом, а радостью. Наслаждайся землей, но не владей ею. Людям не хватает веры и мужества — вот они и стали такими: покупают, продают и проводят всю жизнь в рабстве.

О, ферма Бейкер!

*Скромный вид, богатый лишь одним —
Солнечным сияньем золотым.*

*Никто не приходит резвиться
На твой огороженный луг.*

*Ты в спор ни с кем не вступаешь,
Проблем не решаешь туманных.
Невинно на мир ты взираешь
В одежде своей домотканой.*

*Придите, кто кроток,
И кто злобой пылает,
Кто невинен как голубь,
И кто зло замышляет.
Злые умыслы мы повесим
На верхушках высоких сосен.*

Люди, как домашние животные, уходят на день не дальше ближайшего поля или улицы, куда доносятся отзвуки дома, и чахнут, потому что дышат все одним и тем же воздухом; утром и вечером их тени шагают дальше их самих. А надо приходить домой издалека, пережив приключения и опасности, сделав какие-то открытия, чтобы каждый день приносил новый опыт и духовно укреплял нас.

Не успел я дойти до пруда, как Джон Филд надумал ко мне присоединиться, оставив на этот вечер работу на болоте. Но бедняге удалось поймать всего пару рыб, а я за это время нанизал их целую веревку; такая уж ему удача, сказал он; а когда я пересел на его место в лодке, удача тоже пересела. Бедный Джон Филд! Надеюсь, что он не прочтет этих строк, разве только, чтобы извлечь из них пользу; он думает в нашей новой, первозданной стране жить по старинке, — ловить окуней на плотву. Я допускаю, что иногда такая наживка годится. Перед ним открыт горизонт, а он остается бедняком, он родился для бедности, унаследовал ирландскую нищету, Адамову бабушку и болотные привычки, и ни ему, ни его отпрыскам не суждено выйти в люди, пока на их перепончатых лапах, привычных брести по болоту, не отрастут *talaria*. [208]

Высшие законы

[209]

Возвращаясь в темноте домой со связкой рыбы и удочками, я увидел сурка, пересекавшего мне путь, и ощутил странную, свирепую радость — мне захотелось схватить его и съесть живьем; не то чтобы я был тогда голоден, но меня повлекло к тому первобытному, что в нем воплощалось. Правда, пока я жил на пруду, мне случилось раз или два рыскать по лесу, как голодной собаке, позабыв все на свете в поисках дичи, и никакая добыча не показалась бы мне чересчур дикой. Зрелище дикой природы стало удивительно привычным. Я ощущал и доныне ощущаю, как и большинство людей, стремление к высшей или, как ее называют, духовной жизни и одновременно тягу к первобытному, и я чту оба эти стремления. Я люблю дикое начало не менее чем нравственное. Мне до сих пор нравится рыбная ловля за присущий ей вольный дух приключений. Я люблю иногда грубо ухватиться за жизнь и прожить день, как животное. Быть может, рыболовству и охоте я обязан с ранней юности моим близким знакомством с Природой. Они приводят нас в такие места, с которыми в этом возрасте мы иначе не познакомились бы. Рыболовы, охотники, лесорубы и другие, проводящие жизнь в полях и лесах, где они как бы составляют часть Природы, лучше могут ее наблюдать, в перерывах между работой, чем философы или даже поэты, которые чего-то заранее ждут от нее. Им она не боится показываться. В прериях путник должен быть охотником, в верховьях Миссури и Колумбии — траппером, а у водопада Сент-Мери[210] — рыболовом. Кто остается только путешественником, узнает все из вторых рук и только наполовину, и на него полагаться нельзя. Особенно интересно бывает, когда наука подтверждает то, что эти люди уже знали практически или инстинктивно — ибо только человеческий опыт можно назвать подлинной *гуманитарной наукой*.

Ошибаются те, кто утверждает, будто у янки мало развлечений, потому что у него меньше праздников, и мужчины и мальчишки меньше играют в разные игры, чем в Англии; просто здесь игры еще не вытеснили более древних развлечений, которым предаются в одиночку: охоты, рыбной ловли и тому подобного. Почти все мои сверстники в Новой Англии в возрасте от 10 до 14 лет держали в руках охотничье ружье, и места для охоты и рыбной ловли не были у них ограничены, как заповедники английских помещиков; они были обширнее, чем даже у дикарей. Неудивительно, что они редко выходили играть на деревенскую лужайку. Впрочем, в этом уже замечается перемена и не потому, что увеличилось население, а потому, что все меньше становится дичи; ведь охотник — лучший друг дичи, чем даже член Общества охраны животных.

К тому же, живя на пруду, я иногда добывал рыбу, чтобы разнообразить свой стол. Я удил из той же потребности, что и первые рыболовы на земле. Доводы гуманности, какие можно было бы привести, казались искусственными и касались больше моей философии, чем чувств. Я говорю сейчас только о рыбной ловле, потому что об охоте давно уже имею другое мнение и продал свое ружье раньше, чем поселился в лесу. Не то чтобы я был менее

человечен, чем другие; просто чувства мои не были задеты. Я не испытывал жалости к рыбам и червям. Это вошло в привычку. Что касается охоты, то под конец оправданием для нее стали мои занятия орнитологией, и я якобы выискивал только новых и редких птиц. Но сейчас, должен признаться, я считаю, что есть лучший способ изучения орнитологии. Он требует настолько пристального внимания к повадкам птиц, что уж по одной этой причине я готов обходиться без ружья. И все же, несмотря на соображения гуманности, я не знаю, какой равноценный спорт можно предложить взамен; и когда мои друзья с тревогой спрашивают меня, разрешать ли сыновьям охоту, я отвечаю, вспоминая, какую важную роль она сыграла в моем собственном воспитании; да, делайте из них охотников, сначала хотя бы ради спорта, а потом, если возможно, пусть они будут могучими охотниками, для которых ни здесь, ни в других заповедниках не найдется достаточно крупной дичи, — пусть будут ловцами человеческих душ. Я разделяю мнение чосеровой монахини, недовольной уставом:

...устарел суровый сей устав:

Охоту запрещает он к чему-то

И поучает нас не в меру круто[211]

В жизни отдельного человека, как и человечества, бывает время, когда охотники — это «лучшие люди», как они называются у племени алгонквинов[212]. Можно только пожалеть мальчика, которому ни разу не пришлось выстрелить; он не стал от этого человечнее; это просто важный пробел в его образовании. Так я отвечал, когда видел, что у юноши есть склонность к охоте, надеясь, что с возрастом она пройдет сама собой. Ни один гуманный человек, вышедший из бездумного мальчишеского возраста, не станет напрасно убивать живое существо, которому дарована та же жизнь, что и ему самому. Затравленный заяц кричит, как ребенок. Предупреждаю вас, матери, что я в своих симпатиях не всегда соблюдаю обычное *филантропическое* различие.

Таково чаще всего первое знакомство юноши с лесом и с основой собственной личности. Он идет в лес сперва как охотник и рыболов, а уж потом, если он носит в себе семена лучшей жизни, он находит свое призвание поэта или естествоиспытателя и расстаётся с ружьем и удочкой. Большинство людей в этом отношении так и не выходит из детского возраста. В некоторых странах не редкость встретить пастора-охотника. Из такого вышел бы добрый пастуший пес, но едва ли выйдет Добрый пастырь[213]. Я с удивлением убедился, что, кроме рубки леса или льда и тому подобного, единственным занятием, привлекавшим моих сограждан на Уолден, будь то отцы или дети, была рыбная ловля — за одним-единственным исключением. Обычно, если они не добывали целой связки рыбы, они не считали день удачным, хотя все это время могли любоваться прудом. Иные могли побывать на нем тысячу раз, пока жадность к рыбе не оседала, так сказать, на дно, и побуждения их не становились чистыми; но этот процесс очищения, несомненно, происходил все время. Губернатор и его совет смутно помнят пруд, потому что мальчиками удили там рыбу, но сейчас они слишком стары и важны для такого занятия, и пруд им больше не знаком. Однако даже они надеются в конце концов попасть на небо. Законодатели интересуются прудом только, чтобы решать, сколько рыболовных крючков там дозволить, но ничего не знают о том главном крючке, на который можно было бы поймать самый пруд, насадив вместо наживки законодателей. Так, даже в цивилизованных обществах человеческий эмбрион проходит охотничью стадию развития.

В последние годы я не раз обнаруживал, что ужение рыбы несколько роняет меня в собственных глазах. Я брался за него много раз. У меня есть умение и, как у многих моих собратьев, некоторое чутье, которое время от времени обостряется, и все же всякий раз после этого я чувствую, что лучше было бы не удить. Мне кажется, это верное чувство. Оно смутно, но таковы первые проблески утренней зари. Во мне, несомненно, живет инстинкт, свойственный низшим животным, но с каждым годом я все менее чувствую себя рыболовом, хотя и не делаюсь от этого ни гуманнее, ни даже мудрее; сейчас я совсем не рыболов. Но я знаю, что, если бы мне пришлось жить в глуши, меня снова сильно потянуло бы к рыбной ловле и охоте. Во всякой животной пище есть нечто крайне нечистое, и я стал понимать, что такое домашняя работа и откуда берется стремление, стоящее стольких трудов, постоянно содержать себя в чистоте и не допускать в доме неприятных запахов и зрелищ. Я был не только джентльменом, которому подаются блюда, но и сам себе мясником, судомойкой и поваром, поэтому я говорю на основании весьма разностороннего опыта. Главным моим возражением против животной пищи была именно нечистота; к тому же, поймав, вычистив, приготовив и съев рыбу, я не чувствовал подлинного насыщения. Она казалась ничтожной, ненужной и не стоящей стольких трудов. Ее вполне можно было бы заменить куском хлеба или несколькими картофелинами, а грязи и хлопот было бы меньше. Как и многие мои современники, я иногда годами почти не употреблял животной пищи, чаю, кофе и т. п. — не столько из-за вредных последствий, сколько потому, что они мало меня привлекали. Отвращение к животной пище не является результатом опыта, а скорее инстинктом. Мне казалось прекраснее вести суровую жизнь, и хотя я по-настоящему не испытал ее, я заходил достаточно далеко, чтобы удовлетворить свое воображение. Мне кажется, что всякий, кто старается сохранить в себе духовные силы или поэтическое чувство, склонен воздерживаться от животной пищи и вообще есть поменьше. Энтомологи отмечают знаменательный факт — я прочел об этом у Керби и Спенса:[214] «некоторые насекомые, достигшие полного развития, хотя и снабжены органами питания, но не пользуются ими»; авторы выводят как «общий закон, что почти все насекомые, достигшие зрелости, едят гораздо меньше, чем их личинки. Прожорливая гусеница, ставшая бабочкой», и «жадная личинка, превратившаяся в муху», довольствуются каплей меда или иной сладкой жидкости. Напоминанием о личинке остается брюшко, расположенное под крыльями бабочки. Это — тот лакомый кусочек, которым она испытывает свою насекомоядную судьбу. Обжоры — это люди в стадии личинок; в этой стадии находятся целые народы, народы без воображения и фантазии, которых выдает их толстое брюхо.

Трудно придумать и приготовить такую простую и чистую пищу, которая не оскорбляла бы нашего воображения; но я полагаю, что его следует питать одновременно с телом; обоим надо сажать за один стол. Быть может, это и возможно. Если питаться фруктами в умеренном количестве, нам не придется стыдиться своего аппетита или прерывать ради еды более важные занятия. Но достаточно добавить что-то лишнее к нашему столу, и обед становится отравой. Право же, не стоит питаться обильной и жирной пищей. Большинство людей постеснялось бы своими руками приготовить тот обед, какой ежедневно готовят для них другие, будь то животная пища или растительная. Пока это так, мы не можем считать себя цивилизованными; пусть мы леди и джентльмены, но мы недостойны называться истинными людьми. Что тут надо изменить — всем ясно. Не к чему спрашивать, почему мясо и жир вызывают у нас отвращение. Достаточно того, что оно так. Разве это к чести человека, что он — хищное животное? Правда, он может жить, да и живет, в

значительной мере охотой на других животных; но это — жалкая жизнь; в этом можно убедиться, стоит поставить силки на кроликов или забить ягненка; и тот, кто научит человека довольствоваться более невинной и здоровой пищей, может считаться благодетелем человечества. Что бы я ни ел сам, я не сомневаюсь, что человечеству суждено, при его дальнейшем совершенствовании, отказаться от животной пищи, как дикие племена отказались от людоедства, соприкоснувшись с племенами более цивилизованными.

Если повиноваться чуть слышному, но неумолчному правдивому голосу нашего духа, неизвестно к каким крайностям или даже безумствам это может привести; и все же именно этим путем надо идти, но только набравшись решимости и стойкости. Ощущения одного здорового человека в конце концов возьмут верх над доводами и обычаями человечества. Никто еще не следовал внушениям своего внутреннего голоса настолько, чтобы заблудиться. Пусть даже результатом будет ослабление тела, сожалеть об этом нечего, потому что такая жизнь находится в согласии с высшими принципами. Если день и ночь таковы, что ты с радостью их встречаешь, если жизнь благоухает подобно цветам и душистым травам, если она стала радостнее, ближе к звездам и бессмертию, — в этом твоя победа. Тебя поздравляет вся природа, и ты можешь благословлять судьбу. Величайшие достижения обычно ценятся всего меньше. Мы легко начинаем сомневаться в их существовании. Мы скоро о них забываем. Между тем они-то и есть высочайшая реальность. Может быть, человек никогда не сообщает человеку самых поразительных и самых реальных фактов. Истинная жатва каждого моего дня столь же неуловима и неопишуема, как краски утренней и вечерней зари. Это — горсть звездной пыли, кусочек радуги, который мне удалось схватить.

Впрочем, сам я никогда не был чрезмерно брезглив. Иной раз, если нужно, я мог с аппетитом съесть жареную крысу. Я рад, что до сих пор пил одну лишь воду, по той же причине, по какой предпочитаю настоящее небо искусственному раю курильщика опиума. Я хотел бы всегда быть трезвым, а степеней опьянения бесконечно много. Я убежден, что единственным напитком мудреца должна быть вода, вино — куда менее благородная жидкость; а можно ведь утопить все утренние надежды в чашке кофе или вечерние — в стакане чая. Как низко я падаю, когда прельщаюсь ими! Опьянять может даже музыка. Эти, по-видимости пустяшные, причины погубили Грецию и Рим и погубят Англию и Америку. Если уж опьяняться, то лучше всего воздухом. Главным моим возражением против длительной грубой работы было то, что она вынуждала меня к грубой пище. Но сейчас, по правде говоря, я стал менее чувствителен к этим вещам. Я не молюсь за столом и не спрашиваю благословения на свою трапезу, — не потому, что стал мудрее, а потому что с годами, как это ни прискорбно, стал более безразличным и толстокожим. Быть может, только юность терзается этими вопросами, как, по мнению многих, только ей свойственно увлечение поэзией. Но дело не в моей практике, а в убеждениях, а их я изложил. Однако я далеко не склонен причислять себя к тем избранным, о которых говорится в Ведах: «Имеющий истинную веру в Вездесущее Верховное Существо может употреблять в пищу все»[215], иначе говоря, он не должен заботиться о том, какова его пища и кто ее приготовил; но даже и для них, как замечает один из индусских комментаторов, Веда допускают такое преимущество только «в голодный год».

Кому не случалось порой получать от своей пищи несказанное удовлетворение, не зависевшее от аппетита? Мне радостно было сознавать, что я обязан духовными озарениями такому низменному чувству, как вкус, что я мог вдохновляться через его посредство, что моя муза питалась ягодами, собранными на холме. «Когда душа не властна над собой, — говорит Цзэн Цзы, — мы смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим, едим и не ощущаем вкуса пищи»[216]. Кто различает истинный вкус своей пищи, не может быть обжорой; а кто не различает, того не назовешь иначе. Пуританин может съесть корку черного хлеба с той же жадностью, что олдермен — свой черепаховый суп. Не то, что входит в уста, оскверняет человека,[217] но аппетит, с каким поглощается пища. Дело не в качестве и не в количестве, а в смаковании пищи, когда человек ест не ради поддержания своей физической и духовной жизни, а только питает червей, которым мы достанемся. Если охотник любит черепах, ондатр и иные дикие лакомства, то знатная леди любит заливное из телячьих ножек или заморские сардины — одно другого стоит. Он ходит за ними на пруд, она — в кладовую. Удивительно, как они могут — и как мы с вами можем — жить этой мерзкой, животной жизнью, жить ради того, чтобы есть и пить.

Нравственное начало пронизывает всю нашу жизнь. Между добродетелью и пороком не бывает даже самого краткого перемирия. Добро — вот единственный надежный вклад. В музыке незримой арфы, поющей над миром, нас восхищает именно эта настойчиво звучащая нота. Арфа убеждает нас страховаться в Страховом обществе Вселенной, а все взносы, какие с нас требуются, это наши маленькие добродетели. Пусть юноша с годами становится равнодушен; всемирные законы не равнодушны; они неизменно на стороне тех, кто чувствует наиболее тонко. Слушай же упрек, ясно различимый в каждом дуновении ветерка; горе тому, кто не способен его услышать. Стоит только тронуть струну или изменить лад — и гармоническая мораль поражает наш слух. Немало назойливого шума на отдалении становится музыкой, великолепной сатирой на нашу жалкую жизнь.

Мы ощущаем в себе животное, которое тем сильнее, чем крепче спит наша духовная природа. Это — чувственное пресмыкающееся, и его, по-видимому, нельзя всецело изгнать, как и тех червей, которые водятся даже в здоровом человеческом теле. Мы, вероятно, можем держать его на отдалении, но не в силах изменить его природу. Я боюсь, что он живуч и по-своему здоров; и мы, значит, можем быть здоровы, но не чисты. Недавно я нашел нижнюю челюсть кабана с крепкими белыми зубами и клыками, говорившими о животной силе и мощи, независимой от духовного начала. Это создание преуспело в жизни любыми путями, только не воздержанием и чистотой. «Отличие человека от животного, — говорит Мэнций,[218] — весьма незначительно; люди заурядные скоро его утрачивают, люди высшей породы тщательно его сохраняют». Кто знает, как изменилась бы жизнь, если бы мы достигли чистоты? Если бы я знал человека, который мог бы научить меня этой чистой жизни, я тотчас же отправился бы к нему. Власть над страстями, над органами чувств и над добрыми делами Веды считают необходимой для того, чтобы наш дух мог приблизиться к богу. Однако дух способен на время побеждать и подчинять себе все органы и все функции тела и претворять самую грубую чувственность в чистое чувство любви и преданности. Половая энергия оскверняет и расслабляет нас, когда мы ведем распутную жизнь, но при воздержании является источником силы и вдохновения. Целомудрие есть высшее цветение человека и то, что зовется Гениальностью, Героизмом. Святостью, — все это является его плодами. Путями целомудрия человек тотчас устремляется к богу. Мы то возвышаемся,

благодаря целомудрию, то падаем, поддавшись чувственности. Блажен человек, уверенный, что в нем изо дня в день слабеет животное начало и воцаряется божественное. Но нет, должно быть, никого без постыдной примеси низменного и животного. Боюсь, что мы являемся богами и полубогами лишь наподобие фавнов и сатиров, в которых божество сочеталось со зверем; что мы — рабы своих appetitов и что сама жизнь наша в известном смысле оскверняет нас:

*Стократ блажен, кто покори́л зверей
И ди́кие леса срубил в душе своей.*

*Кто обуздал коня, и волка, и козла,
Не обратившись сам при том в осла.
Иначе в нем живет свиное стадо скверны
И даже нечто худшее безмерно —
Те бесы, что вселились в свиней[219].*

Чувственность едина, хоть и имеет много форм; и чистота тоже едина. Неважно, что́ делает человек — ест, пьет, совокупляется или наслаждается сном. Все это — аппетиты, и достаточно увидеть человека за одним из этих занятий, чтобы узнать, насколько он чувствен. Кто нечист, тот ничего не делает чисто. Если ловить гадину с одного конца ее норы, она высунется из другого. Если хочешь быть целомудренным, будь воздержан в еде. Что же такое целомудрие? Как человеку узнать, целомудрен ли он? Этому ему знать не дано. Мы слышали о такой добродетели, но не знаем, в чем ее суть. Мы судим о ней понаслышке. Труд рождает мудрость и чистоту; леность рождает невежество и чувственность. У ученого чувственность выражается в умственной лени. Человек нечистый — это всегда ленивец, любитель посидеть у печи, развалиться на солнышке, отдохнуть, не успевши устать. Чтобы достичь чистоты и отдалиться от греха, работай без усталости любую работу, хотя бы то была чистка конюшни. Победить природу трудно, но победить ее необходимо. Какой прок в том, что ты христианин, если ты не чище язычника, если ты не превосходишь его воздержанием и набожностью? Я знаю многие религии, считающиеся языческими, но их правила устыдили бы читателей и подали бы им пример, хотя бы в отношении выполнения обрядов.

Я с трудом решаюсь это говорить, но не из-за темы — непристойных слов я не опасаюсь, — а потому, что, говоря о них, выдаю свою скверну. Мы свободно и не стыдясь говорим об одной форме чувственности, но умалчиваем о другой. Мы так развращены, что не можем просто говорить о необходимых отправлениях тела. А в древние времена были страны, где каждая такая функция уважалась и регулировалась законом. Ничто не казалось ничтожным индусскому законодателю,[220] как бы оно ни оскорбляло современный вкус. У него были правила насчет еды, питья, половых сношений, опорожнения кишечника и мочевого пузыря и прочего; он возвышал низменное и не пытался лицемерно оправдываться, называя эти вещи пустяками.

Каждый из нас является строителем храма, имя которому — тело, и каждый по-своему служит в нем своему богу, и никому не дано от этого отделаться и вместо этого обтесывать мрамор. Все мы — скульпторы и художники, а материалом нам служит собственное тело,

кровь и кости. Все благородные помыслы тотчас облагораживают и черты человека, все низкое и чувственное придает им грубость.

Однажды сентябрьским вечером Джон Фермер уселся на пороге после тяжелого трудового дня, и мысли его все еще были заняты этим дневным трудом. Умывшись, он сел, чтобы дать отдых также и душе. Вечер был прохладный, и соседи опасались заморозков. Он недолго просидел так, когда услышал звуки флейты, и звуки эти удивительно гармонировали с его настроением. Он все еще думал о своей работе и невольно что-то в ней обдумывал и подсчитывал, но главным образом в его мыслях было другое: он понял, как мало эта работа его касается. Это была не более, чем верхняя кожица, которая непрестанно шелушится и отпадает. А вот звуки флейты доносились к нему из иного мира, чем тот, где он трудился, и будили в нем какие-то дремлющие способности. Они тихо отстраняли от него и улицу, и штат, где он жил. Некий голос говорил ему: зачем ты живешь здесь убогой и бестолковой жизнью, когда перед тобой открыты великолепные возможности? Те же звезды сияют и над другими полями. Но как уйти от своей жизни, как переселиться туда? И он сумел придумать только одно: жить еще строже и воздержнее, снизить духом до тела и очистить его и преисполниться к себе уважения.

Бессловесные соседи

Иногда на рыбной ловле мне составлял компанию один из наших горожан, приходивший ко мне через весь город, и тогда добывание обеда становилось таким же светским развлечением, как и самый обед.

Отшельник:[221] Что-то делается сейчас на свете? Вот уже часа три, как не слышно даже цикад в папоротнике. Голуби тоже уснули — даже крылом не взмахнут. А что это послышалось из-за леса — кажется, на ферме трубят к обеду? Батраки собираются приняться за солонину, сидр и кукурузные лепешки. К чему люди так себя утруждают? Кто не ест, тому и работать не надо. Хотел бы я знать, сколько они успели сжать. Как там жить, когда одна собака не даст тебе покоя лаем? А хозяйство? В такой благодатный день начищать черту дверные ручки и выскребать его кадки! Не захочешь иметь дом. Чем хуже дупло? Ни утренних визитов, ни званных обедов. Никто не постучит к тебе, кроме дятла. А там народ так и кишит. И солнце слишком уж припекает. И все слишком глубоко погрязли в житейском. У меня есть вода из источника и краюха черного хлеба на полке. Чу! Кто-то шуршит листвой. Должно быть, некормленный деревенский пес пришел поохотиться, или свинья, которая, говорят, где-то здесь заблудилась, — я видел ее следы после дождя. Все ближе и ближе — раскачивает мои сумахи и шиповник. А, это вы, господин поэт. Как вам нравится нынче жизнь?

Поэт: Взгляните на тучи — как они нависли. Ничего прекраснее я сегодня не видел. Вы не увидите подобного даже на картинах старых мастеров, и за границей тоже не увидите — разве что у побережья Испании. Настоящее средиземноморское небо. Я сегодня еще ничего не ел и должен добыть себе пропитание, вот я и решил поудить. Самое подходящее занятие для поэтов. Единственное ремесло, которому я обучен. Ну как, пойдём вместе?

Отшельник: Не могу устоять против такого искушения. Моего черного хлеба хватит ненадолго. Я скоро с удовольствием отправлюсь с вами, но мне надо сперва додумать одну серьезную мысль. Кажется, я уже близок к завершению. Поэтому оставьте меня покамест одного. А чтобы нам не терять время, займитесь пока делом — накопайте червей. Черви в этих местах редки — земля никогда здесь не удобрялась, и они перевелись. Копать червей почти так же интересно, как удить рыбу, если нет особого аппетита, а сегодня она вся достанется вам. Советую копать вон там, среди земляных орехов, где качается зверобой. Думаю, что могу гарантировать вам по одному червю на каждые три удара лопатой; надо только хорошенько осматривать корни трав, как при прополке. А если хотите пойти подальше, тоже будет неплохо; я заметил, что количество наживки увеличивается пропорционально квадрату расстояния.

Отшельник (оставшись один): Итак, на чем я остановился? Кажется, дело было так: мир представлялся мне под таким углом... Куда направиться — на небо или на рыбную ловлю? Если довести мои размышления до конца, представится ли еще такой отличный случай? Я,

как никогда, был близок к тому, чтобы раствориться в сущности вещей. Боюсь, что мысли ускользнули от меня. Я посвистал бы их назад, если б это могло помочь. Когда нам что-нибудь предлагают, разумно ли отвечать: мы подумаем? А теперь мысли мои разбежались, и я никак не могу отыскать их след. О чем же я думал? Какой-то смутный нынче день. Попробую эти три фразы из Конфуция, быть может, они вернут мне прежнее состояние духа. Не знаю, что это было: хандра или зарождение экстаза. *Мет* (не забыть — лат.). Каждый случай представляется нам лишь однажды.

Поэт: Ну как, Отшельник, я не слишком поспешил вернуться? Я набрал тринадцать червей, не считая нескольких поврежденных и мелких, но для мелкой рыбы и эти годятся; они не закрывают всего крючка. А деревенские черви чересчур велики; плотва может закусить таким червем и не добраться до крючка.

Отшельник: Что ж, отправимся. Куда же мы пойдем — на реку Конкорд? Там неплохой клев, если только вода не стоит слишком высоко.

Отчего мир состоит именно из этих вот предметов, видимых нам? Отчего человек соседствует именно с этими животными, словно вот эта щель предназначена именно для мыши? Я полагаю, что Пилпай и Ко[222] лучше всего использовали животных; ведь в некотором смысле все они — вьючные и несут какую-то часть наших мыслей.

Мыши, появлявшиеся у меня в доме, не были той обычной породы, которую, говорят, к нам завезли; это дикая местная порода, какая не водится в поселке. Я послал одну такую мышь известному натуралисту,[223] и она его очень заинтересовала. Когда я начал строиться, одна из них гнездилась под домом, и пока я не настлал пол и не вымел стружки, она всегда являлась к завтраку и подбирала крошки у моих ног. Должно быть, она никогда прежде не видела человека и скоро совсем ко мне привыкла: влезала мне на башмаки и забиралась по одежде. Она легко взбиралась на стены короткими прыжками, как белка, которую напоминала движениями. Однажды, когда я облокотился на верстак, она взобралась по моей одежде и по рукаву и забегала вокруг свертка с едой, который я держал; а когда я взял двумя пальцами кусок сыра, она уселась мне на руку и стала его грызть, потом умыла мордочку и лапки, как муха, и ушла.

Скоро у меня в сарае появилось гнездо чибиса, а на сосне возле дома поселилась малиновка. В июне куропатка (*Tetrao umbellus*), вообще очень пугливая птица, вышла из лесу за домом и провела мимо моих окон свой выводок; сзывая птенцов, она хлоптала по-куриному и во всем показала себя лесной курицей. Птенцы при вашем приближении бросаются враспынную по сигналу матери, точно их уносит вихрь, и так походят на сухие листья и сучки, что многие путники ступали прямо на выводок, слышали шум крыльев матери и ее тревожный зов или видели, как она волочила крылья по земле, стараясь отвлечь их внимание на себя, но так и не замечали птенцов. Наседка иногда вертится и вспархивает перед вами в таком взъерошенном виде, что вы не сразу распознаете, что это за существо. Птенцы замирают, прижавшись к земле и часто пряча голову под лист, и слушаются только указаний матери, которые она дает издали; при вашем приближении они не убегают, чтобы не выдать себя. Вы можете даже наступить на них или целую минуту смотреть прямо на них и не увидеть их. Мне случалось держать их на ладони, но и тут они

лежали спокойно и неподвижно, послушные только голосу матери и своему инстинкту. Этот инстинкт так в них силен, что когда я однажды положил их обратно на листья и один из них случайно перевернулся на бок, я через десять минут обнаружил его в том же положении. Большинство птенцов бывает вначале неоперившимися, а эти вылупляются более оформленными и развиваются быстрее, чем даже цыплята. Вам очень запоминается удивительно осмысленное и вместе с тем невинное выражение их широко раскрытых, спокойных глаз. В них словно отразился весь их ум. В них не только детская чистота, но и мудрость, проясненная опытом. Такие глаза не рождаются вместе с птицей — они одного возраста с небом, которое в них отражается. В лесах не сыщешь другой подобной драгоценности. Путнику не часто случается заглядывать в такой чистый источник. Невежественный или опрометчивый охотник часто подстреливает наседку, а птенчики достаются какому-нибудь зверю или птице или постепенно смешиваются с опавшими листьями, на которые они так похожи. Говорят, что едва вылупившись из яиц, они при первой тревоге разбегаются и часто гибнут, потому что не слышат голоса матери, которая их сзывает. Вот какие наседки и цыплята были на моей ферме.

Удивительно, сколько разных созданий живет в лесу свободно и дико, хотя и тайно, и добывает себе пропитание вблизи городов, никем не обнаруженные, кроме охотников. Выдра, например, ведет весьма скрытый образ жизни. Она вырастает до четырех футов в длину, т. е. с небольшого мальчика, и ухитряется не попасться на глаза ни одному человеку. Раньше в лесу, что позади моего дома, мне случалось видеть енота, и потом еще я слышал по ночам его ржание. В полдень, после работы на посадках, я обычно отдыхал час или два в тени, завтракал и немного читал у источника, из которого начинается болото и ручей, сочащийся из-под холма Бристер, в полумиле от моего поля. Путь туда лежал по лощинам, заросшим травой и молодым сосняком, а дальше, у болота, начинался уже настоящий лес. Там, в уединенном и тенистом месте, под раскидистой белой сосной, был отличный дерн и было удобно сидеть. Я выкопал там чистый колодец, где можно было зачерпнуть воды, не замутив ее, и для этого ходил туда летом почти каждый день, когда вода в пруду становилась слишком теплой. Туда же приводил свой выводок вальдшнеп, искать в грязи червей; он летел над ними вдоль берега ручья на высоте не более фута, а они гурьбой бежали по земле; увидев меня, он оставлял птенцов и начинал описывать вокруг меня круги, все ближе и ближе, до четырех-пяти футов, притворяясь подбитым, чтобы отвлечь на себя мое внимание и увести птенцов, которые, повинувшись приказам матери, гуськом уходили по болоту с тонким писком. Иногда я слышал писк птенцов, не видя матери. Горлицы тоже сидели над источником или порхали с сосны на сосну над моей головой; особенно смела и любопытна была рыжая белка, сбегавшая с ближайшего сука. Стоит достаточно долго посидеть в каком-нибудь привлекательном лесном уголке, как все его обитатели поочередно покажутся вам.

Приходилось мне наблюдать и не столь мирные сцены. Однажды, направляясь к своему дровяному складу, вернее, куче выкорчеванных пней, я увидел ожесточенную драку двух больших муравьев; один был рыжий, другой — черный, огромный, длиной почти в полдюйма. Они накрепко сцепились и катались по щепе, не отпуская друг друга. Осмотревшись, я увидел, что щепки всюду усеяны сражающимися, что это не *duellum*, *abellum* (дуэль — лат., война — лат.) — война двух муравьиных племен, рыжих против черных, и часто на одного черного приходилось по два рыжих. Полчища этих мирмидонян[224] покрывали все горы и

долы моего дровяного склада, и земля была уже усеяна множеством мертвых и умирающих, и рыжих и черных. То была единственная битва, какую мне довелось видеть, единственное поле боя, по которому я ступал в разгар схватки, — гражданская война между красными республиканцами и черными монархистами. Бой шел не на жизнь, а на смерть, но совершенно не слышно для меня, и никогда еще солдаты не дрались с такой решимостью. Я стал наблюдать за двумя крепко сцепившимися бойцами в маленькой солнечной долине между двух щепок; был полдень, а они готовы были биться до ночи или до смерти. Маленький красный боец обхватил противника точно тисками и, падая и перекатываясь вместе с ним по полю битвы, все время старался отгрызть ему второй усик — с одним он уже разделался; а его более сильный черный противник кидал его из стороны в сторону, и, приглядевшись, я увидел, что он уже откусил ему несколько конечностей. Они сражались с бóльшим упорством, чем бульдоги. Ни один не собирался отступать. Их девизом явно было «Победить или умереть»[225]. Тем временем на склоне холма появился одинокий красный муравей, очень возбужденный, который или расправился с противником, или еще не вступал в битву — скорее последнее, потому что все ноги были у него целы, — должно быть, мать наказала ему вернуться на щите или со щитом[226]. Или, быть может, то был какой-нибудь Ахиллес, который пребывал наедине со своим гневом, а сейчас шел отомстить за Патрокла или спасти его. Он издали увидел неравный бой — ибо черные были почти вдвое крупнее красных — быстро приблизился, пока не оказался в полудюйме от сражавшихся, а тогда, улучив момент, кинулся на черного бойца и начал операции над его правой передней ногой, предоставив ему выбирать любой из собственных членов; и вот их было уже трое, навеки соединенных какой-то особой силой, что крепче всех замков и всякого цемента. Сейчас я уже не удивился бы, если бы на одной из высоко лежащих щепок оказались военные оркестры, исполнявшие национальные гимны, чтобы ободрить бойцов и утешить умирающих. Я тоже чувствовал волнение, словно передо мной были люди. Чем больше над этим думаешь, тем разница кажется меньше. Во всяком случае, в истории Конкорда, если не в истории Америки, не записано сражения, которое могло бы сравниться с этим как числом бойцов, так и их патриотизмом и героизмом. По грандиозности и кровопролитности то был настоящий Аустерлиц или Дрезден[227]. Что в сравнении с этим битва при Конкорде! Со стороны патриотов двое убитых и один раненый — Лютер Бланшар! Да здесь каждый муравей был Баттриком[228]. «Огонь, огонь, во имя бога!» — и тысячи бойцов разделяют судьбу Дэвиса и Хосмера. И ни одного наемного солдата. Я убежден, что они дрались из принципа, как и наши предки, а не ради отмены трехпенсовой пошлины на чай, и результаты этой битвы будут важны и памятны всем причастным к ней не меньше, чем следствия битвы при Банкер Хилле[229]

Я поднял щепку, на которой сражались трое описанных мною бойцов, отнес ее в дом и положил на подоконник, прикрыв стаканом, чтобы наблюдать исход боя. Поглядев в лупу на первого из красных муравьев, я увидел, что он отгрызает переднюю ножку врага и уже откусил ему второй усик; но собственная его грудь была вся растерзана челюстями черного воина, чью толстую броню он, очевидно, не в силах был прокусить; темные глаза страдальца горели свирепостью, какую рождает только война. Они еще полчаса сражались под стаканом, а когда я взглянул снова, черный воин успел откусить головы обоим своим противникам, и эти головы, еще живые, висели как жуткие трофеи на луке его седла, вцепившись в него той же мертвой хваткой; а он слабыми движениями пытался от них освободиться, ибо сам был без усиков, с одной половинкой ноги и бесчисленными ранениями;

еще через полчаса это ему, наконец, удалось. Я перевернул стакан, и калека уполз с подоконника. Не знаю, выжил ли он и провел ли остаток своих дней в каком-нибудь Hôtel des Invalides,[230] но было ясно, что он уже мало на что годился. Я так и не узнал, кому досталась победа и что послужило причиной войны, но весь день я был взволнован так, словно у моего порога разыгралась настоящая людская битва, со всей ее кровавой жестокостью.

Керби и Спенс сообщают, что муравьи издавна известны своими войнами, и даты многих этих войн записаны очевидцами, хотя из современных авторов единственным их свидетелем был Юбер[231] «Эней Сильвий,[232] — пишут они, — подробно описав одну такую упорную битву между мелкой и крупной разновидностями, разыгравшуюся на стволе груши», добавляет, что она «произошла во время понтификата Евгения IV, и присутствовал при ней известный адвокат Николай из Пистойи, рассказавший о ней с величайшей точностью». Подобное сражение между мелкими и крупными муравьями описано у Олауса Магнуса;[233] победившие в нем мелкие муравьи, как говорят, схоронили тела своих убитых, а гигантские тела своих врагов оставили на съедение птицам. Это произошло незадолго до изгнания из Швеции тирана Христиана II. Наблюдавшееся мною сражение произошло в президентство Полка, за пять лет до проведения закона Вебстера о беглых рабах.[234]

Не один деревенский пес, способный разве только изловить черепаху в погребке, тяжело прыгал по лесу без ведома хозяина и безуспешно вынюхивал старые лисьи и сурковые норы; увязавшись за какой-нибудь юркой маленькой собачонкой, проворно шнырявшей по лесу и способной внушать страх его обитателям, он далеко отставал от своего вожака и с бычьим упрямством облаивал маленькую белку, занявшую наблюдательный пункт на дереве, или, ломая своей тяжестью кусты, воображал, что выслеживает какого-нибудь отбившегося от стаи тушканчика. Однажды я с изумлением увидел на каменистом берегу пруда кошку — они редко уходят так далеко от дома. Удивление было взаимным. Но даже самая домашняя кошка, весь свой век пролежавшая на ковре, чувствует себя в лесу, как дома, и крадется искуснее и осторожнее, чем его коренные жители. Однажды, собирая в лесу ягоды, я повстречал кошку с котятами, совершенно одичавшими; все они, по примеру матери, выгнули спины и свирепо зафыркали на меня. За несколько лет до того, как я поселился в лесу, на ферме м-ра Джилиана Бейкера в Линкольне — той, что ближе всего к пруду, — жила так называемая «крылатая кошка». Когда в июле 1842 г. я зашел взглянуть на нее, она, по своему обыкновению, охотилась в лесу (не знаю, был ли то кот, или кошка, а потому употребляю более обычное местоимение), а хозяйка рассказала, что она появилась возле дома за год с лишком до этого, в апреле, и они в конце концов взяли ее в дом; что цвет ее был темный, коричневато-серый, на груди и на концах лап белые пятна, и пушистый, как у лисы, хвост; что зимой ее мех становится гуще и образует на боках полосы длиной в 10-12 дюймов, шириной — в два с половиной, а под горлом — нечто вроде муфты, сверху отстающей, а снизу плотно свалывшейся, как войлок; весной эти придатки отваливаются. Мне дали пару ее «крыльев», которые я храню до сих пор. Никаких перепонки на них нет. Некоторые считали, что она была помесью с летягой или другим лесным зверьком, и это вполне вероятно, потому что натуралисты сообщают о гибридах куницы и домашней кошки, способных производить потомство. Это была бы подходящая для меня кошка, если бы я решил обзавестись кошкой — отчего бы поэту не иметь крылатой кошки впридачу к крылатому коню?[235]

Осенью, как обычно прилетела полярная гагара (*Colymbus glacialis*); она линяла и купалась в пруду и до света оглашала лес диким хохотом. Прослышав о ней, все охотники с Мельничной плотины суеются и прибывают, пешком и в шарабанах, по двое, и по трое, с шумом листопада, вооружившись патентованными ружьями, коническими пулями и биноклями, не менее чем по десять человек на каждую гагару. Одни занимают позиции на этом берегу, другие — на противоположном; не может же несчастная птица быть вездесущей — если она нырнет здесь, то должна вынырнуть там. Но вот подымается милосердный октябрьский ветер, шелестя листвой и морща поверхность воды, так что гагары не видно и не слышно, хотя ее враги озирают пруд в бинокли и сотрясают лес выстрелами. Волны вздымаются и сердито бьют о берег, великодушно беря под свою защиту всех водоплавающих птиц, и нашим охотникам приходится отступить в город, вернуться в свои лавки и к своим неоконченным делам. Но слишком часто у них бывают и удачи. Идя рано утром по воду, я часто видел, как величавая птица выплывала из моей бухты совсем близко от меня. Если я пытался догнать ее в лодке, чтобы посмотреть, как она будет маневрировать, она ныряла и скрывалась из виду, так что я ее больше не видел, иногда до конца дня. Но на поверхности воды я мог ее догнать. Во время дождя ей обычно удавалось уйти.

Однажды я греб вдоль северного берега в очень тихий октябрьский день, именно в такой день, когда они особенно любят садиться на озера, точно пушок молокана, и долго напрасно оглядывал пруд в поисках гагары, как вдруг одна из них выплыла на середину прямо впереди меня и выдала себя диким хохотом. Я пустился за ней, и она нырнула, но когда вынырнула, оказалась еще ближе ко мне. Она нырнула снова, но тут я не сумел рассчитать направление, и теперь между нами, когда она поднялась на поверхность, было более 600 футов, ибо я сам помог увеличить это расстояние; и она снова захохотала громко и длительно, на этот раз с бóльшим основанием, чем прежде. Она маневрировала так искусно, что не подпускала меня даже на сотню футов. Каждый раз, показываясь на поверхности, она поворачивала голову во все стороны, хладнокровно осматривала воду и сушу и, видимо, выбирала направление, чтобы вынырнуть там, где водный простор был всего шире, а лодка — всего дальше. Удивительно, как быстро она принимала решение и осуществляла его. Она сразу завела меня на самую широкую часть пруда, и выманить ее оттуда никак не удавалось. Пока она обдумывала свой ход, я старался его разгадать. На гладкой поверхности пруда разыгралась интересная партия — человек против гагары. Шашка противника неожиданно ныряет под доску, а тебе надо сделать такой ход, чтобы очутиться возможно ближе к месту, где она вынырнет. Иногда она вдруг появлялась с другой стороны, и было ясно, что она ныряла под лодку. Она была так неутомима и так долго могла оставаться под водой, что сколько бы она ни плыла, она тотчас же могла снова погрузиться в воду, и тогда никто не сумел бы угадать, в каком месте глубокого пруда, под гладкой поверхностью она скользит, как рыба, потому что у нее хватало времени и способности нырнуть до дна в самом глубоком месте. Говорят, что в озерах штата Нью-Йорк случалось ловить гагар на глубине 80 футов на крючки для форели — правда, Уолден еще глубже. Как должны удивляться рыбы при виде этого нескладного посетителя из другого мира, плывущего среди их стай! Однако же она, как видно, так же хорошо знала дорогу под водой, как и на поверхности, а плыла там гораздо быстрее. Раз или два я увидел рябь там, где она приближалась к поверхности, на миг высовывала голову для разведки и тотчас ныряла снова. Оказалось, что мне лучше класть весла и ждать ее появления, чем пытаться

рассчитать, где она вынырнет; много раз, когда я напряженно высматривал ее впереди себя, ее дьявольский хохот раздавался у меня за спиной. Но отчего, проявив столько хитрости, она всякий раз, появляясь над водой, выдавала себя этим громким хохотом? Ее и без того выдавала издали ее белая грудь. Я решил, что это глупая гагара. Кроме того, когда она всплывала, я слышал плеск воды, и это тоже ее выдавало. Но спустя час она была все так же свежа, ныряла так же проворно и уплывала еще дальше. Удивительно, как спокойно она уплывала, когда выходила на поверхность, работая под водой перепончатыми лапами. Чаще всего она издавала свой демонический хохот, чем-то все же похожий на крик водяных птиц; но изредка, когда ей удавалось надуть меня особенно успешно и выплыть подальше, она испускала долгий вой, больше похожий на волчий, чем на птичий — точно волк прильнул мордой к земле и нарочно завыл. Это и есть ее настоящий крик — быть может, самый дикий из всех здешних звуков, далеко разносящийся по лесу. Я решил, что она смеется над моими, стараниями, до того она уверена в своих силах. Небо к тому времени затянуло тучами, но пруд был так спокоен, что я видел, где она разбивает водную гладь, даже когда не слышал ее. Ее белая грудь и тишина в воздухе и на воде — все было против нее. Наконец, вынырнув футах в шестистах, она испустила вой, точно взывая к богу всех гагар, — и тотчас же подул ветер с востока, по воде пошла рябь, все затянуло сеткой мелкого дождя; я решил, что молитва гагары услышана и ее бог разгневан на меня, и я дал ей скрыться на взволнованной поверхности.

Осенью я часами следил за хитроумными галсами и поворотами уток, державшихся на середине пруда, подальше от охотников, — эти трюки не понадобились бы им в заболоченных речных заливах Луизианы. Если их вынуждали взлетать, они делали над прудом круги на значительной высоте, где они казались черными точками и могли обозревать другие пруды и реку, а когда я уже думал, что они давно улетели, они наискось опускались на дальнюю, безопасную часть пруда; но что, кроме безопасности, они находили на середине Уолдена, я не знаю — разве что они любят его воду по той же причине, что и я.

Новоселье

В октябре я ходил за виноградом на приречные луга и набирал гроздья, отличавшиеся более красотой и ароматом, чем вкусовыми качествами. Я любовался также — хотя и не собирал ее — ягодами клюквы, маленькими восковыми драгоценностями, жемчужно-румяными сережками, оброненными в траву, которые фермер сгребает уродливыми граблями, взъерошивая весь луг, грубо меряет на бушели и доллары и продает эту награбленную в лугах добычу Бостону и Нью-Йорку — на варенье, предназначенное для тамошних любителей природы. Безжалостный мясник так же выдирает языки бизонов из травы прерий, растерзав все растение. Красивейшими ягодами барбариса я тоже насыщал только свой взор; зато я набрал некоторый запас диких яблок, которыми пренебрег хозяин и прохожие, — они годятся в печеном виде. Когда поспели каштаны, я запас их полбушеля на зиму. В это время года отлично было бродить по тогдашним огромным каштановым рощам Линкольна — сейчас они уснули вечным сном под рельсами[236] железной дороги — бродить с мешком за плечами и палкой в руке, чтобы разбивать каштаны, потому что я не всегда дожидался заморозков; бродить под шорох листвы и громкий ропот рыжих белок и соек, у которых я иногда похищал полусъеденные каштаны, зная, что они отбирают только лучшие. Иной раз я влезал на дерево и тряс его. Каштаны росли и у меня за домом; одно большое дерево, над самым домом, в пору цветения благоухало на всю округу, но плоды почти все доставались белкам и сойкам: последние слетались по утрам целыми стаями и выклевывали плоды из колючей оболочки, прежде чем они падали. Я отдал это дерево в их распоряжение и стал ходить в более дальние рощи, состоявшие из одних каштанов. Они неплохо заменяли хлеб. Вероятно, хлебу можно найти еще много заменителей. Однажды, копая червей для наживки, я обнаружил земляной орех (*Apios tuberosa*), заменявший туземцам картофель, — плод почти мифический, так что я стал сомневаться, приходилось ли мне в детстве выкапывать и есть его, и не приснился ли он мне во сне. Я нередко видел, но не узнавал его гофрированный бархатистый красный цветок, опирающийся на стебли других растений. С тех пор как земля стала возделываться, он почти вывелся. У него сладковатый вкус, как у подмороженного картофеля, и я нахожу его вкуснее в вареном виде, чем в жареном. В его клубнях я увидел смутное обещание того, что Природа когда-нибудь прокормит здесь своих детей подобной простой пищей. В наши дни откормленного скота и колющихся полей этот скромный корнеплод, некогда «тотем» индейского племени, совсем позабыт или известен только как цветок. Но стоит Природе снова здесь воцариться, и роскошные прихотливые английские злаки, оставшись без присмотра человека, вероятно, будут вытеснены множеством соперников, и ворон отнесет последнее зерно кукурузы на великое поле индейского бога на юго-западе, откуда он, говорят, некогда принес его; а почти исчезнувший земляной орех, не боящийся заморозков и сорняков, возродится и войдет в силу, докажет, что он здесь — свой, и вернет себе славу главного кормильца охотничьего племени. Должно быть, его создала и даровала людям какая-нибудь индейская Церера или Минерва, а когда здесь наступит век поэзии, его листья и гроздья клубней будут изображаться нашим искусством.

Уже к 1 сентября я заметил на дальнем берегу пруда, на мысу, у самой воды, там, где расходятся из одного корня белые стволы трех осин, два-три совершенно красных молодых клена. О, эти краски! Как много дум они наводят[237]. С каждой неделей деревья постепенно проявляли свой характер и любовались на себя в гладком зеркале пруда. Каждое утро хранитель этой галереи заменял одну из старых картин какой-нибудь новой, более яркой и гармонической по колориту.

В октябре к моей хижине тысячами слетались осы, как на зимнюю квартиру, и садились с внутренней стороны на окна или на стены, иной раз отпугивая моих гостей. По утрам, когда они от холода цепенели, я выметал часть их наружу, но не очень старался от них избавиться; мне даже льстило, что они считали мой дом столь завидным приютом. Они не причиняли мне особых неудобств, хотя и спали со мной; а потом они постепенно скрылись, не знаю уж в какие щели, спасаясь от зимы и настоящих холодов.

Я тоже, подобно осам, прежде чем окончательно уйти на зимовку в ноябре, облюбовал северо-восточный берег Уолдена, где солнце, отражаясь от соснового леса и каменистого берега, грело, как камин; а ведь гораздо приятнее и здоровее греться, пока возможно, под солнцем, чем у искусственного огня. И я грелся у еще тлеющего костра, который лето оставило после себя, как ушедший охотник.

Когда я начал класть печь, я изучил искусство кладки. Кирпичи мои были не новые, и требовалось очищать их лопаткой, так что я немало узнал о качествах и кирпича, и лопаток. Известковый раствор на них был 50-летней давности, и говорят, что он еще продолжал твердеть, но это одно из тех мнений, которые люди любят повторять, не заботясь об их достоверности. Сами эти мнения с годами твердеют и держатся все крепче, так что надо немало колотить лопаткой, чтобы очистить от них какого-нибудь старого умника. В Месопотамии многие деревни выстроены из отличного старого кирпича, добытого, на развалинах Вавилона, а ведь на них раствор еще старше и, вероятно, крепче. Как бы то ни было, меня поразила крепость стали, которая выдерживала столько сильнейших ударов. Из моих кирпичей и раньше была сложена печь, хотя я и не прочел на них имени Навуходоносора;[238] поэтому я старался выбрать побольше именно уже послуживших кирпичей, чтобы сэкономить труд; промежутки я закладывал камнями с берега пруда, а раствор замешал на белом песке, взятом оттуда же. Больше всего времени я потратил на очаг, ибо это — сердце дома. Я работал так неспешно, что, начав с утра, к вечеру выложил лишь несколько дюймов в высоту; это возвышение послужило мне подушкой, но не помню, чтобы от нее у меня заболела шея. Шея у меня действительно не любит гнуться, но это свойственно мне уже давно. В то время я на две недели приютил у себя поэта,[239] и надо было подумать, где его поместить. Он взял с собой нож, хотя и у меня их было два, и мы чистили их, втыкая в землю. Он делил со мной тяготы стряпни. Приятно было видеть, как постепенно росла моя прочная печь — пускай медленно, зато надолго. Печь — это своего рода независимое сооружение, стоящее на земле и подымающееся над домом к небесам. Она остается иногда и после того, как дом сгорел, и тогда ее важность и независимость становятся очевидны. Я начал сооружать ее в конце лета. А сейчас был ноябрь.

Северный ветер уже начал студить воду, хотя для этого ему пришлось упорно дуть несколько недель — так глубок наш пруд. Когда я стал по вечерам топить печь, тяга была

особенно хороша, благодаря многочисленным щелям между досками. И все же я провел немало приятных вечеров в этом прохладном помещении, где стены были из неструганных сучковатых досок, потолок — из не очищенных от коры балок. Мой дом нравился мне гораздо меньше после того, как я его оштукатурил, хотя, надо признаться, он стал удобнее. Разве не следует всем жилым помещениям быть достаточно высокими, чтобы под кровлей сгущался сумрак, и по балкам вечерами могли играть и перебегать тени? Они больше говорят воображению, чем фрески или самая дорогая обстановка. Свой дом я начал по-настоящему обживать лишь, когда стал искать в нем не только крова, но и тепла. У меня была пара старых таганов, чтобы класть дрова, и очень приятно было смотреть, как на очаге, сложенном моими руками, собиралась копоть, и я помешивал в огне с бóльшим правом и удовлетворением, чем обычно. Дом мой был мал, и я не мог пригласить туда эхо, но он казался больше оттого, что состоял всего из одной комнаты и стоял уединенно. Все было тут вместе: кухня, спальня, гостиная и столовая; все приятное, что имеют от дома родители и дети, хозяева и слуги, получал я сам. Катон говорит, что глава семьи (*pater familias*) должен иметь в своем сельском доме «cellam oleariam, vinariam, dolia multa, uti lubeat caritatem expectare, et rei, et virtuti, et gloriae erit», т. е. «погреб для масел и вин, притом побольше бочек, чтобы быть спокойным, если наступят трудные времена; и это послужит ему к выгоде и чести и славе»[240]. У меня в погребе была мерка картофеля, около двух кварт гороха, зараженного долгоносиком, а на полке — немного риса, кувшин патоки и по четверти бушеля ржаной и кукурузной муки.

Мне иногда рисуется в мечтах более просторный и людный дом, дом Золотого века, выстроенный прочно, без пряничных украшений, который состоял бы всего из одной комнаты — большой, поместительной залы без потолка и штукатурки, чтобы балки и обрешетины держали над ней как бы нижнее небо — защиту от дождя и снега; где, войдя, вы кланяетесь почтенной стропильной бабке, а переступая порог, — поверженному Сатурну[241] прежней династии; дом высокий, как пещера, где надо поднять факел на шесте, чтобы разглядеть кровлю; где можно поселиться в камине, в углублениях окон или на лавках вдоль стен, одним — в одном конце обширного покоя, другим — в другом, а если вздумается, то и на балках, вместе с пауками; дом, куда попадаешь сразу же, как откроешь входную дверь, без всяких церемоний; где усталый путник может помыться, поесть, побеседовать и уснуть, все в одном месте; убежище, которому радуешься в ненастную ночь; дом, где есть все необходимое для дома и ничего для домашнего хозяйства; где можно сразу обозреть все богатства и все нужное висит на гвоздиках; где у вас и кухня, и кладовая, и гостиная, и спальня, и склад, и чердак, где найдется такая нужная вещь, как бочонок или лестница, и такое удобство, как стенной буфет; где можно слышать, как кипит горшок и приветствовать огонь, на котором варится ваш обед, и печь, где выпекается ваш хлеб; где главным украшением служит необходимейшая утварь; где никогда не угасает ни огонь, ни веселость хозяйки; где вас могут попросить подвинуться, чтобы кухарка могла слазить в погреб через люк, и поэтому не надо топтать ногой, чтобы определить, что под вами — земля или пустота. Дом, весь видный внутри, как птичье гнездо, где нельзя войти с переднего крыльца и выйти с заднего, не встретившись с кем-нибудь из обитателей; где гостю предоставляется весь дом, а не одиночная камера в какую-нибудь одну восьмую его площади, в которой его просят быть «как дома», — в одиночном заключении. В наше время хозяин не допускает вас к своему очагу; он заказывает печнику особый очаг для вас, где-нибудь в проходе, и гостеприимство состоит в том, чтобы держать вас *на расстоянии*. Кухня

облечена такой тайной, словно он намерен вас отравить. Я знаю, что побывал во многих частных владениях, откуда меня могли законно попросить о выходе, но что-то не помню, чтобы бывал во многих *домах*. Я мог бы, если бы мне было по пути, навестить в своей старой одежде короля с королевой, если бы они жили простой жизнью в таком доме, как я описал; но если я когда-нибудь попаду в современный дворец, мне захочется только одного: пятаться задом,[242] поскорее оттуда выбраться.

В наших гостиных самый язык теряет свою силу и вырождается в бессмысленную болтовню — так далека наша жизнь от его основ и так холодны метафоры и тропы, успевающие остыть, пока доставляются на подъемниках: иными словами, гостиная бесконечно далека от кухни и мастерской. Да и обед обычно бывает лишь иносказанием. Выходит, что только дикарь живет достаточно близко к Природе и Истине, чтобы заимствовать у них тропы. А может ли ученый, живущий где-нибудь на северо-западной территории или на острове Мэн, определить, что принадлежит кухне, а что гостинной?

Впрочем, лишь один-два из моих гостей отважились когда-либо остаться отведать моего пудинга на скорую руку; видя приближение этого события, они предпочитали скорый уход, словно оно грозило потрясти дом до основания. Однако он выдержал немало таких пудингов.

Я не штукатурил стен, пока не начались морозы. Для этого я доставил с другого берега самый белый и чистый песок; я привез его в лодке — а в ней я готов плыть и гораздо дальше, если бы понадобилось. Предварительно я со всех сторон покрыл дом дранкой. Прибивая ее, я с удовольствием убедился, что умею всадить гвоздь одним ударом молотка; накладывая штукатурку мне тоже хотелось быстро и аккуратно. Я вспомнил одного самонадеянного малого, который любил разгуливать по поселку в праздничной одежде и давать рабочим советы. Решившись однажды перейти от слов к делу, он засучил рукава, взял «соколов», набрал на лопатку раствора, самодовольно взглянул вверх на стену и смело занес руку, но тут же, к полному своему замешательству, вывалил все содержимое лопатки на свою нарядную рубашку. Я вновь убедился в удобстве и экономичности штукатурки, которая так хорошо защищает от холода и придает дому такую красивую законченность, и узнал на опыте все злоключения, каким подвержен штукатур. Я с удивлением увидел, как жадно кирпичи выпивают всю влагу из раствора прежде, чем успеешь его разровнять, и сколько надо ведер воды, чтобы окрестить новый очаг. Предыдущей зимой я приготовил в виде опыта немного извести, сжигая ракушки *Unio fluviatilis*, которые водятся в нашей реке, так что я знал, откуда беру свои строительные материалы. Я мог бы, если бы захотел, достать хороший известняк милях в двух от дома и сам его обжечь.

Между тем уже за несколько дней или даже недель до настоящих морозов самые мелкие и тенистые бухты пруда подернулись льдом. Первый лед особенно интересен и хорош — он твердый, темный и прозрачный и лучше всего позволяет разглядеть дно в мелких местах; можно лечь на лед всего в дюйм толщиной, как лежит жук-водомерка на поверхности воды, и сколько угодно рассматривать дно, которое от тебя всего в двух-трех дюймах, точно картину под стеклом, потому, что вода под ним всегда неподвижна. В песке много бороздок, проделанных какой-нибудь тварью, которая там ползала, стараясь запутать свои следы; а вместо обломков крушений дно усыпано пустыми коконами веснянки, состоящими из мелких

зерен белого кварца. Может быть, они-то и начертили бороздки, потому что некоторые из коконов лежат как раз в этих бороздках, хотя они, казалось бы, не могли проделать таких широких и глубоких. Но интереснее всего сам лед, и изучать его надо именно в первые дни. Если рассматривать его внимательно в первое же утро, как он образуется, — окажется, что большинство пузырьков, которые сперва могут показаться вмерзшими в лед, на самом деле находится под ним, и со дна все время поднимаются новые; а лед пока еще темноватый и ровный, и сквозь него видна вода. Эти пузырьки имеют в диаметре от 1/80 до 1/8 дюйма; они очень светлы и красивы и отражают твое лицо сквозь лед. Их бывает до 30–40 на квадратный дюйм. Кроме того, внутри льда видны удлиненные, перпендикулярно стоящие пузырьки — узенькие конусы, обращенные остриями вверх; но в свежем льду чаще встречаются крохотные круглые пузырьки, один над другим, точно нитки бус. Однако пузырьки, заключенные в самом льду, не так многочисленны и не так ясно видны, как те, что под ним. Я иногда бросал камни, испытывая прочность льда, и те камни, что пробивали лед, открывали доступ воздуху, который образовывал очень крупные белые пузыри. Однажды я вернулся на то же место через сорок восемь часов, и эти крупные пузыри полностью сохранились, хотя льдаросло еще на дюйм, что было ясно видно по рубцу, оставшемуся в его толще. Но последние два дня были очень теплыми, точно бабье лето, и лед утратил прозрачность, через которую виднелась темно-зеленая вода и дно; теперь он был непрозрачный и серовато-белый; он стал вдвое толще, но едва ли прочнее, потому что воздушные пузыри сильно расширились под действием тепла, слились и потеряли правильность очертаний; они уже не стояли один над другим, а ложились один на другой, словно серебряные монеты, высыпанные из мешка, или лежали тонкими хлопьями, как бы заполняя мелкие трещины. Красота льда исчезла, и рассматривать дно было уже нельзя. Желая узнать, как расположились крупные пузыри по отношению к новому льду, я выломал кусок, в котором был пузырь средних размеров, и перевернул его. Новый лед образовался вокруг пузыря и под ним, так что он был заключен между двумя слоями льда. Он целиком лежал в нижнем слое, но был прижат к верхнему и слегка сплюснут, т. е. приобрел как бы форму линзы с округленными краями, толщиной в четверть дюйма, а диаметром в четыре; и я с удивлением увидел, что под самым пузырем лед симметрично подтаял в форме опрокинутого блюдца, которое в середине достигало примерно 5/8 дюйма; между водой и пузырем оставался тонкий слой, в какую-нибудь восьмую дюйма, но во многих местах мелкие пузырьки в этом слое прорвались вниз, так что под самыми крупными пузырями, диаметром в фут, вероятно, совсем не было льда. Я сделал отсюда вывод, что бесчисленные маленькие пузырьки, которые я вначале наблюдал под поверхностью льда, теперь также вмерзли в него и что каждый из этих пузырьков сыграл роль зажигательного стекла, помогая растопить лед изнутри. Это те крохотные духовые ружья, благодаря которым лед издает треск и кряхтенье.

Наконец, как раз когда я кончил штукатурить, настала настоящая зима, и ветер принялся завывать вокруг дома, точно раньше не имел на это дозволения. Каждую ночь, в темноте, когда земля уже покрылась снегом, тяжело прилетали гуси, трубя и свистя крыльями; одни садились на пруд, другие низко пролетали над лесом к Фейр-Хэвену, на пути в Мексику. Несколько раз, возвращаясь из поселка часов в 10–11 вечера, я слышал, как стая гусей или уток ходит по сухим листьям в лесу за домом, у лужи, куда они приходили кормиться, и как вожак поспешно уводит их с негромким кряканьем. В 1845 г. Уолден впервые замерз целиком в ночь на 22 декабря, а Флинтов пруд и другие, более мелкие пруды и река — дней

на десять раньше; в 1846 г. он замерз 16-го; в 1849 — примерно 31-го, в 1850 — около 27 декабря; в 1852 — 5 января; в 1853 — 31 декабря. Снег покрыл землю уже с 25 ноября, и меня сразу окружил зимний пейзаж. Я глубже заполз в свою скорлупу, стараясь поддерживать жаркий огонь и в доме, и в груди. Теперь у меня была другая работа на воздухе: собирать в лесу валежник и приносить его на спине в вязанках или волоком тащить сухие сосны под свой навес. Моей главной добычей была старая лесная изгородь, выдавшая лучшие дни. Я принес ее в жертву Вулкану, ибо она уже не могла больше служить Термину[243]. Насколько интереснее становится ужин, если ты только что нашел, вернее, украл в снегу топливо, чтобы его приготовить! Хлеб и мясо становятся от этого вкуснее. В большинстве пригородных лесов найдется достаточно валежника и сухостоя для множества очагов, но пока он никого не согревает и, как говорят некоторые, мешает росту молодого леса. На Уолдене был также сплавной лес. Летом я нашел на нем плот из неошкуренных сосновых бревен, сбитый ирландцами, когда они строили железную дорогу. Я наполовину вытащил его на берег. Пробыв два года в воде, а потом полгода на суше, он был совершенно цел, но настолько пропитался водой, что высушить его было нельзя. Однажды зимой я доставил себе развлечение: переправил его по частям через пруд, почти за полмили. Я либо скользил по льду, толкая перед собой пятнадцатифутовое бревно, один конец которого клал себе на плечо, либо связывал по несколько бревен березовым прутот и тащил их с помощью длинной березовой или ольховой хворостины с крюком на конце. Хотя они были пропитаны водой и тяжелы, как свинец, они горели и долго, и очень жарко; мне даже казалось, что они от этого горят лучше; что смола, окруженная водной оболочкой, горит дольше, как будто в светильне.

Гилпин,[244] рассказывая о жизни лесной пограничной полосы в Англии, пишет, что «самовольные порубки для постройки домов и оград на опушках леса» «считались по старым лесным законам тяжелыми проступками и сурово карались, ибо способствовали *ad terrorem ferarum — ad nocumentum forestae*», т. е. распугивали дичь и вредили лесу. Но я был заинтересован в сохранении дичи и леса больше охотников и лесорубов, точно был самым лордом-хранителем лесов; и если где-то случался пожар, хотя бы я сам его нечаянно вызывал, я горевал дольше и безутешнее, чем владельцы; горевал даже тогда, когда сами владельцы производили порубку. Хорошо бы нашим фермерам ощущать при рубке леса хоть часть того страха, какой испытывали древние римляне, когда им приходилось прорезживать священную рощу, чтобы впустить в нее свет (*Lucum conlucare*), и верить, подобно римлянам, что она посвящена какому-нибудь божеству. Чтобы его умиловать, римлянин приносил жертву и молился: кто бы ты ни был, о бог или богиня этой рощи, будь милостив ко мне, к моей семье и детям и т. д.

Удивительно, как ценится лес даже в наш век и в нашей новой стране — ценность его устойчивее цены золота. При всех наших открытиях и изобретениях, никто не проходит равнодушно мимо кучи дров. Лес так же дорог нам, как нашим саксонским и норманским предкам. Они делали из него луки, а мы делаем ружейные стволы. Более 30 лет назад Мишо[245] писал, что цена на дрова в Нью-Йорке и Филадельфии «почти такая же, а порой и выше, чем на лучшие дрова в Париже, хотя эта огромная столица ежегодно потребляет их более 300 тысяч кордов,[246] и на триста миль вокруг нее тянутся одни лишь возделанные поля». В нашем городе цена на дрова почти непрерывно растет и мы задаем лишь один вопрос: на сколько дороже они будут в этом году, чем в прошлом. Рабочие и ремесленники,

которые сами ходят в лес только за этим, непременно приходят и на дровяную распродажу и даже немало платят за право подбирать щепки за лесорубами. Вот уже много лет люди идут в лес за топливом и за материалом для поделок; жителю Новой Англии и Новой Голландии, парижанину и кельту, фермеру и Робин Гуду, бабушке Блейк и Гарри Гиллу,[247] в большинстве стран — принцу и крестьянину, ученому и дикарю одинаково требуется несколько лесных сучьев, чтобы обогреться и сварить пищу. Не мог обойтись без них и я.

Каждый человек с некоторой нежностью глядит на свою поленицу. Мне захотелось, чтобы моя была у меня под окном и чтобы как можно больше щепок напоминало мне о приятной работе. У меня был старый топор, на который никто не заявлял прав; этим топором я зимними днями у солнечной стены дома понемногу колол на дрова пни, выкорчеванные на моем бобовом поле. Как предсказал мальчик, помогавший мне пахать, они грели меня дважды — когда я рубил и когда жег в печи; какое еще топливо могло дать больше жара? Что касается топора, то мне посоветовали отдать его выправить деревенскому кузнецу, но я обошелся своими силами, приладил к нему ореховую рукоятку, и ничего — сошло. Пускай он был тупой, зато хорошо насажен.

Настоящим сокровищем были ископаемые корни смолистой сосны. Интересно вспомнить, сколько этой пищи для огня еще скрыто в земных недрах. В прежние годы я часто ходил для «изысканий» на холм, где некогда росли смолистые сосны, и выкапывал корни. Они почти не подвержены действию времени. Пни 30-40-летней давности сохраняют здоровую сердцевину, хотя заболонь сгнивает целиком, судя по толстой коре, образующей на уровне земли кольцо, на расстоянии четырех-пяти дюймов от сердцевины. Вскрываешь эти залежи топором и лопатой и добираешься до костного мозга, желтого, как говяжий жир; или можно подумать, что ты нашел глубоко в земле золотую жилу. Но чаще всего я растапливал свой очаг сухими лесными листьями, которые припас в сарае еще до снегопада. Когда лесоруб разводит в лесу костер, он разжигает его тонко расщепленными свежими сучьями ореха. Иногда я раздобывал и их. Когда на горизонте зажигались огни поселка, я тоже подымал над своей трубой дымовой вымпел, оповещая всех диких обитателей долины Уолдена о том, что я бодрствую:

О легкокрылый Дым! Взлетая ввысь, Ты, как Икара оперенье, таешь. Безгласный жаворонок, вестник дня, Как над гнездом, ты вьешься над селеньем; Иль, может быть, ты призрак полуночный, И прочь спешишь, влача свои одежды. Ты по ночам нам звезды застилаешь, Днем — заслоняешь ясный свет. А у меня курись, как фимиам, Моля богов простить мне жаркий пламень[248]

Лучше всего мне подходило твердое свежесрубленное зеленое дерево, хотя его я употреблял мало. Иногда зимним днем я оставлял огонь в очаге и шел прогуляться, а вернувшись часа через три-четыре, еще заставал его живым и бодрым. Пока меня не было, мой дом не пустовал. Я точно оставлял в нем веселую хозяйку. В доме жили Я и Огонь, и моя хозяйка оказывалась обычно надежной. Но однажды, когда я колол дрова, я вдруг решил заглянуть в окно и проверить, не горит ли дом; то был единственный раз, как мне помнится, когда я этим встревожился, — и оказалось, что искра попала на постель, и я потушил ее, когда она уже прожгла дыру величиной в ладонь. Но дом мой стоял на таком солнечном и защищенном от ветров месте, и кровля у него была так низка, что можно было гасить очаг почти в любой зимний день.

В погребе у меня поселились кроты; они погрызли каждую третью картофелину, а из волоса, оставшегося от штукатурных работ, и оберточной бумаги устроили себе уютное гнездо; ибо даже самые дикие животные не меньше человека любят удобства и тепло и переживают зиму только потому, что так заботливо готовятся к ней. Если послушать некоторых моих друзей, выходило, что я хотел поселиться в лесу нарочно, чтобы погибнуть от холода. Животное просто устраивает себе ложе в укрытом месте и согревает его собственным телом; но человек, открывший огонь, нагревает просторное помещение, превращая его в постель, где он может освободиться от тяжелой одежды, устроить себе нечто вроде лета среди зимы, впустить даже свет с помощью окон, а с помощью лампы удлинить день. Так он идет несколько дальше природного инстинкта и сберегает немного времени для искусств. Когда я долго находился на холодном ветру, все мое тело цепенело, а в тепле моего дома я отогревался и продлевал свою жизнь. Но даже обитателям самых роскошных домов в этом отношении больше нечем похвастаться; и нетрудно догадаться, отчего может в конце концов погибнуть человечество.

Нить его жизни можно в любой час оборвать чуть более сильным порывом северного ветра. Мы ведем наше летосчисление с Холодной Пятницы или Великого Снегопада,[249] но достаточно какой-нибудь пятницы похолоднее или снегопада побольше — и наше существование на земном шаре может, наоборот, кончиться.

В следующую зиму я ради экономии стал пользоваться для стряпни маленькой плитой — лес-то ведь был не мой; но она не так хорошо держала тепло, как открытый очаг. Стряпня стала уже не столько поэтическим, сколько химическим процессом. В наш век печей мы скоро позабудем, что некогда пекли картофель в золе, как индейцы. Плита не только заняла место и наполнила дом запахами — она скрыла огонь, и я почувствовал, что потерял друга. В огне всегда можно увидеть чье-то лицо. Глядя в него по вечерам, земледелец очищает мысли от скверны, от пошлости, накопившейся за день. А я не мог уже больше сидеть и смотреть в огонь, и мне вспоминались слова поэта:

*Веселый жар каминного огня,
Как близость друга, нужен для меня.
Он то с надеждой яркой разгорится,
То, как она же, в пепел обратится.
Так отчего ж ты изгнан из домов,
Любимый спутник наших вечеров?
Быть может, слишком ярко пламя было
Для нашей жизни тусклой и унылой?
Иль с душами таинственно общалось,
И слишком жгучей тайна оказалась?*

*Теперь мы в безопасности сидим
У очага, где скрыт огонь и дым.
Он радости иль грусти не навеет.
Он только руки нам и ноги греет.
Столь новое устройство прозаично,
Что Настоящему здесь дремлетя отлично.*

*Без страха перед призраком Былого,
Являвшимся на свет огня живого[250].*

Прежние обитатели и ЗИМНИЕ ГОСТИ

Я пережил не одну веселую вьюгу и провел не один приятный вечер у своего очага, пока за окном бешено кружился снег и умолкло даже уханье совы. Выходя из дому, я по целым неделям не встречал никого, кроме тех, кто приходил нарубить дров и отвезти их на санках в поселок. Но Природа помогла мне проложить путь по самому глубокому снегу; там, где я однажды прошел, ветер нанес в мои следы дубовых листьев, которые поглотили солнечные лучи и растопили снег и таким образом не только приготовили мне сухую тропинку, но, темнея на снегу, указывали мне путь по вечерам. Чтобы общаться с людьми, мне пришлось вызывать в своем воображении прежних обитателей этих лесов. Еще на памяти многих моих земляков дорога возле моего дома оглашалась смехом и говором жителей, а окаймлявший ее лес пестрел садиками и домами, хотя лес был тогда гораздо гуще нынешнего. Я сам еще помню, что в некоторых местах фаэтон с трудом проезжал между сосен, а женщины и дети, когда им приходилось одним и пешком добираться этой дорогой до Линкольна, робели и часто большую часть пути бежали бегом. Это была всего лишь колея, ведущая к ближайшим деревням или к порубкам, но когда-то она радовала путника большим разнообразием и дольше оставалась в его памяти. Там, где сейчас от поселка к лесам тянутся открытые поля, шла гать через болото, поросшее кленами: остатки ее наверняка можно до сих пор найти под нынешней пыльной дорогой между фермой Страттен, где сейчас богадельня, и холмом Бристер.

К востоку от моего бобового поля, через дорогу, проживал Катон Ингрэм — раб Данкапа Ингрэма, эсквайра, джентльмена из поселка Конкорд, который выстроил своему рабу дом и разрешил ему жить в Уолденском лесу — Катон, только не Утический,[251] а Конкордский. Говорят, это был негр из Гвинии. Некоторые еще помнят его небольшой огород среди ореховой рощи, которой он хотел дать подрасти, надеясь пользоваться ею под старость, но она в конце концов досталась владельцу помоложе и побелее. Впрочем, и тот сейчас переселился в иное, столь же тесное жилище. На месте Катонova погребa еще осталось углубление, хотя его знают немногие, потому что со стороны дороги его заслоняет группа сосен. Сейчас оно заросло гладким сумахом (*Rhus glabra*) и пышными кустами раннего золотарника (*Solidago stricta*).

На самом краю моего поля, еще ближе к городу, стояла хижина негритянки Зильфы, которая пряла лен для горожан и оглашала Уолденский лес звонким пением, потому что была на редкость голосиста. В войну 1812 г.[252] домик ее был подожжен пленными английскими солдатами, отпущенными на честное слово; хозяйки не было дома, а кошка, собака и куры — все сгорели. Ей жилось тяжело, почти невыносимо. Один старожил, часто бывавший в лесу, помнит, что проходил днем мимо ее дома и слышал, как она бормотала над кипящим горшком: «Все вы кости, кости, кости!» — Здесь в дубняке мне еще попадаются кирпичи.

Ниже по дороге, по правой стороне, на холме Бристер, жил Бристер Фримен, «негритянский умелец», раб сквайра Каммингса, — и сейчас там еще растут яблони, которые Бристер насадил и вырастил; теперь это большие старые деревья, но плоды их все же дики и кисловаты на мой вкус. Недавно я прочел надпись на его могиле на старом линкольнском кладбище, в стороне, возле безымянных могил британских гренадеров, павших при отступлении от Конкорда; он назван там «Сиппион Бристер» (а надо бы «Сципион Африканский»), а также «цветной» — словно он мог обесцветиться. Крупная надпись указывала также, когда он умер, что было косвенным сообщением о том, что он вообще жил на земле. С ним жила Фенда, его гостеприимная жена, которая умела гадать, но всегда только одно приятное — большая, толстая и черная, чернее всех детей ночи; темное светило, каких не всходило над Конкордом ни прежде, ни с тех пор.

Ниже по склону, слева, вдоль старой лесной дороги сохранились следы усадьбы Страттенгов; их фруктовый сад некогда занимал весь склон холма Бристер, но его уже давно вытеснили смолистые сосны, и уцелело лишь несколько пней; их старые корни до сих пор поставляют многим бережливым сельчанам отростки для прививок.

Еще ближе к городу, на другой стороне дороги, на самой опушке леса, была усадьба Брида, прославленная проделками нечистого духа, точно не обозначенного в мифологии, но игравшего весьма важную роль в жизни Новой Англии и заслужившего, как и всякая мифическая личность, чтобы когда-нибудь было составлено его жизнеописание. Сперва он является под видом друга или нанимается в работники, а потом грабит и убивает всю семью; имя ему — Новоанглийский Ром. Но разыгравшиеся здесь трагедии еще рано заносить в анналы истории; пусть время сперва несколько смягчит их и затянет голубой дымкой. Здесь, согласно смутному преданию, некогда стояла таверна, и еще уцелел колодец, из которого разбавляли напитки путников и поили их коней. Здесь люди встречались, обменивались новостями и расходились каждый своей дорогой.

Какую-нибудь дюжину лет назад хижина Брида была еще цела, хотя давно уже необитаема. Она была размером примерно с мою. Если не ошибаюсь, однажды в день выборов ее подожгли озорные мальчишки. Я в то время жил на краю поселка и только что углубился в чтение «Гондибера»[253] Давенанта. В ту зиму я был постоянно сонный и не знал, чему это приписать: наследственности — потому что у меня есть дядя, который засыпает за бритьем, а по воскресеньям вынужден перебирать в погребе проросший картофель, чтобы не уснуть и блюсти день воскресный, — или же тому, что я пытался читать подряд антологию английской поэзии Чалмерса[254]. Она одолела моих нервов[255]. Едва я положил голову на книгу, как зазвонил пожарный колокол и помчались пожарные машины, возглавляемые беспорядочной толпой мужчин и мальчишек, в которой я оказался одним из первых, потому что перепрыгнул через ручей. Нам казалось, что горит где-то к югу за лесом; нам и раньше случалось бегать на пожары — амбара, лавки или дома или всего вместе; «Это горит амбар Бейкера», — кричал кто-то. «Нет, это у Кодмена», — утверждал другой. Но тут над лесом взлетели новые снопы искр, точно провалилась крыша, и мы все закричали: «Конкорд, на помощь!». Мимо нас с бешеной скоростью помчались повозки, битком набитые людьми, среди которых был, может быть, агент страховой компании, ехавший по обязанности, как бы далеко это ни было; время от времени позади нас звякал колокол пожарной машины, ехавшей более медленно и верно; а позади всех, как шепотом передавали потом, шли те,

кто поджег и поднял тревогу. Мы неслись вперед, как истые идеалисты, не доверяя показаниям наших чувств, пока на одном из поворотов не услышали потрескивания и нас не обдало жаром, — тогда мы поняли, увы! что прибыли на место происшествия. Впрочем, близость огня охладила наш пыл. Сперва мы предложили вылить на него пруд; а потом предоставили дому догорать — все равно он был уже весь охвачен огнем, да и стоил немного. И мы столпились вокруг нашей машины, подталкивая друг друга; мы громко выражали наши чувства или более тихим голосом вспоминали крупнейшие в мире пожары, в том числе пожар в лавке Баскома, и, между нами говоря, считали, что подоспей мы только вовремя с нашей бочкой, да если бы пруд был под рукой, мы сумели бы и этот грандиозный пожар превратить в новый потоп. Наконец мы убрались, не наделав вреда, возвратились к прерванному сну и к Гондиберу. Что касается Гондибера, я исключил бы то место в предисловии, где он называет остроумие духовным пороком — «но большей части человечества остроумие неизвестно, как индейцам неизвестен порох».

На следующий вечер мне случилось идти полем мимо пожарища; услышав оттуда тихие стоны, я подошел и обнаружил единственного уцелевшего члена семьи, знакомого мне, — наследника ее добродетелей и пороков, единственного, кому пожар не был безразличен; он лежал на животе, перегнувшись через стенку погреба, где еще тлели угли, и по всегдашней своей привычке что-то бормотал себе под нос. Он весь день работал на дальних приречных лугах и воспользовался первыми свободными минутами, чтобы посетить дом своих отцов и своего детства. Он заглядывал в погреб со всех сторон поочередно и при этом каждый раз ложился, словно разыскивал сокровище, спрятанное между камней; а между тем там не было ничего, кроме кучи кирпича и золы. Дома не было, и он осматривал то, что уцелело. Ему было приятно сочувствие, которое я выражал самым своим присутствием; насколько позволяла темнота, он показал мне, где у них крытый колодец — его-то уж, слава богу, не спалишь! — и ощупью прошел вдоль стены, чтобы найти журавль, поставленный его отцом, и железный крюк или скобу на тяжелом конце его, к которому подвешивали груз, — за что еще было ему ухватиться? Ему хотелось доказать мне, что колодец у них был устроен наилучшим образом, а не как-нибудь. Я все это ощупал и до сих пор часто оглядываюсь на колодец, проходя мимо, — ведь это все, что осталось от целой семьи.

Еще левее, там, где теперь открытое поле, но сохранился колодец и кусты сирени под стеной, жили Наттинг и Ле Гросс. Но пора, однако, обратиться в сторону Линкольна.

Дальше всех в лесу, там, где дорога ближе всего подходит к пруду, жил горшечник Уаймен, который снабжал горожан гончарными изделиями и оставил наследников своему делу. Нельзя сказать, чтобы они были богаты; на участке их просто терпели, и шериф часто, но тщетно приходил к ним за налогом и только для порядка «навешивал бирку», как я читал в его отчетах, потому что взять с них было нечего. Однажды летом, когда я работал мотыгой, около меня остановилась лошадь, и какой-то человек, везший на рынок воз горшков, спросил про Уаймена-младшего. Он когда-то купил у него гончарный круг и хотел знать, что с ним случилось. Я читал в писании о гончарной глине и круге, но как-то всегда думал, что наши горшки сохранились с тех самых пор или вырастают, как тыквы, и мне было приятно узнать, что по соседству со мной кто-то занимался этим ремеслом.

Последним, кто обитал в этих лесах до меня, был ирландец Хью Койл, занявший хижину Уаймена, — его величали полковником. Ходил слух, что он сражался при Ватерлоо. Если бы он был жив, я заставил бы его порассказать о битвах. Здесь он был землекопом. Наполеон отправился на остров св. Елены, а Койл — в Уолденские леса. Все, что мне о нем известно, — трагично. Видно было, что он повидал свет; у него были изысканные манеры, и он умел говорить вежливее, чем его умели слушать. Даже летом он носил шинель, потому что его била дрожь, а лицо у него всегда было багровое. Он умер прямо на дороге у подножья холма Бристер, вскоре после моего переселения в лес, поэтому я не запомнил его как соседа. Я побывал у него в доме перед тем, как его снесли, — его товарищи избегали там бывать, считая дом «несчастливым». На дощатой кровати лежала его старая одежда, от долгой носки принявшая форму его тела, и казалось, что это лежит он сам. У очага валялись обломки его разбитой трубки, вместо кувшина, разбитого у источника[256]. Последний не мог бы служить символом его смерти — он признался мне однажды, что слышал об источнике Бристера, но никогда его не видел. По полу были разбросаны засаленные карты — короли бубен, пик и червей. В соседней комнате еще сидел на насесте черный цыпленок, которого не сумел поймать чиновник, описавший имущество; черный, как ночь, и столь же безмолвный, он ожидал Рейнеке-Лиса[257]. За домом смутно виднелся сад, который хозяин посадил, но ни разу не мотыжил из-за страшных приступов лихорадки, хотя пришло уже время сбора. Сад зарос чередой, а вместо плодов был полон репьев, которые облепили мою одежду. У задней стенки была растянута свежесодранная шкура сурка — трофеем его последнего Ватерлоо, но ему уже не нужны были ни шапка, ни рукавицы.

Сейчас от этих жилищ остались только углубления в земле и камни от погребов; на солнечных местах разрослась земляника, американская малина, орешник и сумах; на месте очага растет смолистая сосна или сучковатый дуб, а на месте порога качается душистая темная береза. Иногда видна и впадина бывшего колодца; там, где некогда сочился ключ, торчит сухая трава; а иногда колодец тщательно закрыт плоским камнем и дерном — это сделал последний из обитателей и его еще долго никто не найдет. Как это, наверное, печально — закрывать колодец! В это время источник слез, должно быть, наоборот, раскрывается. Впадины погребов, похожие на старые лисьи норы, — вот все, что остается; а ведь когда-то здесь шла шумная людская жизнь и в какой-то форме, на каком-то языке наверняка рассуждали о «предвиденье, и о свободе воли, и о судьбе»[258]. Впрочем, из всех их рассуждений до меня дошло лишь одно, а именно, что «Катон и Бристер заговаривали зубы», и это почти так же назидательно, как история более известных философских школ.

Еще много лет после того, как исчезли и дверь и порог, пышная сирень каждую весну раскрывает для замечтавшегося путника свои душистые цветы; когда-то ее сажали и холили детские руки перед входом в дом, а сейчас она подымается на заброшенном лугу и отступает перед лесной порослью — последний обломок семьи. Сажая в тени дома этот маленький росток всего с двумя глазками и ежедневно его поливая, темнокожие дети не думали, что он укоренится так прочно и переживет и их, и самый дом, защищавший его своей тенью, и даже сад и огород взрослых и через столетия после их смерти будет тихо рассказывать о них одинокому путнику, и будет цвести так же пышно и благоухать так же нежно, как в ту первую весну. Теперь я люблю его нежными, приветливыми и веселыми лиловыми цветами.

Но отчего же исчезло это маленькое селение, зародыш чего-то большего, а Конкорд, наоборот, уцелел? Быть может, из-за неудачного расположения или плохой воды? А глубокий Уолденский пруд, а прохладный ключ Бристера — чем плоха их вкусная и здоровая вода, которой жители умели только разбавлять спиртные напитки? Все они были одержимы жаждой. Отчего не расцвело здесь плетение корзин и циновок, изготовление метел, поджаривание кукурузных зерен, прядельное и гончарное ремесла, которые превратили бы пустыню в пышный сад и оставили землю отцов в наследство многочисленному потомству? По крайней мере, здешняя бесплодная почва не дала бы жителям облениться, как это бывает в долинах. Увы, следы здешних жителей не украсили пейзажа! Сейчас, быть может, Природа делает новую попытку в моем лице, и моему дому, выстроенному прошлой весной, суждено стать первым в деревне.

Насколько мне известно, на том месте, которое я занял, не строился еще никто. Да избавит меня бог от города, воздвигнутого на месте другого, более древнего; строительный камень там берут из развалин, а сады разбивают на кладбищах. Земля там белеет костями и проклята от века и сама до времени рассыпается прахом. Всеми этими воспоминаниями я населил лес, и они меня убаюкали.

В зимнюю пору ко мне редко кто заглядывал. По глубокому снегу ни один путник неделями не отваживался подойти к моему дому; а мне жилось уютно, как полевой мыши или как домашнему скоту и птице, которые, говорят, могут долго жить под снежным заносом даже без пищи; или как семье того поселенца в городе Саттон, в нашем штате, у которого в снежную зиму 1717 г. домик совсем занесло, а он как раз отлучился, и семью спас какой-то индеец, обнаруживший дом по отверстию в снегу, там, где оно обтаяло вокруг дымовой трубы[259]. Обо мне не заботился ни один дружественный индеец, да и зачем ему заботиться, если сам хозяин был дома? Снежные заносы! Как весело о них слушать! Фермеры не могли добраться за дровами до леса и болота и были вынуждены рубить деревья возле дома, дающие им тень; а когда снежный наст затвердел, рубили деревья на болоте, в десяти футах от земли, как обнаружилось весной.

Когда снег лежал всего глубже, тропинка от моего дома к дороге, длиной в полмили, имела вид извилистой пунктирной линии, с большими промежутками между точками. Целую неделю, пока стояла устойчивая погода, я делал туда и обратно одно и то же количество шагов одинаковой длины, ступая по собственным глубоким следам с точностью циркуля, — к такой точности приучает нас зима, — но следы эти часто были полны небесной влагой. Однако никакая погода не мешала моим прогулкам, вернее, походам, потому что я часто делал восемь — десять миль по самому глубокому снегу ради свидания с каким-нибудь буком или березой, или старой знакомкой из сосен; когда их ветви опускались под тяжестью льда и снега, они становились похожими на ели. Увязая в сугробах, я всходил на самые высокие холмы, когда и на равнине снег лежал чуть ли не на два фута, и на каждом шагу обрушивал себе на голову новый снегопад; а иногда вползал туда на четвереньках, в такую пору, когда охотники давно сидели на зимних квартирах. Однажды я наблюдал среди бела дня полосатую сову (*Strix nebulosa*), сидевшую на низкой сухой ветке сосны, у самого ствола, всего в нескольких шагах от меня. Она слышала мои движения и хруст снега у меня под ногами, но плохо меня видела. При более сильном шуме она вытягивала шею, ерошила перья и широко раскрывала глаза, но скоро веки ее снова опускались, и она клевала носом.

Поглядев с полчаса, как жмурится, точно кошка, эта крылатая кошачья сестра, я почувствовал, что и меня тоже клонит ко сну. Между век ее виднелась только узкая щелка — перешеек, оставленный для связи со мной; выглядывая полузакрытыми глазами из страны снов, она пыталась постичь меня — неясный предмет, маячивший на фоне ее видений. Порой, при моем приближении или более громком звуке, она тревожилась и неуклюже поворачивалась, недовольная тем, что я прерываю ее сон, а когда она сорвалась с места и понеслась между сосен, неожиданно широко раскинув крылья, ее полет был совершенно беззвучен. Находя дорогу между ветвей не столько зрением, сколько тонким ощущением их близости, как бы нащупывая путь своим нежным оперением, она полетела искать новую ветку, где могла спокойно дожидаться восхода своего дня.

Проходя лугами, по длинной насыпи, сделанной для железной дороги, я часто встречал резкий колючий ветер, который нигде не гуляет так свободно, как там; когда мороз щипал меня за одну щеку, я подставлял другую,[260] хоть я и язычник. Не лучше было и на проезжей дороге, ведущей с холма Бристер. Ибо я продолжал ходить в город, точно мирный индеец, даже когда весь снег с полей громоздился на уолденской дороге и довольно было получаса, чтобы замести следы последнего прошедшего путника. На обратном пути мне приходилось барахтаться в свежих сугробах на крутых поворотах, где неутомимый северо-западный ветер наносил пушистый снег и не видно было ни одного заячьего следа или хотя бы мелкого почерка полевой мыши. Но даже глубокой зимой мне почти всегда встречалось теплое болотце с упругими кочками, где вечно зеленеют трава и заячья капуста и дожидается весны какая-нибудь закаленная птица.

Иной раз, несмотря на заносы, вернувшись с вечерней прогулки, я находил у своих дверей глубокие следы какого-нибудь лесоруба; у очага лежала куча стружек, а в доме пахло трубочным табаком. Или в воскресенье, под вечер, когда мне случалось быть дома, снег скрипел под ногами некоего рассудительного фермера,[261] который пробирался издалека ради беседы со мной, — одного из тех немногих, кто и на ферме остается человеком, кто по своей воле надел блузу вместо профессорской мантии и одинаково готов порассуждать о церкви и государстве или вывезти со скотного двора воз удобрений. Мы с ним беседовали о простых, патриархальных временах, когда люди в холодную, бодрящую погоду сидели у больших очагов и в головах у них было ясно; если не было другого десерта, мы не раз пробовали крепость наших зубов на орехах, давно брошенных мудрыми белками, потому что под самой толстой скорлупой обычно бывает пусто.

Тот, кому приходилось шагать ко мне дальше всех, по самому глубокому снегу и в самую свирепую вьюгу, был поэтом[262]. Такие препятствия способны отпугнуть фермера, охотника, солдата, репортера и даже философа; но ничто не может утратить поэта, ибо он движим чистой любовью. Кто предскажет его приход или уход? Его дело призывает его во всякий час, когда спят даже врачи. Мой домик оглашался шумным весельем или наполнялся журчаньем мудрой беседы, и долина Уолдена вознаграждалась таким образом за долгую тишину. По сравнению с этим даже Бродвей мог показаться тихим и безлюдным. Через положенные промежутки времени раздавались взрывы смеха, которые равно могли относиться и к только что сказанной, и к ожидаемой шутке. Мы создали немало «совершенно новых» жизненных концепций за тарелкой каши; такое угощение позволяло сочетать застольное веселье с ясностью мысли, необходимой для философии.

Я не должен забывать, что в последнюю зиму моей жизни на пруду у меня бывал еще один желанный гость,[263] который шагал через весь поселок в темноте, под снегом и дождем, пока не видел между деревьев огонек моей лампы; не раз он коротал со мной долгие зимние вечера. Один из последних философов — его подарил миру Коннектикут, — он торговал вразнос изделиями своего штата, а позже, как он говорил, своим мозгом. Этим он занимается и по сию пору, пытаясь толковать слово божие и устыдить человека, вместо всех других плодов принося лишь плод своих раздумий, как орех — вызревающее в нем ядро. Мне думается, что из всех живущих на земле у него больше всего веры. Его слова и поведение всегда говорят о чем-то лучшем, нежели то, что знакомо большинству людей; и если он разочаруется со временем, то самым последним из всех. Он не делает ставки на настоящее. Сейчас его знают сравнительно мало, но когда настанет его день, вступят в силу законы, о которых большинство и не подозревает, и отцы семей и правители стран придут к нему за советом.

Слепец — кому покой не видим! [264]

Это подлинный друг людей, едва ли не единственный друг человеческого прогресса, американский Патерсон,[265] с неутомимой верой и терпением толкующий бога, запечатленного в образе человека; того бога, которого люди являются лишь искаженными и расшатанными подобиями. В его гостеприимных мыслях находится место и для детей, и для нищих, и для безумцев, и для ученых; он думает обо всех со свойственной ему широтой. Ему следовало бы содержать караван-сарай на всемирной дороге, где философы всех наций могли бы найти приют; а на вывеске его надо бы написать: «Ночлег для человека, но не для его скотины [266]. Входите все, имеющие досуг и душевный покой, все, усердно ищущие пути истинного». Это, вероятно, самый здравомыслящий человек, какого я знаю, и с наименьшим числом причуд; завтра он будет тот же, что был вчера. Во время оно мы с ним бродили и беседовали и умели отрешиться от мира, ибо он не признавал никаких установлений; то был подлинно свободный человек, *ingenuus* (свободнорожденный — лат.). Куда бы мы ни направлялись, везде, казалось, небеса смыкались с землей, ибо он украшал собой пейзаж. Человек в синей одежде, для которого самой подходящей кровлей был небесный свод, отражавший его безмятежное спокойствие. Я не представляю себе, чтобы он мог умереть — Природа не может обойтись без него.

У каждого из нас были наготове хорошо высушенные щепки всяких мыслей, и мы принимались их строгать, пробуя свои ножи и любуясь светло-желтой сосновой древесиной. Мы ступали так тихо и почтительно и тянули сеть так дружно и согласно, что не спугивали рыбок наших мыслей, и они не боялись стоявших на берегу рыболовов; они плыли величаво, подобно облакам на закатном небе, тем перламутровым стадам, которые там иногда рождаются и тают. Мы трудились на совесть, пересматривая мифологию, досказывая то одну, то другую сказку и строя воздушные замки, для которых на земле не было достойного фундамента. Как он умел видеть! как умел ждать! Говорить с ним было истинной ново-английской Сказкой Тысяча и одной ночи. Что за беседы мы вели втроем — отшельник, философ и тот старый поселенец,[267] о котором я говорил, — как только мог мой домик вмещать и выдерживать все это! Не смею сказать, насколько фунтов выше атмосферного подымалось там давление на каждый квадратный дюйм; у домика расходились швы, и их приходилось потом конопатить большим количеством скуки, но этой пакли у меня было

запасено достаточно. Был еще один, с которым у меня было много памятных встреч в его доме в поселке и который иногда заглядывал и ко мне; и вот все мое общество.

Как и везде, я иногда ждал там Гостя, который не приходит. Вишну Пурана[268] учит нас: «Хозяин дома должен ожидать вечером во дворе столько времени, сколько надо, чтобы подоить корову, или дольше, на случай прихода гостя». Этот долг гостеприимства я выполнял часто и ждал столько, что можно было подоить целое стадо коров, а человек из города по-прежнему не шел[269]

Зимние животные

Когда пруды крепко замерзли, у меня появилось не только много новых кратчайших дорог, но и новые виды, открывшиеся с ледяной поверхности на знакомые окрестные места. Флинтов пруд, где я часто катался в лодке и на коньках, теперь, когда его занесло снегом, показался мне таким неожиданно большим и незнакомым, что напомнил Баффинов залив. Холмы Линкольна возвышались над снежной равниной, где я, казалось, никогда прежде не бывал; рыбаки со своими собаками, похожими на волков, медленно двигавшиеся по льду на неопределенном расстоянии, сходили за эскимосов или охотников на тюленей, а в тумане казались какими-то призрачными существами, не то великанами, не то пигмеями. Этим путем я ходил по вечерам в Линкольн читать лекции, — я шел без дороги, и между моей хижиной и лекционным залом мне не попадалось ни одного дома. На Гусином пруду, мимо которого лежал мой путь, жила колония ондатр; домики их подымались высоко надо льдом, но их самих не было видно, когда я проходил. Уолден, обычно бесснежный, как и другие пруды, или только местами слегка занесенный, был моим двором, где я свободно прохаживался, когда снег лежал всюду на два фута, и жители поселка не могли пройти дальше своей улицы. Здесь, вдали от деревенских улиц, в тишине, почти никогда не нарушаемой даже звоном колокольчиков на санях, я катался точно на большом, плотно утоптанном оленьем выгоне, окаймленном дубовым лесом и величавыми соснами, которые сгибались под грузом снега или щетинились сосульками.

Главным звуком в зимние ночи, а часто и в зимние дни, было печальное, но мелодичное уханье совы где-то очень далеко; такой звук могла бы издать мерзлая земля, если ударить по ней подходящим плектром[270] — то был подлинный *lingua vernacula* (местный язык — лат.) Уолденского леса, ставший мне очень знакомым, хотя я так и не увидел ни разу, птицу, когда она кричала. Почти всякий раз, открывая зимним вечером дверь, я слышал ее звучное «Ух-ух-ух-уххух-ух», где первые три слога звучали похоже на «как вы там», а иногда просто «ух-ух». Однажды в начале зимы, когда пруд еще не замерз, часов в девять вечера раздался громкий гусиный крик и, подойдя к двери, я услышал, как стая низко пронеслась над домом, шумя крыльями, точно лесная буря. Они пролетели над прудом к Фейр-Хэвену; как видно, свет в моем окне отпугнул их, и они не сели, а вожак непрерывно трубил. Вдруг где-то совсем близко ушастая сова начала откликаться на каждый гусиный крик самым пронзительным голосом, какой мне случалось слышать от обитателей леса, точно решила разоблачить и посрамить незваного гостя с Гудзонова залива, показав, что хозяева здешних мест способны его перекричать и прогнать уханьем с конкордского горизонта. Да как ты осмелился тревожить нашу крепость[271] в ночные часы, принадлежащие мне? Уж не думаешь ли ты, что я в эти часы дремлю, или у меня легкие и глотка похуже твоих? Бух-ух, бух-ух, бух-ух! Самый удивительный диссонанс, какой мне когда-либо пришлось слышать. И все же, если у вас тонкий слух, вы уловили бы в нем элементы гармонии, еще не звучавшей на этих равнинах.

Я слышал также, как кряхтел на пруду лед, мой сосед, точно ему было неловко в постели и хотелось повернуться на другой бок, точно его беспокоили ветры и дурные сны; или меня будил звук трескающейся от мороза земли, и казалось, что к моим дверям подъехала упряжка, а утром в земле оказывалась трещина в четверть мили длиной и треть дюйма шириной.

Иногда я слышал лисиц, которые в лунные ночи охотились по снежному насту за куропатками и другой дичью; они издавали отрывистый, демонический лай лесных собак, и казалось, что их мучит какая-то тревога, или жажда что-то выразить, вырваться на свет, стать настоящими псами и смело бегать по улицам; как знать, может быть, среди животных тоже веками идет процесс цивилизации? Мне чудились в них некие примитивные и слепые человеческие существа, настороженные, ждущие преобразования. Иногда какая-нибудь из них, привлеченная светом, подходила под окно, таякала мне свое лисье проклятие и удалялась.

На заре меня обыкновенно будила рыжая белка (*Sciurus Hudsonius*), которая начинала бегать по крыше и стенам дома, точно ее нарочно прислали для этого из леса. За зиму я выбрасывал на снежный наст перед дверью с полбушеля кукурузных початков, оказавшихся недозрелыми, и с интересом наблюдал за различными животными, приходившими на эту приманку. В сумерки и ночью всегда приходили кролики и с удовольствием угощались. Днем прибежали и убегали рыжие белки, очень забавлявшие меня своими маневрами. Сперва белка осторожно приближается из дубняка, передвигаясь по снегу короткими прыжками, как листок, гонимый ветром, с удивительной быстротой и огромной затратой энергии перебирая лапками, точно на пари; то бросится в одну сторону, то вдруг на столько же — в другую, но каждый раз не больше, чем на четыре-пять футов; а то остановится с самым комичным выражением и ни с того ни с сего так перекувырнется, точно на нее устремлены взоры всего света — ибо все движения белки, даже в самой глухой чаще, предполагают зрителей, как движения танцовщицы; то тратит больше времени, выжидая и остерегаясь, чем если бы прошла весь путь не спеша, — но я никогда не видел, чтобы они просто шли, — то вдруг, не успеешь ахнуть, как она уже на вершине молодой сосны, и трещит, точно заводит часы, и бранит воображаемых зрителей, говоря одновременно с собой и со всем миром, а почему — этого я никогда не мог понять; думаю, что и она тоже. Наконец она добирается до кукурузы и, выбрав подходящий початок, взлетает все теми же неверными движениями по тангенсам на самый верх моей поленницы, перед окном, и, глядя прямо на меня, сидит там часами, время от времени подбирая новый початок; сперва она грызет их с жадностью, разбрасывая наполовину обглоданные початки, потом становится разборчивее, ковыряется в еде и пробует только внутренность зерна, а початок, который она придерживает одной лапкой, падает на землю; тогда она смотрит на него сверху с уморительным выражением неуверенности, точно на живое существо, и не решается: подобрать ли его, или взять новый, или удрать; то задумается над кукурузой, то прислушивается к окружающим звукам. Так маленькая нахалка портила за день немало початков; наконец, выбрав какой-нибудь потолще и подлиннее, куда больше себя, и искусно держа его на весу, она отправлялась с ним в лес, точно тигр, уносящий буйвола, с теми же зигзагами и частыми остановками волоча слишком тяжелый для нее початок и то и дело падая, но падая по диагонали, и с явной решимостью непременно довести дело до конца — удивительно легкомысленное и капризное создание! — и уносила початок к себе домой,

вероятно, еще подымала его на вершину сосны, в четверти мили от меня, а потом я находил в лесу разбросанные повсюду кочерыжки.

Потом являются сойки, которые заранее извещают о себе пронзительными криками, и осторожно перепархивают с дерева на дерево, подбирая зерна, брошенные белками. Усевшись на ветку смолистой сосны, они поспешно стараются проглотить слишком крупные для них зерна и давятся ими; а потом с большим трудом изрыгают их и долго раскалывают ударами клюва. Это были явные воровки, и я не чувствовал к ним уважения; а белки, те, хотя и робели вначале, угощались так, словно это подобало им по праву.

Налетали также стаи черноголовых синиц; эти тоже подбирали зерна за белками, садились на ближайшую ветку и, держа зерна коготками, стучали по ним клювиками, точно это были насекомые в твердой броне, пока не размельчали их достаточно для своей узенькой глотки. Стайка этих пичужек прилетала ежедневно пообедать на моей поленнице или подобрать крошки у дверей, издавая слабые лепечущие звуки, похожие на звяканье ледышек в траве, или более оживленное «Дэй, дэй, дэй», а изредка, когда дни стояли по-весеннему теплые, они, как летом, бросали из лесу звонкое «фи-би». Они так освоились, что одна как-то села на охапку дров, которую я нес, и бесстрашно стала клевать сучки. Однажды, когда я работал мотыгой в одном из садов поселка, ко мне на плечо уселся воробей, и я почувствовал в этом более высокое отличие, чем любые эполеты. Белки под конец тоже очень ко мне привыкли и иногда прыгали мне на башмак, если это было им по пути.

Прежде чем земля совсем скрывалась под снегом, а потом и в конце зимы, когда на южном склоне холма и около поленницы снег уже подтаивал, туда по утрам и по вечерам приходили кормиться куропатки. Куда бы вы ни направились по лесу, всюду перед вами шумно взлетает куропатка, задевая сухие ветви и листья и сбрасывая с них снег, который потом сеется в солнечных лучах, как золотая пыль, — потому что эта отважная птица не боится зимы. Ее часто заносит снегом, и говорят, что она «с лёту зарывается в мягкий снег и прячется там день и два»[272]. Бывало, что я спугивал их и на открытом месте, когда они на закате вылетали из леса клевать почки диких яблонь. Каждый вечер они собираются у определенных деревьев, и там-то и подстерегает их опытный охотник; от них немало страдают фруктовые сады, соседние с лесом. А я рад, что куропатка добывает себе корм. Это истинное дитя Природы, питающееся почками и чистой водой.

Зимним утром, еще затемно, или в конце короткого зимнего дня я иногда слышал по всему лесу залиvistый лай собачьей своры, охваченной неистовой охотничьей яростью, а по временам — звук охотничьего рога, говоривший о том, что за нею следует человек. Вот лай снова оглашает лес, но я не вижу ни лисицы, выбегающей на берег пруда, ни своры, преследующей своего Актеона[273]. Иногда вечером я вижу, как охотники возвращаются на постоянный двор с единственным трофеем — лисьим хвостом, свисающим с саней. Они говорят мне, что если бы лиса не вылезала из своей норы в мерзлой земле, она была бы в безопасности, и если бы убегала только по прямой, ни одна собака не могла бы ее догнать; вместо этого она, далеко опередив своих преследователей, останавливается передохнуть и прислушаться, пока те снова не настигают ее; а бежит кругами, возвращаясь на прежнее место, где ее поджидают охотники. Иногда, впрочем, она долго бежит по стенке и спрыгивает с нее далеко в сторону; как видно, она знает также, что в воде ее след

теряется. Один охотник рассказывал мне, что однажды лиса, преследуемая собаками, выскочила на Уолденский пруд, где на льду стояли мелкие лужи, пробежала некоторое расстояние и вернулась на тот же берег. Скоро прибежали и собаки, но тут они потеряли след. Иногда мимо моих дверей пробегала свора собак, которая охотилась сама по себе; они обегали дом кругом и завывали и лаяли, не замечая меня, охваченные каким-то безумием, и ничто не могло их отвлечь от преследования дичи. Так они кружат, пока не нападут на свежий лисий след, потому что умная собака ради этого бросает все на свете. Однажды в мою хижину зашел человек из Лексингтона спросить, не видел ли я его собаку, которая куда-то далеко забежала и целую неделю охотится сама по себе. Боюсь, что ему было мало проку от беседы со мной, потому что каждый раз, как я пытался ответить на его вопросы, он прерывал меня и спрашивал: «А вы сами-то что тут делаете?» Он потерял собаку, а нашел человека.

Один немногословный старый охотник, который раз в году приходил искупаться в Уолдене, когда вода была всего теплее, и всегда при этом заглядывал ко мне, рассказал, что однажды, много лет назад, он как-то взял ружье и пошел в Уолденский лес; на уэйлендской дороге он услышал приближавшийся лай; на дорогу выскочила лиса, тут же, как молния, переметнулась через изгородь на другую сторону, и его быстрая пуля не догнала ее. Следом за ней мчалась старая охотничья сука с тремя щенками, которая охотилась без хозяина и тут же снова исчезла в лесу. Под вечер того же дня, отдыхая в чаще к югу от Уолдена, он слышал издали, в направлении Фейр-Хэвена лай собак, все еще гнавших лису; звонкий лай приближался, он слышался уже с Уэлл-Мэдоу, потом с фермы Бейкер. Он долго слушал эти звуки, столь приятные для уха охотника, как вдруг появилась лиса; легко и бесшумно скользя под торжественными лесными сводами, заглушавшими ее бег сочувственным шелестом листьев, она оставила преследователей далеко позади; вскочив на скалу, она прислушалась и уселась спиной к охотнику. На мгновение жалость удержала его руку, но это был лишь миг; он навел ружье, выстрелил — и мертвая лиса скатилась со скалы. Охотник не двинулся с места, прислушиваясь к собакам. Теперь уже ближний лес оглашался их яростным лаем.

Наконец показалась старая сука; она бежала, уткнувшись в след, кусая воздух, точно одержимая, и кинулась прямо к скале; увидав мертвую лису, она сразу умолкла, онемев от изумления, и молча стала ходить вокруг нее; подросли щенки и тоже, как и мать, смолкли, отрезвленные непонятной им тайной. Тут охотник вышел к ним, и тайна раскрылась. Они молча смотрели, как он снимал шкуру, некоторое время шли за ним, потом свернули в лес. Вечером сквайр из Уэстона пришел к конкордскому охотнику спросить про своих собак и сказал, что они уже неделю охотятся одни. Конкордский охотник сообщил ему все, что знал, и предложил лисью шкуру, но тот ее не взял и ушел. В тот вечер он не нашел своих собак, но на другой день узнал, что они переправились через реку и ночевали на одной ферме, где их хорошо покормили, а утром побежали дальше.

Охотник, рассказавший мне это, помнил некого Сэма Наттинга, который ходил на медведя на уступах Фейр-Хэвена, а потом обменивал в Конкорде медвежьи шкуры на ром; тот говорил, что видел там даже лося. У Наттинга была знаменитая гончая по кличке Бергойн — он произносил «Бьюгайн», — которую мой рассказчик не раз брал на охоту. В бухгалтерской книге одного нашего старого купца, который одновременно был капитаном, секретарем

городской управы и депутатом, я нашел следующую запись: «Янв. 18, 1742-43 г. Джону Мелвену кредит за 1 серую лису 0-2-3». Такие у нас теперь не водятся. В его же гроссбухе, на 7 февраля 1743 г. Езекии Страттону предоставлен кредит «под 1/2 кошачьей шкуры 0-1-4 1/2»; это, несомненно, была дикая кошка, потому что Страттон служил сержантом в старой французской войне и не получил бы кредита под менее благородную добычу. Кредит предоставлялся также и под олени шкуры, и они продавались ежедневно. Один человек до сих пор хранит рога последнего оленя, убитого в нашей местности, а другой рассказывал мне подробности этой охоты, в которой участвовал его дядя. Охотники некогда составляли у нас многочисленную и веселую компанию. Я хорошо помню одного сухощавого старого Нимврода,[274] который срывал придорожный листок и извлекал из него страстные и гармонические звуки, лучше, как нам казалось, чем из любого охотничьего рога.

В лунные ночи мне иногда встречались охотничьи собаки, рыскавшие по лесу; завидев меня, они опасливо сворачивали с дороги и ждали в кустах, пока я пройду мимо.

Белки и полевые мыши оспаривали друг у друга мои запасы орехов. Вокруг моего дома росли десятки смолистых сосен, от одного до четырех футов в диаметре; в предыдущую зиму они были обглоданы мышами — зима была настоящей суровой норвежской зимой, снега было много, и он лежал долго, и мышам пришлось прибавить к своему рациону большое количество сосновой коры. Летом эти деревья, казалось, были здоровехоньки и многие подросли на целый фут, хотя кора на них была обгрызана вокруг всего ствола; но прошла еще зима, и они засохли все до единого. Удивительно, что одной мыши полагается на обед целая сосна, и все оттого, что она обгрызает кору вокруг дерева, а не вдоль. Но, может быть, это необходимо, чтобы проредить сосны, которые иначе растут чересчур густо.

Хорошо освоились со мной зайцы (*Lepus Americanus*). Один всю зиму прятался под домом, отделенный от меня только полом, а каждое утро, стоило мне шевельнуться, поспешно удирал — стук-стук-стук — второпях ударяясь головой о доски пола. В сумерках зайцы собирались у моих дверей погрызть выброшенные мной картофельные очистки, и были так похожи цветом на землю, что когда не двигались, были незаметны. Иногда в полутьме я то мог разглядеть одного из них под окном, то снова терял из виду. Когда я вечером открывал дверь, они вскрикивали, подпрыгивали и мчались прочь. Вблизи они вызывали во мне одну только жалость. Однажды вечером один из них долго сидел возле самых дверей, дрожа от страха, но не решаясь двинуться: жалкое создание, тощее, костлявое, остроносое, с рванными ушами, с жиденьким хвостом и тонкими лапами. Казалось, что природа оскудела, когда создавала его и была уже неспособна ни на что лучшее. Его большие глаза казались наивными и больными, подпухшими, как бывает при водянке. Я сделал шаг и — о чудо! — он упругими прыжками полетел по снежному насту, грациозно растянув все тело, и вмиг был далеко в лесу, — свободная лесная дичь показала свою силу и утвердила достоинство Природы. Недаром, значит, он так тонок. Такова его природа (некоторые производят *lepus* от *livipes* — легконогий).

Плоха та местность, где не водятся кролики и куропатки. Это одни из основных туземных представителей животного мира, старинные роды, известные и древности, и нашему времени, плоть от плоти Природы, близкая родня листьям, земле и друг другу; только у одних крылья, а у других быстрые ноги. Когда вы вспугиваете кролика или куропатку, вам

не кажется, что это дикое животное, — это просто что-то ожидаемое и естественное, точно прошуршал лист. Куропатка и кролик, как истинные туземные жители, уцелеют при любых переменах. Если сводят лес, молодая поросль дает им достаточное укрытие, и их становится еще больше. Бедна та страна, где нечем прокормиться зайцу. Наши леса изобилуют теми и другими; возле любого болота вы можете увидеть куропатку или кролика, и всюду на их пути — западни и капканы, расставленные каким-нибудь пастухом.

Пруд в зимнюю пору

После тихой зимней ночи я проснулся с таким чувством, точно мне задали вопрос, на который я тщетно пытался ответить во сне — что — как — когда — где? Но то была пробуждавшаяся Природа, в которой пребудет все живое; она безмятежным взором заглянула в мои широкие окна, и на ее устах не было вопросов. Ответ был дан — Природой и светом дня. Глубокий снег, молодые сосны и самый склон, где стоял мой дом, казалось, говорили: Вперед! Природа не задает вопросов и не отвечает на вопросы смертных. Она уже давно приняла решение: «О царевич! Взор наш восторженно созерцает, а душа воспринимает дивные и бесконечно разнообразные зрелища нашего мира. Ночь, несомненно, скрывает от нас часть этого великолепия; но наступает день и озаряет великое творение, простершееся от земли до заоблачных пространств».

Принимаюсь за утреннюю работу. Сперва беру топор и ведро и иду по воду, если только это не сон. После холодной и снежной ночи нужен волшебный прутик[275], чтобы ее найти. Каждую зиму дрожащая водная поверхность, чувствительная ко всякому дуновению, отражающая все смены света и тени, твердеет на целый фут, а то и полтора в глубину, так что может выдержать самую тяжелую подводу, а иногда еще на столько же покрывается снегом, и ее не отличишь от любого поля. Подобно суркам на соседних холмах, пруд закрывает глаза и на три с лишком месяца впадает в спячку. Стоя на заснеженной равнине, точно на лугу среди холмов, я врубаюсь сперва на фут в снег, потом на фут в лед и открываю у своих ног окошко; наклоняясь к нему напиться, я заглядываю в тихое жилище рыб, усыпанное, как и летом, светлым песком, наполненное мягким светом, словно пропущенным сквозь матовое стекло; там царит безмятежный, вечный покой, тот же, что в янтарном небе, гармонирующий с бесстрастным и ровным нравом обитателей. Небеса находятся у нас под ногами, а не только над головой.

Ранним утром, когда все поскрипывает на морозце, приходят люди с удочками и скудным завтраком и закидывают тонкие лесы в глубь снежного поля, за окунями и молодыми щуками; дикие люди, которые инстинктивно следуют иным обычаям и доверяют иным авторитетам, чем их земляки, — своими походами они связуют города воедино, там, где связь иначе распалась бы. Они садятся завтракать на берегу, на сухих дубовых листьях, одетые в грубую шерстяную одежду, сведущие в науке Природы, как горожане — в других науках. Они не заглядывают в книги; они знают и умеют рассказать гораздо меньше, чем могут сделать. Многие из того, что они делают, говорят, еще не открыто наукой. Вот один ловит щук на окуня. Вы изумленно заглядываете к нему в ведро, словно в летний пруд; должно быть, он запер у себя лето или знает, где оно прячется. Ну, откуда он достал все это среди зимы? Очень просто — когда земля промерзла, он добыл червей из гнилых колод, а на них наловил окуней. Он погружается в жизнь Природы глубже, чем ученый-натуралист и сам мог бы служить такому ученому предметом изучения. Последний в поисках насекомых осторожно приподымает ножом мох и кору; а первый разрубает топором бревна, так что мох и кора летят во все стороны. Он зарабатывает на жизнь, сдирая кору с деревьев. Такой

человек имеет известное право рыбачить, и мне нравится наблюдать в нем свершение законов Природы. Окунь глотает червя, щука глотает окуня, рыболов — щуку, и так заполняются все деления на шкале бытия.

Бродя возле пруда в туманные дни, я иногда с интересом наблюдал, какими примитивными методами пользуются иные рыболовы. Они кладут ольховые сучья на узкие проруби, отстоящие футов на шестьдесят друг от друга и на столько же удаленные от берега, привязывают конец лесы к палке, чтобы ее не затянуло, перекидывают ее через одну из ольховых веток, торчащих надо льдом примерно на фут, и прикрепляют к ней сухой дубовый лист; когда лист дернет книзу, рыболов знает, что у него клюнуло. Проходя берегом, то и дело видишь сквозь туман эти ольховые сучья.

О, уолденские щуки! Вот они лежат на льду или в углублении, которое рыболов вырубает во льду, с маленьким отверстием для воды, и всякий раз я удивляюсь их редкостной красоте, словно это сказочные рыбы, — до того они чужды нашим улицам и даже лесу, так же чужды, как Аравия, всей нашей конкордской жизни. Они ослепительно, несравненно прекрасны и так непохожи на трупную треску и пикшу, которую громко расхваливают торговцы. Их цвет — это не зеленый цвет сосны, не серый цвет камней и не синий цвет неба; он кажется мне более редкостным, подобным окраске цветов или драгоценных камней, точно это жемчужины, живые nuclei (ядра — лат.) или кристаллы уолденской воды. Они всецело принадлежат Уолдену; они сами — маленькие Уолдены животного царства. Удивительно, что их здесь ловят; что в этом глубоком просторном водоеме, над которым громяют повозки и позвякивают сани, проезжающие по Уолденской дороге, плавают эти большие изумрудно-золотистые рыбы. Я никогда не видал таких на рынке; от них там не могли бы отвести глаз. Несколько судорожных движений — и они легко испускают свой водяной дух, точно смертный, до срока вознесенный живым в разреженный воздух небес.

В начале 1846 г., желая найти давно потерянное дно Уолденского пруда, я тщательно обследовал его,[276] прежде чем он вскрылся, с помощью компаса, цепи и лота. О дне, вернее о бездонности, этого пруда рассказывали множество совершенно необоснованных историй. Удивительно, как долго люди могут верить, что дна нет, не давая себе труда промерить его. За одну прогулку я побывал на двух таких бездонных прудах в нашей местности. Многие считали, что Уолден выходит прямо на другую сторону земного шара. Иные подолгу лежали на льду, глядя сквозь это обманчивое стекло, да еще, вероятно, слезящимися глазами; торопясь сделать выводы, пока не схватили воспаление легких, они видели огромные ямы, «куда можно провезти воз сена», — если бы было кому везти, — т. е. явные истоки Стикса и местные врата Ада. Другие являлись из деревни с грузом в полцентнера и целым возом каната, но так и не смогли найти дно; пока груз где-то покоился, они травили веревку, тщетно пытаясь измерить свою подлинно безграничную способность верить чудесам. Но я смею заверить читателей, что у Уолдена имеется достаточно плотное дно на вполне правдоподобной, хотя и необычной глубине. Я легко достал его с помощью рыболовной лесы и камня весом примерно в полтора фунта и смог точно определить, когда камень отделился от дна, потому что мне пришлось тянуть гораздо сильнее, пока вода не стала помогать мне снизу. Наибольшая глубина пруда составляет ровно 102 фута; сюда можно добавить те пять футов, на которые с тех пор поднялся его уровень, т. е. всего 107. Это — удивительная глубина для пруда столь небольших размеров,

но даже такая цифра мала для ненасытного воображения. А что, если бы все пруды были мелкими? Не оказало ли бы это влияния на умы? Я благодарен, что этот пруд настолько глубок и чист, что может служить символом. Пока люди верят в бесконечность, они будут считать некоторые пруды бездонными.

Один местный фабрикант, услышав о моих измерениях, решил, что они неверны, так как знал, по опыту с плотинами, что песок не мог бы удерживаться на таком крутом склоне. Но самые глубокие пруды менее глубоки по отношению к своей площади, чем полагает большинство, и если бы их осушить, из них не получилось бы особенно живописных долин. Это не чаши между холмами; и даже наш пруд, необычно глубокий для своей площади, в вертикальном сечении через центр представляется не глубже мелкой тарелки. Большинство прудов, если спустить из них воду, окажутся луговинами, не глубже обычных. Уильям Гилпин,[277] замечательно и обыкновенно весьма точно описывающий ландшафты, стоя у начала Лох Файна в Шотландии, который он называет «соленым заливом глубиной в 60–70 фатомов, шириной в четыре мили, а длиной около пятидесяти, окруженным горами», пишет: «Если бы мы увидели его тотчас после древнего обвала или иной породившей его судороги Природы, прежде чем туда хлынула вода, какая это была бы зияющая бездна!

*А наряду с вершинами крутыми
Вдруг опустилась почва, обнажив
Глубокое русло [278]*

Но возьмем кратчайший диаметр Лох Файна и сравним его с Уолденом, который, как мы говорили, в вертикальном сечении всего лишь мелкая тарелка, и он окажется в четыре раза мельче. Теперь мы легко представим себе и зияющую бездну безводного Лох Файна. Несомненно, что многие приветливые долины, покрытые колосющимися полями, — это такие же «зияющие бездны», откуда отступили воды; хотя только проницательный геолог может убедить в этом ничего не подозревающих жителей. Пытливый глаз часто обнаруживает в низких дальних холмах берега первозданного озера; чтобы скрыть их историю, не понадобилось последующего повышения равнины. Но легче всего обнаружить впадины по лужам, остающимся после дождя; это хорошо знают те, кто работает на дорогах. Дело в том, что воображение, если дать ему хоть малейшую волю, ныряет глубже и взлетает выше границ Природы. Глубина океана, вероятно, окажется очень незначительной в сравнении с его площадью.

Так как я производил измерения через ледяной покров, я смог определить рельеф дна более точно, чем при измерении незамерзающих заливов, и был изумлен правильностью этого рельефа. В самой глубокой части лежит несколько акров, более ровных, чем любое поле, открытое солнцу, ветру и плугу. В одном наудачу выбранном направлении глубина на протяжении 500 футов не менялась даже на фут; и вообще на середине пруда я мог в радиусе до 100 футов заранее вычислить глубину с точностью до трех-четырех дюймов. Некоторые любят говорить о глубоких и опасных ямах даже в таком спокойном песчаном дне, но все неровности сглаживаются под действием воды. Правильность дна и его соответствие берегам и цепи окружающих холмов была такова, что какой-нибудь отдаленный мыс угадывался по измерениям, производимым совсем в другой части пруда, а его направление можно было определить, наблюдая противоположный берег. Мыс становится

как бы отражением отмели, а долина и ущелье — отражением глубоководных мест и узких проливов.

Составив карту пруда[279] в масштабе 160 футов = 1 дюйму и записав более 100 промеров, я установил удивительное совпадение. Заметив, что цифра, означавшая наибольшую глубину, оказалась примерно в центре карты, я положил линейку сперва вдоль карты, а затем поперек и к своему удивлению обнаружил, что линия наибольшей длины пересекала линию наибольшей ширины *как раз* в точке наибольшей глубины, хотя на середине дно ровное, очертания пруда далеко не правильны, а наибольшую ширину и длину я получил, измеряя также и бухты. Тут я сказал себе: не этот ли принцип определяет и наибольшую глубину океана, как и любого пруда и лужи? И не он ли лежит в основе измерения высоты гор, если рассматривать их как противоположность долин? Нам известно, что холм всего выше не там, где он всего уже.

Из пяти бухт я промерил три и во всех трех обнаружил мель поперек входа и бóльшую глубину внутри, так что бухта вдавалась в сушу не только горизонтально, но и вертикально, образуя как бы отдельный водоем или пруд, а направление обоих мысов, ограничивавших бухту, указывало, как расположена мель. На морском побережье каждая гавань также имеет при входе мель. Чем шире был вход в бухту в сравнении с ее длиной, тем больше была глубина перед мелью по сравнению с глубиной внутри бухты. Таким образом, зная длину и ширину бухты и характер берегов, мы располагаем почти всеми данными, чтобы вывести общую формулу для всех случаев.

Чтобы проверить, насколько точно я смогу угадать с этими данными точку наибольшей глубины пруда с помощью одного только наблюдения его поверхности и общего характера берегов, я начертил план Белого пруда, который имеет площадь около 41 акра и, подобно нашему, не имеет островов, а также видимых истоков и оттока. Поскольку линия наибольшей ширины оказалась очень близко к линии наименьшей ширины — первая там, где в сушу вдавались два залива, лежащие друг против друга, а вторая там, где навстречу друг другу выступали два мыса, — я выбрал в качестве точки наибольшей глубины точку, близкую к этой последней и лежащую вместе с тем на линии наибольшей длины. Проверка показала, что наибольшая глубина была менее чем в 100 футах оттуда, еще дальше в направлении моей поправки, а цифра оказалась всего на фут больше — 60 футов. Разумеется, подводное течение или остров намного осложнили бы мои вычисления.

Если бы нам были известны все законы Природы, достаточно было бы одного факта или описания одного явления, чтобы вывести всю их совокупность. Но мы сейчас знаем лишь очень немного этих законов, и ошибки в наших вычислениях вызываются не путаницей в Природе, а нашим незнанием основных расчетных данных. Наши понятия о законе и гармонии ограничиваются обычно лишь подмеченными нами случаями; но несравненно чудеснее гармония, вытекающая из гораздо большего числа по видимости противоречивых, а на деле согласных между собой законов, которые нами еще не обнаружены. Каждый отдельный закон — это как бы точка, с которой нам открывается то или иное явление; так путешественнику с каждым шагом представляются все новые и новые очертания одной и той же горы, у которой бесчисленное множество профилей, но одна неизменная форма. Даже расколов ее или пробуравив насквозь, мы не охватываем ее в ее целостности.

Мои наблюдения над прудом верны и для области этики. Здесь также действует закон средних чисел. По правилу двух диаметров мы не только находим солнце в нашей планетной системе и сердце в человеческом теле; проведите линии наибольшей длины и наибольшей ширины через всю массу повседневных дел человека и через волны жизни, захватив также его бухты и фиорды, и на месте их пересечения вы найдете вершину или глубину его души. Быть может, достаточно знать направление его берегов и прилегающую местность или обстоятельства, чтобы вычислить его тайные глубины и его дно. Если вокруг него громоздятся горы, ахиллесовы берега,[280] чьи вершины нависают над ним и отражаются в его сердце, это говорит о таких же глубинах в нем самом. А низкие и ровные берега показывают, что там мелко. Так же и в нашем теле: смело выступающий лоб указывает на глубину мысли. У входа в каждую нашу бухту или склонность также лежит мель, и каждая на время служит нам закрытой гаванью, где мы задерживаемся. Склонности эти обычно не случайны, их форма, размеры и направление определяются очертаниями берегов и прежней осью поднятия. Когда бури, приливы или течения постепенно нарастят мель или спад воды обнажит ее, и она выступит над поверхностью, прежняя едва заметная впадина, где приютилась мысль, становится самостоятельным озером, отрезанным от океана, а мысль обретает там особые условия и может под их влиянием превратиться из соленой в пресную, стать годной для питья, или мертвым морем, или болотом. Всякий раз, когда в мир является новый человек, не выступает ли где-нибудь на поверхность такая мель? Правда, мы так неискусны в навигации, что мысли наши большей частью плывут вдоль берега, не имеющего гавани; они знакомы лишь с бухтами поэзии или стремятся в открытые порты и становятся в сухие доки науки, где их просто ремонтируют, и ни одно естественное течение не придает им индивидуального своеобразия.

Что касается истоков Уолдена и оттока из него воды, то я не обнаружил ничего, кроме дождя, снега и испарения, хотя, быть может, с помощью термометра и веревки можно было бы отыскать подводные ключи, потому что в этих местах вода должна быть летом всего холоднее, а зимой теплее. Когда зимой 1846/47 г. здесь рубили лед, рабочие при укладке льдин однажды забраковали часть их, потому что они были тоньше и не укладывались вместе с остальными. Так обнаружилось, что в одном месте лед был на два-три дюйма тоньше, чем остальной, и это заставило рабочих предположить, что там в пруду бьет родник. В другом месте они показали мне, как они думали, сквозное отверстие, через которое вода из пруда просачивалась под холмом на соседний луг; они подтолкнули меня туда на льдине, чтобы я мог разглядеть его поближе. Это было небольшое углубление, футах в десяти под поверхностью воды, но я, видимо, могу гарантировать, что если они не найдут худшей течи, пруд обойдется без починки. Один из них предложил, если такая «течь» найдется, проверить, не соединяется ли она с лугом, подбросив к отверстию цветной порошок или опилки, а потом профильтровать воду в луговом ручье, в котором должны оказаться эти цветные частицы, вынесенные течением.

Когда я производил промеры, лед на пруду, толщиной в 16 дюймов, волновался под легким ветром, точно вода. Известно, что на льду нельзя применять ватерпас. В 15 футах от берега наибольшие колебания, отмеченные с помощью ватерпаса (установленного на берегу и направленного на шест с делениями, стоявший на льду), составляли три четверти дюйма, хотя лед казался прочно примерзшим к берегу. На середине они, вероятно, были больше. Будь наши инструменты достаточно тонки, как знать? — быть может, мы уловили бы

волнообразные колебания земной коры. Когда две ноги моего ватерпаса стояли на берегу, третья — на льду, а маркшейдерские знаки были направлены надо льдом, ничтожные колебания льда составляли для дерева на другом берегу пруда разницу в несколько футов. Когда я стал делать проруби для своих измерений, на льду, под глубоким слоем снега, давившего на него, оказалось три-четыре дюйма воды; но в эти проруби тотчас же устремилась вода и текла в течение двух дней сильными потоками, которые со всех сторон подмыли лед и способствовали осушению поверхности пруда; ибо вся эта вода подняла лед, и он всплыл. Похоже было на то, что я прорубил отверстие в днище корабля, чтобы выпустить оттуда воду. Когда такие отверстия замерзают, а потом идет дождь, и новый мороз образует поверх всего свежий гладкий лед, он бывает изнутри красиво расписан темными линиями, несколько напоминающими паутину; эти ледяные розетки — следы водяных струй, стекавших со всех сторон к одному центру. А когда на льду стояли мелкие лужи, мне случалось видеть сразу две свои тени, причем одна стояла на голове у другой — одна на льду, вторая на деревьях или на склоне холма.

Еще в студеное января, когда снег и лед лежат толстым и прочным слоем, хороший хозяин приходит из деревни запастись льдом для охлаждения напитков в летний зной; до чего же это мудро и дальновидно — предвидеть июльскую жару и жажду сейчас, в январе, когда на тебе толстое пальто и варежки! А между тем, многими вещами мы не запасаемся. Вот и он, вероятно, не запасает на земле ничего, что могло бы утолить его жажду на том свете. Он рубит и пилит лед на пруду, раскрывает над рыбами крышу и увозит их родную стихию, воздух, которым они дышат, перевязав его веревками, точно дрова, пользуясь зимним морозом, в холодные погреба, где лед пролежит до лета. Когда лед везут по улицам, он кажется издали отвердевшей лазурью. Ледорубы — веселый народ, любители посмеяться и пошутить; когда я появлялся среди них, они предлагали мне пилить с ними вместе, с условием, чтобы я стоял внизу.

Зимой 1846/47 г. на пруд в одно прекрасное утро неожиданно явилась сотня людей северного происхождения, а с ними — множество возов, груженных неуклюжими сельскохозяйственными орудиями, санями, плугами, тачками, садовыми ножами, лопатами, пилами, граблями; каждый был вооружен обоюдоострой пикой, описания которой вы не найдете в «Новоанглийском фермере»[281] или «Культиваторе». Я подумал, что они явились сеять зимнюю рожь или еще какой-нибудь злак, только ввезенный из Исландии. Не видя удобрения, я предположил, что они, как и я, намерены обойтись без него и считают, что почвенный слой здесь глубок и достаточно долго пролежал под паром. Они сказали, что всем делом руководит некий богатый фермер,[282] который пожелал удвоить свое состояние и без того уже составляющее полмиллиона; а чтобы удвоить свои доллары, он решил содрать единственную одежду, вернее шкуру, с Уолдена, в самый разгар суровой зимы. Они тотчас взялись за дело и начали пахать, боронить и бороздить, в отличном порядке, точно устраивали образцовую ферму; но пока я старался разглядеть, что за семена они бросают в борозду, парни принялись ловко срезать целинную почву до самого песка, вернее, до воды, потому что почва здесь пропитана водой, как губка, — она, собственно и составляет всю terra firma (твердую землю — лат.) — и грузить ее в сани; тут я догадался, что они добывают торф. Так они являлись каждый день, возвещаемые особым воем паровоза, из каких-то, как мне казалось, арктических областей, точно стая заполярных птиц. Правда, скво Уолден иногда мстила им; то кто-нибудь из рабочих, идя за своей упряжкой,

проваливался в расщелину, ведущую прямо в Тартар, терял всю свою удаль и почти все тепло и рад был приютиться у меня и признать, что печь — вещь недурная; то мерзлая земля откусывала кусок стального лемеха, или плуг застревал в борозде, и его приходилось вырубать оттуда.

Говоря точнее, сотня ирландцев во главе с американскими надсмотрщиками ежедневно приезжала из Кембриджа за льдом. Они рубили его на куски хорошо известными методами, которые нет нужды описывать, подвозили на санях к берегу и с помощью железных крюков и системы блоков, приводимых в движение лошадьми, подымали на воздух, точно бочонки с мукой, и укладывали рядами друг на друга, словно строили фундамент обелиска, который должен был упереться в облака. Они говорили мне, что в удачный день могут добыть до тысячи тонн, а это — съём примерно с одного акра. Проезжая ежедневно по одному месту, сани проделали во льду, как и на *terra firma*, глубокие колеи; а лошади постоянно ели овес из кормушек, выдолбленных во льду. Так они нагромодили льда на 35 футов в высоту на площади более чем в 100 квадратных футов, а между внешними слоями проложили сена, чтобы не было доступа воздуха, потому что ветер, даже самый холодный, стоит ему найти сквозную щель, выдувает во льду большие пещеры, только местами оставляя хрупкие опоры, и в конце концов совсем разрушает его. Сперва сооружение казалось огромной голубой крепостью или Валгаллой[283], но когда в щели насовали грубого лугового сена, и оно обросло инеем и сосульками, получились древние мшистые руины из голубого мрамора, настоящее жилище Деда Мороза, каким его изображают на календарях, — его собственная хижина, точно он собрался провести с нами лето. Рабочие считали, что не доставят до места и 25 % всего льда, а еще процента два-три растает при перевозке. Однако еще большей части этого льда была уготована иная, непредвиденная участь; то ли лед оказался менее крепок, чем думали, и содержал больше воздуха, то ли по другой причине, но только он так и не попал на рынок[284]. Запас примерно в десять тысяч тонн, сделанный зимой 1846/47 г., был укрыт сеном и досками; в июле его раскрыли и часть льда увезли, но все остальное осталось под солнцем, простояло лето и следующую зиму и окончательно растаяло только к сентябрю 1848 г. Таким образом, пруд почти целиком вернул себе свое.

Уолденский лед, как и вода, имеет вблизи зеленый оттенок, а издали кажется прекрасного голубого цвета, и вы легко отличаете его от белого речного льда и от зеленоватого льда других прудов, лежащих в какой-нибудь четверти мили от него. Иногда одна из ледяных глыб падает с саней ледоруба на деревенскую улицу и лежит там неделю, точно гигантский изумруд, привлекая общее внимание. Я заметил, что кусок Уолдена, в жидком состоянии казавшийся зеленым, кажется с того же расстояния голубым, когда замерзает. Иногда зимой ямки на берегу пруда наполняются зеленоватой водой, а на Другой день превращаются в голубой лед. Быть может, голубой цвет воды и льда объясняется содержащимися в них светом и воздухом; самый прозрачный и будет самым голубым. Лед — интересный предмет для наблюдений. Говорят, что в некоторых складах на Свежем пруду лед отлично сохраняется по пять лет. Отчего ведро воды так скоро загнивает, а в замороженном состоянии навсегда сохраняет свежесть? Принято считать, что таково же отличие страстей от разума.

Итак, в течение двух с лишним недель я наблюдал из своего окна за работой сотни озабоченных людей с упряжками и всеми орудиями сельскохозяйственного труда —

картинка, какие мы видим на первой странице календаря; глядя на них, я каждый раз вспоминал басню о жаворонке и жнецах[285] или притчу о сеятеле[286] и тому подобное; а сейчас все они ушли, и еще через месяц я, вероятно, увижу из того окна только сине-зеленую воду Уолдена, отражающую облака и деревья и испаряющуюся в полном уединении, и не найду никаких следов человека. Быть может, я услышу хохот одинокой гагары, которая разглаживает перья, вынырнув из воды, или увижу рыболова в лодке, созерцающего свое отражение и похожего на плавучий лист; а недавно здесь спокойно, как на твердой земле, трудилась сотня людей.

Итак, оказывается, что томимые зноем жители Чарлстона и Нового Орлеана, Мадраса, Бомбея и Калькутты пьют из моего колодца[287]. По утрам я омываю свой разум в изумительной философии и космогонии Бхагаватгиты[288] со времени ее сочинения прошла целая вечность, и рядом с ней наш современный мир и его литература кажутся мелкими и пошлыми; мне думается, что эта философия относится к некоему прежнему существованию человечества — так далеко ее величие от всех наших понятий. Я откладываю в сторону книгу и иду к колодцу за водой и, о чудо! — встречаюсь там со слугой брамина, жреца Браммы, Вишну и Индры, который все еще сидит в своем храме на Ганге, погруженный в чтение Вед, или живет в корнях дерева, питаюсь хлебом и водой. Я встречаю его слугу, пришедшего за водой для своего хозяина, и наши ведра вместе опускаются в колодец. Чистая вода Уолдена мешается со священной водой Ганга. Подгоняемая попутным ветром, она течет мимо мифических островов Атлантиды и Гесперид, по пути, пройденному Ганноном[289], мимо Терната и Тидора,[290] мимо входа в Персидский залив, согревается теплыми ветрами Индийского океана и течет дальше к берегам, которые Александр[291] знал только по названиям.

Весна

Когда ледорубы вырубают во льду протоки, пруд обычно вскрывается раньше, потому, что вода волнуемая ветром, даже и в холодную погоду подмывает окружающий лед. Но в тот год на Уолдене этого не случилось, ибо скоро он вместо прежней оделся в толстую новую одежду. Наш пруд всегда вскрывается позже соседних, как из-за большей глубины, так и потому, что внутри его нет течения, которое заставляло бы лед скорей таять. Я не помню, чтобы он хоть раз вскрылся зимой, даже в зиму 1852/53 г., которая учинила прудам суровую проверку. Обыкновенно он вскрывается около 1 апреля, на неделю или десять дней позже, чем Флинтов пруд и Фейр-Хэвен; таяние начинается у северного берега и в более мелких местах, в тех, которые и замерзают тоже раньше. Уолден лучше всех здешних водоемов отражает движение времен года, так как менее всего подвержен временным колебаниям температуры. Несколько дней мартовских морозов могут сильно задержать таяние на остальных прудах, а на Уолдене температура повышается почти неуклонно. Термометр, опущенный в середину Уолдена 6 марта 1847 г., показал 32°, т. е. точку замерзания; у берега он показал 33°; на середине Флинтова пруда в тот же самый день температура была 32,5°, а футах в двухстах от берега, на мелководье, подо льдом в фут толщины — 36°. Различие в три с половиной градуса между температурой на глубине и на мелком месте и тот факт, что он почти весь сравнительно неглубок, объясняют, отчего этот пруд вскрывается значительно раньше Уолдена. К весне на мелких местах лед был на несколько дюймов тоньше, чем на середине. А зимой на середине было теплее, и лед был всего тоньше именно там. Каждый, кто бродил летом по мелкой воде, наверняка замечал, насколько вода теплее у самого берега, где глубина всего три-четыре дюйма; а в глубоких местах она теплее на поверхности, чем на глубине. Весной солнце не только повышает температуру воздуха и почвы; его тепло проникает сквозь лед толщиной в фут и больше и на мелких местах отражается от дна, нагревая, таким образом, воду и заставляя лед подтаивать не только прямо сверху, но и снизу; от этого он становится неровным, и заключенные внутри него воздушные пузырьки растягиваются и вверх и вниз, пока он не становится ноздреватым и не разрушается сразу, одним весенним дождем. У льда, как и у дерева, есть особое строение, и когда льдина начинает подтаивать и делается ноздреватой, то при любом ее положении частицы, наполненные воздухом, находятся под прямым углом к поверхности воды. Когда в воде, близко к поверхности, находится камень или бревно, лед над ним бывает гораздо тоньше и часто совсем растапливается отраженным теплом. Мне говорили, что когда в Кембридже пробовали получать лед в плоском деревянном резервуаре, солнечное тепло, отраженное от дна, действовало сильнее, чем холодный воздух, который под ним циркулировал. Когда в середине зимы теплый дождь растапливает на Уолдене обледеленый снег и оставляет в середине твердый, темный или прозрачный лед, по берегам остается полоса ноздреватого, хотя и более толстого, белого льда, образованного этим отраженным теплом. Как я уже говорил, сами пузырьки во льду действуют наподобие зажигательных стекол и растапливают лед снизу.

На пруду в малых масштабах ежедневно наблюдаются все природные явления. По утрам вода на мелких местах обычно нагревается быстрее, чем на глубоких, хотя, может быть, и не так сильно, а за ночь быстрее остывает. День как бы воспроизводит в миниатюре весь год. Ночь — это зима, утро и вечер соответствуют весне и осени, а полдень — лету. Треск и гудение льда указывают на изменения температуры. В одно погожее утро, после холодной ночи, 24 февраля 1850 г., придя на весь день на Флинтов пруд, я с удивлением заметил, что под ударом моего топорика лед гудит, как гонг или тугой барабан. Примерно через час после восхода солнца весь пруд загудел под действием косых солнечных лучей, падавших из-за холма; он потягивался и зевал как просыпающийся человек, все громче и громче, и это длилось часа три-четыре. В полдень он немного соснул, а к ночи, когда стало исчезать солнечное тепло, загудел снова. При устойчивой погоде пруд дает вечерний залп в одно и то же время. Но в середине дня, когда лед полон трещин, а воздух тоже менее упруг, он полностью утрачивает резонанс, и вы уже не можете ударом по нему глушить рыб и ондатр. Рыболовы говорят, что «гром» на пруду пугает рыб и мешает клеву. Пруд гроыхает не каждый вечер, и я не смог бы с уверенностью сказать, когда именно можно ожидать этого грома; но если я не ощущаю перемен погоды, то пруд их чувствует. Кто мог бы ожидать подобной чувствительности от такого большого, холодного и толстокожего создания? Но и у него есть закон и, повинаясь ему, он гремит, когда надо, с такой же неизбежностью, с какой распускаются весенние почки. Земля — вся живая и сплошь покрыта чувствительными сосочками. Самый большой пруд так же чувствителен к атмосферным изменениям, как и капелька ртути, заключенная в трубочку.

Одним из преимуществ жизни в лесу было то, что я имел здесь досуг и возможность наблюдать приход весны. Вот наконец лед на пруду становится ноздреватым, и я могу вдавливать в него каблук. Туманы, дожди и все более теплые солнечные лучи постепенно съедают снег; дни стали заметно длиннее, и мне ясно, что до конца зимы не надо больше запасать дров, потому что много топить уже не придется. Я подстерегаю первые признаки весны, жду первой песни прилетевшей птицы или щелканья бурундука, у которого кончаются запасы, и хочу увидеть, как сурик выглянет из своей зимней квартиры. 13 марта, когда я уже слышал трясогузку, певчего воробья и дрозда-белобровика, лед был еще почти в фут толщиной. По мере того как становилось теплее, все еще не было заметно, чтобы его размывало водой или обламывало и уносило, как на реке; около берега он, правда, совершенно стоял, полосой футов в восемь, но на середине только пропитался водой и стал ноздреватым, так что нога проваливалась насквозь даже там, где толщина его была шесть дюймов; и все же в любой день, после теплого дождя и тумана, он мог сразу исчезнуть вместе с этим туманом, точно по волшебству. Был один год, когда я доходил до середины пруда всего за пять дней до полного исчезновения льда. В 1845 г. Уолден впервые полностью вскрылся 1 апреля; в 1846 г. — 25 марта; в 1847 г. — 8 апреля; в 1851 г. — 28 марта; в 1852 г. — 18 апреля; в 1853 г. — 23 марта; в 1854 г. — 7 апреля.

Все явления, связанные с вскрытием рек и прудов и с установлением погоды, особенно интересны для нас, для нашего климата, отличающегося такими резкими переходами. С наступлением теплых дней те, кто живет возле реки, слышат по ночам треск льда, громкий, как артиллерийская пальба, точно кто-то рвет ледяные цепи, и весь лед исчезает за несколько дней. Вот так же при содроганиях земли возникает из ила аллигатор. Один старик, внимательно наблюдавший Природу и настолько сведущий во всех ее явлениях,

словно еще мальчишкой видел ее на стапелях и помогал прилаживать ей киль, — теперь он возмужал и едва ли может узнать о ней больше, даже если бы дожил до мафусаиловых лет, — этот старик рассказал мне — и мне было странно слышать, что он удивлен каким-либо явлением Природы; я считал, что у нее нет от него секретов, — что однажды весной он взял ружье и лодку и решил заняться утками. В лугах еще был лед, но на реке лед уже весь сошел, и он беспрепятственно проплыл от Сэдбери, где он жил, до пруда Фейр-Хэвен, который неожиданно оказался почти сплошь покрыт прочным льдом. День был теплый, и его удивило, что там осталось так много льда. Не видя нигде уток, он поставил лодку у северного берега одного из островков, а сам спрятался в кустах на южной стороне и решил дожидаться. Футы в 50-ти от берега лед стоял; там была спокойная, теплая полоса воды с илистым дном, любимым утками, и он надеялся, что они не преминут явиться. Прележав неподвижно около часу, он услышал тихий и по-видимому очень отдаленный звук, но удивительно торжественный, непохожий ни на что, слышанное им раньше; этот глухой гул постепенно нарастал и, казалось, должен был завершиться чем-то необычайным; решив, что прилетела огромная стая птиц, он схватил ружье и поспешно вскочил, но к своему удивлению увидел, что это тронулся сразу весь лед, а слышанный им звук был скрежетом крошки льда о берег, — сперва он лишь понемногу крошился, а потом весь вздыбился, разбросав свои обломки по всему острову, пока не остановился.

Но вот, наконец, солнечные лучи падают под прямым углом; теплые ветры нагоняют туман и дождь и растапливают снежные валы, а потом солнце разгоняет туман и освещает пятнистый ландшафт, местами рыжий, а местами еще белый и курящийся паром, где путник пробирается с островка на островок под веселую музыку тысячи звонких струй, набухших кровью зимы, которую они спешат согнать.

Немногие явления доставляли мне больше удовольствия, чем наблюдения над формами, какие принимают в оттепель песок и глина, стекая по склонам глубокой выемки в железнодорожной насыпи, мимо которой лежал мой путь в поселок, — явление, не часто наблюдаемое в таком масштабе, хотя число таких свежих срезов из подходящего материала должно было сильно увеличиться с появлением железных дорог. Этим материалом являлся песок различной мелкости и цвета, с некоторой примесью глины. Весной, когда оттаивает земля, и даже в зимнюю оттепель песок стекает по склонам, как лава, иногда прорываясь из-под снега и затопляя его. Образуются бесчисленные струи и потоки некоего смешанного вещества, которые переплетаются между собой, подчиняясь частью закону течений, а частью законам растительного мира. Стекая, оно принимает форму сочных листьев и лоз, образует множество мясистых побегов более фута толщиной, похожих, если смотреть на них сверху, на разрезные, дольчатые и чешуйчатые слоевища некоторых лишайников, а то еще на кораллы, на лапы леопарда или птиц, на извилины мозга, легкие, кишки и экскременты. Это подлинно *гротескная* растительность, те формы и цвета, которые мы видим воспроизведенными в бронзе, — своего рода архитектурная листва, более древняя и типичная, чем аканф, цикорий, плющ, виноград или другие настоящие листья; при некоторых обстоятельствах им, быть может, суждено стать загадкой для будущих геологов. Вся выемка показалась мне сталактитовой пещерой, извлеченной на поверхность. Песок имеет удивительно насыщенные и приятные оттенки, включающие все тона железа — коричневые, серые, желтоватые и красноватые. Когда стекающая масса достигает дренажной канавы внизу насыпи, она растекается более плоскими *струями*; струи теряют

свою полуцилиндрическую форму, постепенно расширяются, сливаются вместе, все более увлажняясь, пока не образуют почти плоской *песчаной* поверхности, все еще богатой красивыми оттенками, в которой можно проследить первоначальные растительные формы; наконец, уже в воде, она превращается в песчаную *банку*, какие возникают в устьях рек, и растительные узоры теряются в волнистой ряби, покрывающей дно.

Вся насыпь, высотой от 20 до 40 футов, иной раз бывает на целых четверть мили с одной стороны или с обеих покрыта массой такой листвы или сплетениями вздутых вен, и все это появляется за один весенний день. Что замечательно в этой песчаной листве — это ее внезапное появление. Когда я вижу по одну сторону обыкновенную насыпь — потому что солнце действует сперва на одну сторону, — а по другую эту роскошную флору, рожденную за один час, я ощущаю особое волнение, словно в мастерской Художника, создавшего мир и меня самого; кажется, будто я застал его за работой на этой насыпи, и все новые рисунки выходят из-под его неутомимой руки. Я чувствую, что приблизился к жизненным органам земли, ибо песчаный разлив своими извивами напоминает внутренности животного. Так, уже в песках мы находим зачатки листовенных форм. Неудивительно, что земля выражает себя листьями снаружи, раз их образ заключен у нее внутри. Атомы уже знают его и носят в себе. Древесный лист видит здесь свой прототип. *Внутри*, будь то внутренность земли или живого организма, он выступает в виде влажной мясистой дольки, слово, особенно применимое к печени, легким и слоям жира (*labour, lapsus* — течь или скользить вниз, выпадение; *globus, lobe, globe*, а также *lap, flare* многие другие слова); *снаружи* это — сухой, тонкий *лист*, где *f* и *v* представляют собой засушенный и спрессованный *b*. Корневыми согласными слова *lobe* являются *lb*; здесь мягкая масса *b* (ординарной дольки, или *B* — двойной дольки) подталкивается вперед жидким *l*. В слове *globe* мы имеем согласные *glb*, где гортанный звук *g* добавляет к их значению емкость глотки. Перья и крылья птиц — это листья более сухие и тонкие[292]. Так совершается переход от неуклюжей личинки, скрытой в земле, к воздушной, порхающей бабочке. Сама планета непрерывно проходит ряд превращений и летит по своей орбите уже крылатой. Даже образование льда начинается с нежных хрустальных листьев, точно он заполняет формы, запечатленные на зеркале пруда листьями водяных растений. Все дерево, в сущности, — единый лист, а реки — это прожилки на листьях еще больших размеров; лежащая между ними суша — это мякоть листьев, а города — яички, отложенные на листьях насекомыми.

С заходом солнца песок перестает сползать, но с утра потоки текут снова, растекаясь и разветвляясь на бесчисленные ручейки. Здесь можно наблюдать, как образуются кровеносные сосуды. Присмотритесь пристальнее, и вы увидите, что сперва из тающей массы выползает размягченный песок с округленным, каплеобразным концом, подобным пальцу, медленно нащупывающему спуск; когда солнце подымается выше, и тепло и влага увеличиваются, наиболее жидкая его часть, повинаясь закону, которому подчинена самая инертная субстанция, отделяется от остальной массы и прорезает себе канал или артерию; и вот от одного мясистого завитка к другому бежит и поблескивает серебристая струйка, временами пропадая в песке. Удивительно, как быстро и в то же время искусно оформляется этот текучий песок, используя все лучшее из своего состава для образования острых краев протока. Так бывает в истоках рек. Кремнистые вещества, отлагаемые реками, — это костная система, а более тонкие почвенные и органические вещества — это ткани мышц или клеток. Что такое человек, как не масса влажной глины? Мякоть нашего пальца

имеет форму застывшей капли. Пальцы рук и ног — это застывшие струйки тающей массы тела. Кто знает, какие формы могло бы принять наше тело под более теплыми небесами? Разве наша рука не похожа на *пальмовый* лист, с такими же дольками и прожилками? Ухо, при наличии фантазии, можно представить себе, как лишайник *umbilicaria*, прилепившийся к голове, и его мочка — тоже капля. Губы — по латыни *labium*, от *labour* (?) — это оплывы по сторонам рта. Нос — это явная застывшая капля или сталактит. Подбородок — еще более крупная капля, стекающая с лица. Щеки — это оползни со лба в долину лица, встретившие на своем пути скулы. А в листе растения каждая долька — тоже капля больших или меньших размеров; дольки — это пальцы листа; сколько долек, столько и направлений, по которым он растекается, и мог бы растекаться дальше под действием большего тепла или других благоприятных факторов.

Казалось, что один этот склон наглядно воспроизводит принцип, по которому все совершается в Природе. Создатель нашей земли взял патент только на лист. Какой Шампольон[293] расшифрует нам этот иероглиф, чтобы мы могли наконец перевернуть в нашей жизни новый лист? Это явление радует меня больше, чем роскошное плодородие виноградников. В нем, правда, есть нечто, напоминающее экскременты и бесконечные груды требухи и кишок, точно земной шар вывернули наизнанку; зато оно показывает, что у Природы есть утроба, и, значит, она действительно мать человечества. Это выходит из земли мерзлота и начинается весна. Она предшествует весне зеленой и цветущей, как мифология предшествует настоящей поэзии. Ничто так не прочищает зимнюю копоть и несварение. Это убеждает меня, что Земля наша еще в пленках и потягивается во все стороны, как младенец. На лбу самого сурового утеса вьются нежные кудри. В Природе нет ничего мертвого. Кучи листового орнамента лежат вдоль насыпи как шлак из домны, показывая, что там, внутри, печь задута и работает вовсю. Земля — не осколок мертвой истории, не пласты, слежавшиеся, как листы в книге, интересные для одних лишь геологов и антиквариетов; это — живая поэзия, листы дерева, за которыми следуют цветы и плоды; это — не ископаемое, а живое существо; главная жизнь ее сосредоточена в глубине, а животный и растительный мир лишь паразитируют на ее поверхности. Ее могучие движения исторгнут наши останки из могил. Можете плавить металлы и отливать их в красивейшие формы; ни одна не вызовет у меня того восторга, который я испытываю при виде форм, в какие льется расплавленная земля. И не только она, но и все, на ней существующее, пластично, как глина в руках горшечника.

Проходит еще немного времени — и не только на насыпи, но на каждом холме и равнине, в каждой ложбинке мороз вылезает из земли, как зверь из зимней берлоги, и уходит к морю, под музыку ручьев, или в другие края в виде туч. В кроткой Оттепели больше могущества, чем в молоте Тора[294]. Первая растопляет, второй может только разбить в куски.

Когда снег частично сошел и поверхность земли подсохла за несколько теплых дней, было приятно сравнить первые нежные младенческие всходы со строгой красотой увядших растений, переживших зиму, — сушеницей, золотарником[295] и грациозными дикими травами; они казались интереснее, чем даже летом, точно красота их только теперь созрела; даже пушица, рогоз, коровяк, зверобой, лапчатка, таволга вязолистная и другие травы с крепкими стеблями, эти житницы, питающие ранних перелетных птиц, — даже и эти скромные украшения к лицу овдовевшей Природе. Мне особенно нравятся верхушки

камыша, изогнутые наподобие снопов; они зимой напоминают нам о лете; это одна из тех форм, которые охотно воспроизводит искусство и которые в растительном мире так же соотносятся с типами, уже сложившимися в человеческом сознании, как мы это видим в астрономии. Это древний орнамент, старше греческих и египетских. Многие узоры Мороза обладают невыразимой нежностью и хрупкой прелестью. Нам обычно изображают этого властелина грозным тираном, а между тем он с нежностью влюбленного вплетает украшения в косы Лета.

С приближением весны рыжие белки стали попарно забираться ко мне под дом, располагаясь прямо у меня под ногами, когда я читал или писал, и начинали самое удивительное цоканье, журчанье, чириканье, и прочие вокальные пируэты; если я топал ногой, они только еще громче чирикали, в своем безумии словно позабыв страх и уважение и бросая вызов всему человечеству. Знать ничего не хотим — цок, цок! Они были глухи к моим доводам или не находили их убедительными и отвечали забавнейшей бранью.

Первый весенний воробей! Пора новых надежд, светлых, как никогда раньше! Над полуобнаженными и влажными полями звучат слабые серебристые трели трясогузки, певчего воробья и дрозда-белобровика, и кажется, что это падают, звеня, последние зимние сосульки. Что значат в такое время история, хронология, предания и все писанные откровения? Ручьи поют радостные гимны весне. Болотный ястреб, низко проплывая над лугом, уже высматривает первых пробудившихся лягушек. Из каждой лощины слышно, как, шурша, оседает тающий снег, а на прудах быстро тает лед. На склонах холмов весенним пожаром вспыхивает трава «*et primitus oritur herba imbribus primoribus evocata*» (впервые пробивается трава, пробужденная ранними дождями — лат.),[296] это внутренний жар земли рвется к вернувшемуся солнцу, и цвет этого пламени не желтый, а зеленый; стебель травы, символ вечной юности, длинной зеленой лентой взвивается из земли навстречу лету; еще сдерживаемый холодами, он упрямо вылезает снова; сила новой, молодой жизни вздымает копыя прошлогоднего сена. Трава растет так же упорно, как пробивается из-под земли ручей. Между ними близкое родство; в долгие июньские дни, когда ручьи пересыхают, их влага сохраняется в травинках, точно в русле, и стада из года в год пьют из вечного зеленого источника, а косари запасают им оттуда же их зимний корм. Так и наша человеческая жизнь лишь отмирает у корня и все же простирает зеленые травинки в вечность.

Лед Уолдена тает на глазах. Вдоль северного и западного берегов образовался проток футов в тридцать шириной, а у восточного — еще шире. От ледяного покрова отломился огромный кусок. Из береговых кустов я слышу песню певчего воробья: «олит, олит, олит — чип, чип, чип, чи чар — чи уисс, уисс, уисс». Он тоже помогает ломать лед. Как хороши плавные изгибы закраины льда, отчасти повторяющие изгибы берега, но более правильные! Лед необычно тверд из-за недавних суровых, хоть и недолгих морозов, и весь в муаровых узорах, точно дворцовый пол. Западный ветер напрасно скользит по его опаловой поверхности, пока не добирается до чистой воды. Эта водная полоса великолепно сверкает на солнце, и оголенное лицо пруда сияет весельем и молодостью, словно выражая радость рыб в его глубине и песка на его берегах; пруд переливается серебром, как чешуя *leuciscus*,[297] точно весь он — одна огромная резвая рыба. Таков контраст между зимой и весной. Уолден был мертв, а теперь оживает. Этой весной, как я сказал, таяние шло более

дружно.

Переход от вьюг и зимы к тихой и мягкой погоде, от темных, медленно ползущих часов к ярким и быстрым — важное событие, и все в природе спешит возвестить его. Переход завершился почти мгновенно. Мой дом вдруг наполнился светом, хотя дело шло к вечеру и зимние тучи еще нависали над ним, а по застрехам стекал дождь пополам со снегом. Я выглянул из окна, и что же? — там, где вчера лежал холодный серый лед, сегодня прозрачно светился пруд, уже полный надежд и покоя, точно в летний вечер, точно он отражал летнее вечернее небо; его еще не было над ним, но он словно заранее получил о нем весть издалека. Я услышал вдали малиновку — как мне показалось, впервые за много тысячелетий — и много тысяч лет не забуду этих звуков, таких же сильных и сладких, как некогда. О вечерняя песня малиновки в Новой Англии на склоне летнего дня! Хоть бы когда-нибудь найти сучок, на котором она сидит. Именно эту птицу и этот сучок. Это не *Turdus migratorius* (дрозд перелетный — лат.). Смолистые сосны и дубняк вокруг моего дома, уже давно поникшие, стали вдруг вновь похожи на себя, сделались ярче, зеленей, живей и стройнее, точно их омыл и оживил дождь. Я знал, что дождя больше не будет. Достаточно взглянуть на любой сучок в лесу или даже на поленницу дров, чтобы сказать, кончилась зима или нет. Когда стемнело, я услышал трубный крик гусей, летевших низко над лесом, точно усталые путники, которые замешкались на южных озерах и жалуются и ободряют друг друга. Стоя у дверей, я слышал шум их крыльев; внезапно они увидели свет моей лампы, повернули с приглушенным криком и опустились на пруд. А я вошел в дом, закрыл за собой дверь и провел свою первую весеннюю ночь в лесу.

Утром я с порога наблюдал сквозь туман, как гуси плавали на середине пруда, в нескольких сотнях футов от берега, и были такие большие и шумные, что Уолден казался игрушечным прудом, вырытым им на забаву. Но когда я появился на берегу, все двадцать девять сразу поднялись по сигналу вожака, громко хлопая крыльями, построились, сделали круг над моей головой и взяли курс прямо на Канаду, надеясь позавтракать на каком-нибудь более мутном пруду, а вожак по временам окликал их. В это же время поднялась стая уток и тоже потянулась на север, вслед за своими более шумными родичами.

После этого я целую неделю слышал в утреннем тумане растерянное гоготанье какого-то одинокого гуся, который звал подругу, наполняя лес громкими звуками, не вмещавшимися в нем. В апреле появились голуби, прилетавшие маленькими, быстрыми стаями, а скоро я услышал над поляной щебетанье городских ласточек, хотя казалось, что их во всем городе не так уж много, чтобы хватило и для меня; поэтому я решил, что они принадлежали к древнему роду, жившему в дуплах деревьев еще до появления белого человека. Почти во всех странах первыми вестниками и глашатаями весны являются черепаха и лягушка; потом прилетают птицы с песнями и блестящим опереньем, растения пробиваются из земли и расцветают, а ветры дуют, стремясь исправить небольшое колебание полюсов и восстановить равновесие в Природе.

Каждое время года поочередно кажется нам самым лучшим, но приход весны — это точно сотворение Космоса из первозданного Хаоса и наступление Золотого века:

*Eurui ad Auroram, Nabathacaque regna recessit.
Persidaque, et radiis juga subdita matutinis.
Эвр к Авроре тогда отступил, в Набатейское царство,
В Персию, к горным хребтам, под лучами рассвета лежащим.*

*И родился человек. Из божьего ль семени сделал
Онй создатель его, как лучшего мира начало,
Иль молодая земля, разделенная с вышним эфиром
Только что, семя еще сохраняла родимого неба?...[298]*

Достаточно одного тихого дождя, чтобы трава сразу ярче зазеленела. Так и наши надежды оживают от каждой доброй мысли. Блажен был бы тот, кто всегда жил бы в настоящем, пользуясь каждым случаем, выпавшим ему на долю, как трава, которая радуется всякой упавшей на нее росинке, и не тратил времени на искупление упущенных возможностей, именуемое у нас выполнением долга. На дворе весна, а мы все еще живем, как зимой. Благодатное весеннее утро несет нам прощение всех грехов. В такой день пороку нет места. Пока такое солнце нам сияет, пусть грешник на прощенье уповает[299]. Вновь обретенная невинность позволяет нам увидеть и невинность ближнего. Вчера вы знали вашего ближнего за вора, пьяницу или развратника, вы жалели или презирали его и считали мир безнадежно порочным, но в это первое весеннее утро солнце сияет и греет, оно создает мир заново, и вы застаёте соседа за каким-нибудь мирным занятием и видите, как его изможденное пороками тело расцветает тихой радостью и благословляет новый день, как оно с младенческой невинностью поддается влиянию весны, и все его прегрешения забыты. Он не только полон благодати, но и некой святости, ищущей выражения, хотя, быть может, слепо и тщетно, как только что зародившийся инстинкт, и на краткий час эхо холмов не повторяет ни одной грубой шутки. Вы видите, как из-под его огрубевшей коры готовы выбиться новые, невинные побеги, тянущиеся к новой жизни, нежные и свежие, как молодое растение. Даже он «вошел в радость господина своего»[300]. Отчего же тюремщик не распахнет в такой день тюремные двери, отчего судья не отменит разбор дела, а проповедник не отпустит свою паству? Оттого, что они глухи к господнему указанию и не принимают прощения, которые он дарует всем.

«Стремление к добру, ежедневно рождающееся вместе с безмятежным и благотворным дыханием утра, заставляет человека возлюбить добродетель и возненавидеть порок и несколько приближает его к изначальной человеческой природе, — так возникают молодые побеги вокруг срубленных стволов. И, напротив, зло, сотворенное в течение дня, мешает развиваться едва появившимся зачаткам добродетели и уничтожает их.

Если таким образом многократно уничтожать эти ростки, вечерней благодати будет уже недостаточно, чтобы сохранить их. А когда она становится бессильной, природа человека немногим отличается от животного. И люди, видя, что человек этот уподобился животному, полагают, что он никогда и не обладал врожденным разумом. Но так ли должны рассуждать люди?».

*Первый посеян был век золотой, не знавший возмездья,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность.*

*Не было страха тогда, ни кар, и слов не читали
Грозных на бронзе; толпа умолявшая не устрашалась
Уст судьи своего — без судей были все безопасны.
И, не порублена, с тем, чтоб чужие увидеть пределы,
С гор не спускалась своих сосна на прозрачные воды.
Смертные, кроме родных, никаких берегов не знавали.*

*Вечно стояла весна; приятный прохладным дыханьем,
Ласково нежил зефир цветы, не знававшие сева[301].*

29 апреля я удил рыбу на реке возле моста Найн-Эйкр Корнер, стоя в траве-трясунке, на корнях ивы, где любят прятаться ондатры, как вдруг услышал странный треск, вроде того, какой производят мальчишки, проводя рукой по жердям, и, взглянув вверх, увидел маленького изящного ястреба, похожего на козодоя, который то взлетал, то падал, показывая изнанку крыльев, блестящую на солнце, точно атласная лента или перламутровая внутренность раковины. Это зрелище напомнило мне соколиную охоту и все благородное и поэтическое, что с нею связано. Мне казалось, что птицу можно было бы назвать Мерлином,[302] но дело не в имени. Никогда я не видел такого воздушного полета. Он не порхал, как мотылек, и не парил, как крупные ястребы; он с гордой уверенностью резвился в воздушных полях; взлетая снова и снова с тем же странным клекотом, он повторял свое прекрасное и свободное падение, переворачиваясь по несколько раз, как воздушный змей, а потом останавливаясь, точно никогда не касался terra firma. Казалось, что он один во всей вселенной и ему никого не надо, кроме утра и эфира, с которыми он играл. Он не был одинок — это земля под ним казалась одинокой. Где наседка, высижившая его, где его братья и отец небесный? Житель воздуха, он казался связанным с землей лишь через яйцо, некогда высиженное в расщелине скалы; или, может быть, он вывелся в облаках, в гнезде, сплетенном из полосок радуги и закатного неба и высланном нежной летней дымкой, взятой с земли? И сейчас тоже гнездится на каком-нибудь крутом облаке?

Кроме того, я наловил в тот день удивительных золотых, серебряных и медно-красных рыб, похожих на драгоценное ожерелье. О, сколько раз я пробирался в эти луга в первое утро весны, перепрыгивая с кочки на кочку, с одного ивового корня на другой, а вокруг меня леса и дикая речная долина купались в таком чистом и ярком свете, что он разбудил бы мертвых, если бы они спали в могилах, как некоторые думают. Нет более удивительного доказательства бессмертия. В таком свете все должно жить. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?[303]

В жизни наших городов наступил бы застой, если бы не окружающие неисхоженные леса и луга. Дикая природа нужна нам, как источник бодрости; нам необходимо иногда пройти вброд по болоту, где притаилась выпь и луговая курочка, послушать гудение бекасов, вдохнуть запах шуршащей осоки, где гнездятся лишь самые дикие и нелюдимые птицы и крадется норка, прижимаясь брюхом к земле. В нас живет стремление все познать и исследовать и одновременно — жажда тайны, желание, чтобы все оставалось непознаваемым, чтобы суша и море были дикими и неизмеренными, потому что они неизмеримы. Природой невозможно пресытиться. Нам необходимы бодрящие зрелища ее неисчерпаемой силы, ее титанической мощи — морской берег, усеянный обломками

крушений, дикие заросли живых и гниющих стволов, грозовые тучи и трехнедельный дождь, вызывающий наводнение. Нам надо видеть силы, превосходящие наши собственные, и жизнь, цветущую там, куда не ступает наша нога. Нам приятно, что стервятник питается падалью, вызывающей в нас отвращение, и что он набирается на этом пиршестве здоровья и сил. На пути к моему дому лежала дохлая лошадь, и я иногда далеко обходил это место; но я видел в ней доказательство неистребимого аппетита и несокрушимого здоровья Природы, и это меня утешало. Меня радует, что Природа настолько богата жизнью, что может жертвовать мириадами живых существ и дает им истреблять друг друга: сколько нежных созданий она преспокойно перемалывает в своих жерновах — головастика, проглоченных цаплями, черепах и жаб, раздавленных на дорогах; бывает даже, что проливается дождь из живых существ. При таком обилии случайностей мы должны понять, как мало следует придавать им значения. Мудрецу весь мир представляется непорочным. Яд, в сущности, не ядовит, и ни одна рана не смертельна. Сочувствие — весьма слабая позиция. Оно должно быть действенным. Шаблоны в нем нетерпимы.

В начале мая дубы, орехи, клены и другие деревья, выглядывая среди соснового леса вокруг пруда, освещают пейзаж, точно солнцем, особенно в облачные дни, как будто солнце пробивается сквозь туман и кладет там и сям яркое пятно на холмы. 3-го и 4-го мая я увидел на пруду гагару и в первую же неделю услышал козодоя, пересмешника, лесного чибиса и других птиц. Дрозда я услышал еще раньше. Вернулась и горихвостка и уже заглядывала ко мне в дверь и в окно, решая, подходит ли ей дом и достаточно ли он похож на пещеру, и пока осматривала помещение, держалась на трепещущих крыльях, согнув лапки и точно уцепившись за воздух. Скоро пруд, камни и поваленные на берегу стволы покрылись пылью смолистых сосен, ярко-желтой, как серный цвет, и такой обильной, что хоть собирай ее в бочонок. Вот откуда «серные ливни», о которых приходится слышать. Так время катилось все ближе к лету, точно заходишь в траву, которая что дальше, то выше.

Этим завершился первый год моей лесной жизни; второй был с ним схож. 6-го сентября 1847 г. я окончательно покинул Уолден.

Заключение

Доктора мудро советуют больному переменить климат и обстановку. Благодарение богу, свет клином не сошелся. В Новой Англии не растет конский каштан и редко слышен пересмешник. Дикий гусь — большой космополит, чем мы; он завтракает в Канаде, обедает в Огайо и совершает ночной туалет где-нибудь на речных затонах юга. Даже бизон, и тот старается поспевать за сменой времен года; он щиплет траву Колорадо лишь до тех пор, пока в Йеллоустоне не подрастет для него трава позеленее и повкусней. А мы думаем, что если заменить на наших фермах ограды из жердей каменными стенками, это оградит нашу жизнь и решит нашу судьбу. Если тебя избрали секретарем городской управы, тут уж, конечно, не поедешь на лето на Огненную Землю; а в вечном огне все же можешь оказаться. Мир шире, чем наши понятия о нем.

Но нам следует почаще выглядывать через гакборт нашего корабля, как подобает любознательным пассажирам, а не проводить все время, как глупые матросы, за рассучиванием канатов. Противоположная сторона земного шара — это всего лишь место, где живет наш корреспондент. Во всех наших путешествиях мы только описываем круги, и совет врачей годится лишь для кожных болезней. Иной спешит в Южную Африку поохотиться на жирафа, но не эта дичь ему нужна. И сколько времени можно охотиться на жирафов? Бекасы и вальдшнепы тоже, быть может, неплохи, но я думаю, что лучше выслеживать более благородную дичь — себя самого.

В глубины духа взор свой обрати.

Нехоженные там найдешь пути.

По ним спускайся смело — не страшись

Исследования собственной души.[304]

Что означает Африка — и что означает Запад? Разве в глубь нашей собственной души не тянутся земли, обозначенные на карте белыми пятнами, хотя, если исследовать их, они могут оказаться черными, как и побережье? Что мы хотим открыть — истоки Нила, или Нигера, или Миссисипи, или Северо-западный путь вокруг нашего материка? Почему именно эти вопросы должны больше всего заботить человечество? Разве Франклин[305] — единственный пропавший человек, что жена его так тревожится об его розысках? А знает ли м-р Гриннел,[306] где находится он сам? Будьте лучше Мунго Парком, Льюисом, Кларком и Фробишером[307] ваших собственных рек и океанов; исследуйте собственные высокие широты, — если надо, запасите полный трюм мясных консервов для поддержания ваших сил и громоздите пустые банки до небес в знак достигнутой цели. Неужели сохранение мяса изобретено лишь для сохранения нашей собственной плоти? Нет, станьте Колумбами целых новых континентов и миров внутри себя, открывайте новые пути — не для торговли, а для мысли. Каждый из нас владеет страной, рядом с которой земные владения русского царя кажутся карликовым государством, бугорком, оставленным льдами. А ведь есть патриоты, не имеющие уважения к себе и жертвующие большим ради меньшего. Они любят землю, где

им выроют могилу, но не дух, который еще мог бы воодушевлять их бренное тело. Их патриотизм — простая блажь. Чем была Экспедиция Южных морей[308] со всей ее шумихой и затратами, как не косвенным признанием того факта, что в нравственном мире существуют континенты и моря, где каждый человек — перешеек или фиорд, еще неисследованный им самим; но, оказывается, легче проплыть много тысяч миль на правительственном судне, с пятьюстами помощников, подвергаясь холодам, бурям и опасности встреч с каннибалами, чем исследовать собственное море, свой Атлантический и Тихий океаны.

Erret, et extremes alter scrutetur Iberos.

Plus habet hie vitae, plus habet ille viae.

Пусть себе странствуют, изучая Австралию;

Они увидят мир, зато я узрю бога[309]

Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре[310]. Но пока вы не умеете ничего иного, делайте хотя бы это, и вы, может быть, отыщете наконец «Симмсову дыру», [311] через которую можно проникнуть внутрь себя. Англия и Франция, Испания и Португалия, Золотой Берег и Берег Невольничий — все граничат с этим внутренним морем, но еще ни одно судно этих стран не отважилось утерять из виду берег, хотя это, несомненно, прямой путь в Индию. Если хочешь выучиться всем языкам, узнать обычаи всех народов, проехать дальше всех путешественников, освоиться со всеми климатами и заставить Сфинкса разбить себе голову о камень, [312] послушайся совета древнего философа и Познай Самого Себя[313]. Вот где нужны и зоркость и отвага. Одни только побежденные и дезертиры идут на войну, одни только трусы бегут вербоваться. Пускайся же в самый дальний путь на запад, который не кончается на Миссисипи или на Тихом океане и не ведет в дряхлый Китай и Японию, а идет по касательной к земному шару; следуй по этому пути летом и зимой, днем и ночью, на закате солнца и на закате луны, а, наконец, и на закате самой земли.

Говорят, что Мирабо[314] попробовал заняться разбоем на большой дороге, «желая испытать, какая степень решимости требуется для открытого неповиновения самым священным законам общества». Он заявил, что «солдату в бою не требуется и половины того мужества, какая нужна грабителю», «что честь и религия никогда не мешали обдуманной и твердой решимости». По нашим обычным понятиям это было мужественно; и тем не менее — затея была праздная, и даже отчаянная. Более здравый человек весьма часто оказывает неповиновение тому, что считается «самыми священными законами общества», тем, что повинуетсЯ законам, еще более священным, и таким образом может испытать свою решимость без всяких дополнительных хлопот. Человеку нет надобности становиться в такую позицию по отношению к обществу; ему достаточно сохранять ту позицию, какую требует от него повиновение законам собственного естества, а это ни одно справедливое правительство, если только ему такое встретится, не сможет счесть неповиновением.

Я ушел из леса по столь же важным причинам, что и поселился там. Быть может, мне казалось, что мне нужно прожить еще несколько жизней и я не мог тратить больше времени

на эту. Удивительно, как легко и незаметно мы привыкаем к определенному образу жизни и как быстро проторяем себе дорогу. Я не прожил там и недели, а уже ноги мои протоптали тропинку от дверей к пруду, и хотя с тех пор прошло пять или шесть лет, она еще заметна. Возможно, впрочем, что по ней ходили и другие, и потому она не заросла. Поверхность земли мягка и легко принимает отпечатки человеческих ног; так обстоит и с путями, которыми движется человеческий ум. Как же разъезжены и пыльны должны быть столбовые дороги мира — как глубоки на них колеи традиций и привычных условностей! Я не хотел путешествовать в каюте, я предпочел отправиться в путь простым матросом и находиться на палубе мира, откуда лучше виден лунный свет на горах. Я и сейчас не хочу спускаться вниз.

Мой опыт, во всяком случае, научил меня следующему: если человек смело шагает к своей мечте и пытается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех, какого не дано будничному существованию. Кое-что он оставит позади, перешагнет какие-то невидимые границы; вокруг него и внутри него установятся новые, всеобщие и более свободные законы, или старые будут истолкованы в его пользу в более широком смысле, и он обретет свободу, подобающую высшему существу. Чем более он упростит свою жизнь, тем проще представятся ему всемирные законы, и одиночество не будет для него одиночеством, бедность перестанет быть бедностью, а слабость — слабостью. Если ты выстроил воздушные замки, твой труд не пропал даром; именно там им и место. Тебе остается подвести под них фундамент.

Англия и Америка предъявляют нелепое требование: говорить так, чтобы они тебя понимали. При этом условии не растет ни человек, ни поганый гриб. Точно это так важно, и тебя некому понимать, кроме них. Точно Природа может позволить себе только один вид понимания, и в ней нет птиц, а не только четвероногих, летающих, а не только ползающих существ; точно лучшими образцами английского языка является «тес!» и «шш!», понятные Брайту[315]; точно в одной тупости наше спасение. Я больше всего боюсь, что мои выражения окажутся недостаточно *экстравагантными*, не выйдут за узкие пределы моего ежедневного опыта и не поднимутся на высоту истины, в которой я убедился.

Экстравагантность? Тут все зависит от размеров твоего загона. Буйвол, ищущий новых пастбищ в других широтах, менее экстравагантен, чем корова, которая во время дойки опрокидывает ведро, перепрыгивает через загородку и бежит к своему теленку. Я хочу говорить без всяких загоронок, как человек, пробудившийся от сна, с другими такими же людьми, ибо я убежден, что неспособен преувеличить даже настолько, чтобы создать действительно новое выражение. Кто, послушав музыку, побоится после этого говорить чересчур экстравагантно? Ради будущего или возможного надо иметь с фасада как можно более туманные и неясные очертания; так наши тени неприметно испаряются в направлении солнца. Летучая правда наших слов должна постоянно обнаруживать недостаточность того, что остается в осадке. Их правда немедленно подвергается *переводу*, остается лишь их буквальный смысл. Слова, выражающие нашу веру и благочестие, неопределенны, но для высших натур они полны значимости и благоухания.

К чему вечно опускаться до низшей границы нашего восприятия и превозносить ее под именем здравого смысла? Самый здравый смысл — это смысл спящего, выражаемый храпом. Мы склонны порой причислять полутораумных к полоумным, потому что воспринимаем лишь

треть их ума. Есть такие, которым и утренняя заря не пришлась бы по вкусу, если бы они только проснулись достаточно рано. «Стихи Кабира»,[316] как я слышал, «заключают в себе четыре различных значения — иллюзию, дух, интеллект и эзотерическое учение Вед»[317]. А в нашей стране, если сочинение человека допускает более одного толкования, это считается поводом для жалоб. В Англии ищут средства против болезней картофеля, но почему никто не поищет средства против умственных болезней, куда более распространенных и опасных?

Я не думаю, что мне удалось достичь непонятности, но я буду гордиться, если в этом отношении к моим страницам не предъявят других обвинений, чем к уолденскому льду. Южные потребители возражают против его голубого цвета, доказывающего его чистоту; они считают его грязным и предпочитают кембриджский лед, белый, хоть и пахнущий тиной. Чистота, которая нравится людям, — это туман, окутывающий землю, а не лазурный воздух высот.

Некоторые твердят нам, что мы, американцы, и вообще современные люди, являемся умственными пигмеями в сравнении с древними или даже с елизаветинцами. Что ж из того? Живая собака лучше мертвого льва[318]. Неужели человек должен пойти и повеситься из-за того, что он принадлежит к породе пигмеев, не попытавшись стать величайшим из пигмеев? Пусть каждый займется своим делом и постарается быть тем, кем он рожден быть.

К чему это отчаянное стремление преуспеть, и притом в таких отчаянных предприятиях? Если человек не шагает в ногу со своими спутниками, может быть, это оттого, что ему слышны звуки иного марша? Пусть же он шагает под ту музыку, какая ему слышится, хотя бы и замедленную, хотя бы и отдаленную. Необязательно, чтобы он достиг полного роста в тот же срок, что яблоня или дуб. Зачем ему превращать свою весну в лето? Если порядок, для которого мы созданы, еще не пришел на землю, какой действительностью можем мы заменить его? Не к чему нам разбиваться о действительность пустую и бессмысленную. Зачем трудиться над возведением небесного купола из голубого стекла, если мы все равно по-прежнему будем созерцать истинное, бесконечное небо, как будто купола вовсе нет?

В городе Куру[319] жил некогда мастер, стремившийся к совершенству. Однажды он задумал сделать посох. Решив, что для несовершенного творения время что-то значит, но для совершенного существовать не должно, он сказал себе: пусть посох будет совершенством во всех отношениях, хоть бы мне не пришлось больше сделать ничего другого. Он тотчас же отправился в лес за деревом, решив работать только с подходящим материалом; пока он искал и отвергал одно дерево за другим, он остался одинок, потому что все друзья его состарились и умерли, он же не состарился ни на один миг. Его решимость и непоколебимое упорство, его возвышенная вера наделили его вечной юностью, хоть он и не знал об этом. Раз он не шел на сделки с Временем, Время сторонилось его и только издали сокрушалось, что не может его побороть. Прежде чем он нашел вполне подходящее дерево, город Куру превратился в обомшелые развалины, и он уселся на них, чтобы обстругать выбранную наконец палку. Прежде чем он придал ей нужную форму, династия Кандахаров кончилась; острием палки он начертал на песке имя последнего из владык и продолжал свой труд. Он не успел еще отполировать свой посох, когда Кальпа[320] перестала быть путеводной звездой, а прежде чем он приладил к нему

наконечник и набалдашник, украшенный драгоценными камнями, Брама много раз просыпался и засыпал снова[321]. Но к чему перечислять все это? Когда он завершил свою работу, она предстала глазам изумленного художника как прекраснейшее из всех творений Браммы. Делая посох, он создал целую систему, целый новый мир прекрасных и гармоничных пропорций, и в этом мире место старых городов и династий заняли новые, более прекрасные и могучие. А глядя на кучу еще свежих стружек у своих ног, он понял, что для него и его творения протекшее время было всего лишь иллюзией, и что времени прошло не больше, чем надо одной искре из мозга Браммы, чтобы воспламенить трут смертного ума. Материал был чист, чисто было и его искусство; как же могли плоды его не быть совершенством?

Любая видимость, какую бы мы ни придали делу, не может быть, в конечном счете, выгоднее истины. Она — единственное, что есть прочного. Мы большей частью находимся не там, где мы есть, но в ложном положении. Таково несовершенство нашей природы, что мы выдумываем положение и ставим себя в него и оказываемся, таким образом, в двух положениях сразу, так что выпутаться из них трудно вдвойне. В минуты просветления мы видим только факты, только истинное положение вещей. Говорите то, что имеете сказать, а не то, что следовало бы. Любая правда лучше притворства. Перед тем как повесить Тома Хайда, лудильщика,[322] его спросили, что он имеет сказать. «Передайте портным, — сказал он, — чтобы не забывали завязывать узелок на нитке, прежде чем сделают первый стежок». А молитва его товарища давно позабыта.

Как ни жалка твоя жизнь, гляди ей в лицо и живи ею; не отстраняйся от нее и не проклинай ее. Она не так плоха, как ты сам. Она кажется всего беднее, когда ты всего богаче. Придирчивый человек и в раю найдет, к чему придраться. Люби свою жизнь, как она ни бедна. Даже в приюте для бедняков можно пережить отрадные, волнующие, незабываемые часы. Заходящее солнце отражается в окнах богадельни так же ярко, как и в окнах богатого дома, и снег у ее дверей тает весною в то же время. Мне думается, что для спокойного духом человека там возможно то же довольство и те же светлые мысли, что и во дворце. Мне часто кажется, что городские бедняки живут независимее всех. Быть может, дух их достаточно высок, чтобы не стыдиться принимать даяния. Большинство считает ниже своего достоинства кормиться милостыней города, но часто те же люди не считают унижительным кормиться нечестными средствами, а это надо считать более постыдным. Бедность надо возделывать, как садовую траву, как шалфей. Не хлопочи так усиленно о новом — ни о новых друзьях, ни о новых одеждах. Лучше перелицевать старые или вернуться к ним. Вещи не меняются, это мы меняемся. Продай свою одежду, но сохрани мысли. Бог позаботится о том, чтобы ты не остался одинок. Если бы я до конца своих дней был осужден жить в чердачном углу, как паук, мир остался бы для меня все таким же огромным, пока при мне были бы мои мысли. Философ сказал: «Армию из трех дивизий можно лишить генерала и тем привести ее в полное расстройство, но человека, даже самого жалкого и грубого, нельзя лишить мыслей»[323]. Не стремись непременно развиваться, подвергнуться множеству влияний — все это суета. В смирении, как во тьме, ярче светит небесный свет. Тени бедности и убожества сгущаются вокруг нас, но тут-то как раз «мир ширится пред изумленным взором»[324]. Нам часто напоминают, что, даже получив богатства Креза, мы должны сохранить ту же цель и те же средства. К тому же, если бедность ограничивает твои возможности, если тебе, например, не на что купить книг и газет, тебе остаются более важные и жизненные дела, и приходится иметь дело с

веществами, дающими больше всего сахара и крахмала. Ты пробуешь жизнь возле самой косточки, где она всего вкуснее[325]. Тебе не дают тратить время зря. Никто еще никогда не проигрывал на душевной щедрости. На лишние деньги можно купить только лишнее. А из того, что необходимо душе, ничто за деньги не покупается.

Я живу в углублении свинцовой стены, в которую примешано немного колокольного металла. Часто в минуты полднего отдыха до меня доносится извне смутный tintinnabulum. Это шумят мои современники. Соседи рассказывают мне о важных господах и дамах, о знаменитостях, с которыми они повстречались на званом обеде, но я интересуюсь всем этим не больше, чем содержанием «Дейли Таймс». Все интересы и все разговоры вращаются вокруг нарядов и манер, но гусь остается гусем, какую бы подливку к нему ни подать. Мне говорят о Калифорнии и Техасе, об Англии и обеих Индиях, о достопочтенном мире Х из Джорджии или Массачусетса и об иных столь же преходящих и недолговечных вещах, и мне, как мамелюку, хочется скорей выпрыгнуть из их двора[326]. Мне нравится точно знать, где я нахожусь, — не шагать в торжественной процессии на видном месте, но идти, если можно, рядом со Строителем вселенной; не жить в беспокойном, нервном, суевликом и пошлом Девятнадцатом Веке, а спокойно размышлять, пока он идет мимо. Что празднуют все эти люди? Все они состоят в устроительном комитете и ежечасно ждут чьей-то речи. Господь — всего лишь председатель на данный случай, а Вебстер[327] — оратор его. Я люблю взвешивать, обдумывать, склоняться к тому, что влечет меня всего сильнее и основательнее, а не висеть на краешке весов, стараясь тянуть поменьше; не исходить из воображаемого положения, а из того, что есть; идти единственным путем, каким я могу идти, тем, который никакая сила не может мне преградить. Мне вовсе не хочется начинать свод, пока я не поставил прочного фундамента. Нечего нам играть на тонком льду. Твердое дно есть всюду. Я читал про одного путешественника, который спросил мальчика, твердо ли дно у болота, которое надо было пересечь. Мальчик сказал, что да. Но лошадь путника увязла по самую подпругу, и он сказал мальчику: «Ведь ты говорил, что здесь твердое дно». «Так оно и есть, — ответил тот, — да только до него еще столько же»[328]. Так обстоит и с общественными болотами и трясиными, но мальчику надо дожить до старости, чтобы это узнать. Хорошо лишь то, что думают, говорят или делают в особых, редких случаях. Я не хочу быть из тех, кто по глупости вбивает гвоздь в оштукатуренную дранку, — это не дало бы мне потом уснуть. Дайте мне молоток и дайте нащупать паз. Не надейтесь на замазку. Вбивать гвоздь надо так прочно, чтобы и проснувшись среди ночи, можно было подумать о своей работе с удовольствием, — чтобы не стыдно было за работой взывать к Музе. Тогда, и только тогда бог тебе поможет. Каждый вбитый гвоздь должен быть заклепкой в машине вселенной, и в этом должна быть и твоя доля.

Не надо мне любви, не надо денег, не надо славы — дайте мне только истину. Я сидел за столом, где было изобилие роскошных яств и вин и раболепные слуги, но не было ни искренности, ни истины, — и я ушел голодным из этого негостеприимного дома. Гостеприимство было там так же холодно, как мороженое. Мне казалось, что его можно было заморозить безо льда. Мне говорили о возрасте вин и его знаменитых марках, а я думал о более старом и в то же время новом и чистом вине, о более славной марке, которой они не имели и не могли купить. Весь этот блеск — дом, имение и «угощение» — не имеет цены в моих глазах. Я пришел к королю, но он заставил меня дожидаться в приемной и вел себя, как человек, не имеющий понятия о гостеприимстве. А у меня по соседству был

человек, который жил в дупле дерева[329]. Его манеры были истинно королевские. И я лучше бы сделал, если бы пошел к нему.

Долго ли еще мы будем сидеть у себя на крыльце, упражняясь в праздных и обветшалых добродетелях, которые любой труд сделал бы совершенно ненужными? Точно можно начинать день с долготерпения, а между тем нанимать человека окучивать свой картофель, и после полудня идти проповедовать христианскую кротость и милосердие с заранее обдуманном благочестием. Каково мандаринское чванство и закоснелое самодовольство человечества! Наше поколение с гордостью возводит себя к древнему и знатному роду; в Бостоне и Лондоне, Париже и Риме, гордясь своими предками, оно с удовлетворением говорит о своих успехах в искусстве, науке и литературе. Загляните в протоколы философских обществ и панегирики *Великим Людям!* Добряк Адам умиляется собственным добродетелям. «О, мы свершили великие дела и спели дивные песни, и память о них не умрет» — т. е. до тех пор, пока *мы* о них помним. В Ассирии были ученые общества и великие люди — а где они сейчас? Как мы незрелы в нашей философии и наших опытах! Никто из моих читателей не прожил еще и одной полной человеческой жизни. И в жизни человечества, быть может, еще только наступает весна. Если у нас в Конкорде и была семилетняя чесотка,[330] то еще не было семнадцатилетней саранчи. Нам известна лишь крохотная чешуйка на нашей планете. Большинство из нас не проникало глубже шести футов внутрь земли и не прыгало над ней даже и на столько. Мы сами не знаем, где мы. К тому же почти половину всего времени мы крепко спим. И все же мы считаем себя мудрецами и установили на земной поверхности свои порядки. Вот уж поистине глубокие мыслители и честолюбивые души! Стоя над букашкой, которая ползет по сосновым иглам, устилающим лес, и старается спрятаться от меня, я спрашиваю себя, отчего она так смиренна и так прячется, когда я, может быть, могу стать ее благодетелем и сообщить ее племени благую весть; и я думаю о великом Благодетеле и всемирном Разуме, склоненном надо мной, человеческой букашкой.

В мире непрерывно свершается нечто новое, а мы миримся с невообразимой скукой. Достаточно напомнить, какие проповеди слушают люди в самых просвещенных странах. В них произносятся слова «радость» и «печаль», но это всего только припев гнусавого псалма, а верим мы лишь в обыденное и мелкое. Мы полагаем, что можем сменять одну только одежду. Говорят, что Британская Империя весьма велика и респектабельна, а Соединенные штаты — могучая держава. Мы не верим, что за каждым человеком подымается такой прилив, на котором Британская Империя может всплыть, как щепка, если бы он и лелеял подобную мысль. Кто знает, какая семнадцатилетняя саранча может вылезти из земли? Правительство того мира, где я живу, не было составлено в послеобеденной беседе за вином, как в Британии.

Наша внутренняя жизнь подобна водам реки. В любой год вода может подняться выше, чем когда-либо, и залить изнывающие от засухи нагорья; может быть, именно нынешнему году суждено быть таким и утопить всех наших мускусных крыс[331]. Там, где мы живем, не всегда была суша. Далеко от моря и рек мне встречаются берега, некогда омывавшиеся водой, до того, как наука начала описывать каждый паводок.

Всю Новую Англию обошел рассказ о крупном и красивом жуке, который вывелся в крышке старого стола из яблоневого дерева, простоявшего на фермерской кухне 60 лет — сперва в Коннектикуте, потом в Массачусетсе. Он вылупился из яичка, положенного в живое дерево еще на много лет раньше, как выяснилось из подсчета годовых колец вокруг него; за несколько недель перед этим было слышно, как он точил дерево, стараясь выбраться, а вывелся он, должно быть, под действием тепла, когда на стол ставили чайник[332]. Когда слышишь подобное, невольно укрепляется твоя вера в воскресение и бессмертие. Кто знает, какая прекрасная, крылатая жизнь, много веков пролежавшая под одеревеневшими пластами мертвого старого общества, а некогда заложенная в заболонь живого зеленого дерева, которое превратилось постепенно в хорошо выдержанный гроб, — кто знает, какая жизнь уже сейчас скребется, к удивлению людской семьи за праздничным столом, и неожиданно может явиться на свет посреди самой будничной обстановки, потому что настала, наконец, ее летняя пора.

Я не утверждаю, что Джон[333] или Джонатан[334] поймут все это; завтрашний день не таков, чтобы он пришел сам по себе, просто с течением времени. Свет, слепящий нас, представляется нам тьмой. Восходит лишь та заря, к которой пробудились мы сами. Настоящий день еще впереди. Наше солнце — всего лишь утренняя звезда.

Примечания

[1] В греческой мифологии *Иол* — друг Геракла, помогший ему рубить головы чудовища — Лерненской гидры.

[2] ... *съесть... пригоршню грязи*. — Имеется в виду английская пословица: «Каждому приходится за свою жизнь съесть пригоршню грязи».

[3] ... *в одной старой книге*. — Такое определение Библии вызвало негодование многих религиозных современников Торо.

[4] Евангелие от Матфея 6, 19.

[5] Овидий. «Метаморфозы», кв 1. Перевод С.Шервинского.

[6] *Рэли Уолтер* (1552—1618) — фаворит английской королевы Елизаветы I, поэт и путешественник.

[7] *Уилберфорс Уильям* (1759—1833) — борец против рабства, возглавивший в английском парламенте борьбу за освобождение рабов в Британской Вест-Индии.

[8] Имеется в виду *катехизис* из «Новоанглийского начального учебника» (New England primer). По этому учебнику, проникнутому религиозно-пуританскими догмами, с конца XVIII в. и в течение всего XIX в. обучались многие поколения американских детей.

[9] Цитата из книги *Джона Эвелина* (1629—1706), английского мемуариста и ученого садовода, «Рассуждение о лесных деревьях» (*Evelyn John. Silva, or a Discourse of Forest Trees*). London, 1729).

[10] «Вишну Пурана, или Законы Ману» — одна из древнейших книг индусского религиозного эпоса.

[11] Конфуций. «Лунь Юй» («Беседы и суждения»).

[12] *Дарвин Чарлз*, Путешествие на корабле «Бигл». М., 1949. (*Darwin Charles. Journal of Researches into the Geology, and Natural History of the Various Countries visited by H.M.S. Beagle*. London, 1839).

[13] *Новая Голландия* — старое название Австралии.

[14] *Либих Юстус* (1803-1873) — известный немецкий химик.

[15] *давно у меня пропал охотничий пес, гнедой конь и голубка*. Характерное для Торо поэтическое иносказание. В посвященной Торо биографической литературе имеется ряд

попыток истолковать символику этих строк.

[16] *репортером в журнале...* Торо шутливо намекает здесь на свои дневники (Journals), которые были опубликованы лишь через 44 года после его смерти.

[17] *... известного адвоката.* — В «Дневниках» Торо называет его. Это его конкордский сосед Сэмюэл Хор.

[18] *заняться своими делами.* — Живя на берегу Уолдена, Торо завершил свою первую книгу — «Неделя на реках Конкорд и Мэрримак», которую посвятил памяти брата Джона, умершего в 1842 г.

[19] *Небесная Империя* — старое название Китая, который до 1911 г. Был империей.

[20] Центром торговли США с Китаем был в то время город *Салем*, штат Массачусетс.

[21] Побережье Нью-Джерси было местом частых кораблекрушений.

[22] *Лаперуз Жан-Франсуа* (1741-1788) — знаменитый французский мореплаватель, был убит туземцами у островов Новые Гебриды.

[23] *Ганнон* — карфагенский мореплаватель (V в. до н.э.), автор «Перипла» — описания путешествия вдоль побережья Африки, дошедшего до нас в греческом переводе.

[24] *Пфейфер Ида Лаура* — австрийская путешественница первой половины XIX в., первая женщина, совершившая кругосветное путешествие, описанное ею в книге «Дама едет вокруг света» (на немецком языке вышла в 1850 г., на английском — в 1852 г.).

[25] *... покров земного чувства.* — Шекспир. Гамлет, III, 1. Перевод Б.Пастернака.

[26] *... подобно древнему философу.* — Имеется в виду Биас, один из семи греческих мудрецов (VI в. до н.э.), которому приписываются слова (известные в латинском переводе): *Omnia mea mecum porto* («Все мое ношу с собой»).

[27] Из книги шотландского радикального публициста Сэмюэла Лэнга (1780-1868) «Записки о пребывании в Норвегии» (Journals of a Retidence in Norway. London, 1837).

[28] *... и вольность и любовь.* — Из стихотворения английского поэта Ричарда Ловлейса (1618-1658) «К Алтее из тюрьмы».

[29] Отчет *Гукина* (Daniel Gookin, 1612-1687) Торо цитирует по книге «Исторические памятники индейцев в Новой Англии» (Historical collections of Indians in New England. Boston, 1792).

[30] *... румфордовскими печами...* — Имеется в виду бездымная печь, изобретенная В.Томпсоном, лордом Румфордом (1753-1814).

[31] Евангелие от Матфея, 26, 11.

[32] Книга пророка Езекиила 18, 2, 3-4.

[33] Из трагедии английского драматурга Джорджа Чапмена (1559-1634) «Цезарь и Помпей». V, 2.

[34] В греческой мифологии *Момус* — бог шуток и смеха.

[35] ... *тайные бедняки*... — бедняки, скрывающие свою нищету, чтобы не попасть в работный дом.

[36] *Мемнон* — персонаж гомеровского эпоса, сын богини Авроры, убитый Ахиллесом. Греческое предание называет статуей Мемнона египетскую каменную статую в окрестностях Фив, издающую перед восходом солнца мелодичный звук. Это Мемнон будто бы приветствует появление своей матери.

[37] *Джонатан* — нарицательное имя, прозвище американцев, позднее вытесненное прозвищем Дядя Сэм.

[38] ... *в вагоне экскурсионного поезда*... — Имеется в виду сатирический рассказ Натаниеля Готориа «Небесная железная дорога».

[39] Из книги американского хрониста XVII в. Эдварда Джонсона (*Johnson Edward. Wonder-Working Providence of Sions Saviour. London, 1654*).

[40] Этот отчет Торо цитирует по книге О'Каллагэна «Документальная история штата Нью-Йорк» (*O'Callaghan E.B. The Documentary History of the State of New York. Albany, 1851*).

[41] ... *злая Зима*. — Шекспир. «Ричард III», I, 1. Перевод А.Радловой.

[42] Стихи принадлежат Торо.

[43] ... *к переселению троянских богов*. — Имеется в виду «Энеида» Вергилия, кн. II, строки 351-352, описывающие уход богов из их храмов в побежденной Трое.

[44] ... *достойных помощников*. — Это были Эмерсон, Амос Олкотт, У.Э.Чаннинг, братья Кэртисы и Эдмунд Хосмер с сыновьями.

[45] ... *портной составляет одну девятую часть человека*... — Имеется в виду английская пословица: «Из девяти портных выходит один человек».

[46] «...я слышал об одном...». — Из дневниковой записи следует, что Торо имел в виду известного американского скульптора Горацио Гриноу (1805-1852).

[47] Один из крупных современных архитекторов США Фрэнк Ллойд Райт писал, что история американской архитектуры была бы неполной без мудрых замечаний Торо.

[48] ... *адвокатом дьявола*. — При канонизации нового святого католической церковью один из кардиналов назначается «адвокатом дьявола» и должен приводить доводы против кандидата.

[49] Имеется в виду Гарвардский университет в городе *Кембридже* (штат Массачусетс), где учился Торо.

[50] *Роджерс* — английская фирма металлических изделий.

[51] *Смит* Адам (1723-1790) — крупнейший представитель классической буржуазной политэкономии в Англии. *Рикардо* Давид (1772-1823) — выдающийся английский политэконом той же школы. *Сэй* Жан-Батист (1767-1832) — французский политэконом, вульгаризатор учения Адама Смита.

[52] ... *глухой даме*. — Видимо, речь идет об английской писательнице Харриэт Мартино, посетившей США в 1830-х годах.

[53] *Принцесса Аделаида* — дочь английской королевы Виктории.

[54] ... *акридами и диким медом* питался в пустыне Иоанн Креститель (Евангелие от Матфея, 3, 4).

[55] *Летучий Чайлдерс* — прославленная скаковая лошадь в Англии начала XIX в.

[56] *Фичбург* был конечной станцией железной дороги Бостон — Фичбург, проходившей мимо Уолдена.

[57] Комментаторы предполагают, что здесь имеется в виду Роберт Клайв, барон Клайв — английский государственный деятель XVIII в., один из столпов британского владычества в Индии.

[58] *Юнг* Артур (1741-1820) — автор «Руководства по аренде и оборудованию ферм» (*Young Arthur. The Farmer's Guide in Hiring and Stocking Farms. London, 1770*).

[59] *Мало в нашем округе зданий для свободной молитвы и свободных речей* — В этом Торо убедился на собственном опыте. В 1844 г., когда Эмерсон готовился выступить на собрании аболиционистов по случаю годовщины отмены рабства в Вест-Индии, ни одна церковь Конкорда не разрешила провести это собрание в своем здании. Добившись наконец, чтобы им предоставили помещение суда, Торо сам звонил в колокол, созывая на собрание.

[60] «*Бхагаватгита*» — одна из частей древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

[61] *Витрувий* Марк Поллио — римский архитектор I в. до н.э.

[62] ... *ради аппетитной второй части*. — *Oleracea* (лат.) означает «травянистый», но ассоциируется также и с «пахучий».

[63] *«Майфлауэр»* — корабль, привезший в 1620 г. к берегам Северной Америки первых английских переселенцев.

[64] Из трактата «О Земледелии» (De Re Rustica) римского государственного деятеля и писателя Марка Порция Катона (234-149 до н.э.).

[65] Строки из анонимного стихотворения «Новоанглийские огорчения» (New England Annoyances). Оно считается первым стихотворением на английском языке, созданным в Америке.

[66] *Сполдинги* — семья, жившая в то время в поселке Карлейль, недалеко от Конкорда.

[67] *свой хвост*. — Имеется в виду басня Эзопа «Бесхвостая лиса».

[68] Евангелие от Матфея, 9, 6.

[69] *... не сквасит мне молоко*. — Существовало поверье, что от лунного света скисает молоко.

[70] Шекспир «Юлий Цезарь», III, 2. Перевод И.Мандельштама.

[71] *Бартрам Уильям* (1739-1823) — американский путешественник и естествоиспытатель, автор «Путешествий по Северной и Южной Каролине, Джорджии и др.» (*Bartram William. Travels through North & South Carolina. Georgia, etc., 1791*).

[72] *... пасти стада Адмета...* — Как гласит греческий миф, изгнанный с небес бог Аполлон девять лет пас стада фессалийского царя Адмета.

[73] *Робин Добрый Малый* — персонаж английских народных поверий позднего средневековья.

[74] *Хауард Джон* (1726—1790) — английский общественный деятель, боровшийся за улучшение условий в тюрьмах.

[75] Евангелие от Матфея, 7, 12.

[76] *...с каждого десятого раба*. — Имеется в виду «десятина», т.е. десятая часть урожая или других доходов, которая начиная с древних времен взималась в пользу духовенства.

[77] *Пенн Уильям* (1644-1718) — основатель штата Пенсильвания, известный квакер.

[78] *Фрай Элизавет Герни* — деятельница квакерской секты, занимавшаяся благотворительностью в тюрьмах. Была высмеяна Байроном в «Дон Жуане».

[79] *... терпеть вечно*. — Пародия на фразу «славить бога и радоваться ему вечно» из Вестминстерского катехизиса.

[80] Стихотворение английского поэта Томаса Кэрю (1598—1639).

[81] Строка из стихотворения английского поэта Уильяма Каупера (1731-1800) «Стихи, написанные от лица Александра Селькирка».

[82] *Старик Катон* — см. примечание 64.

[83] «Культиватором». — В Бостоне выходили в то время журналы «Бостонский культиватор» и «Новоанглийский культиватор».

[84] «Ода к Унынию» — глубоко пессимистическое стихотворение английского романтика Кольриджа.

[85] *День Независимости* (4 июля) — национальный праздник США. 4 июля 1776 г. США были объявлены независимым государством.

[86] «Хариванша» — санскритская поэма, одна из священных книг индуизма, входящая в эпос «Махабхарата».

[87] В оригинале здесь два названия: woodthrush (лат. *Hylocichla mustelina*) и veery (лат. *Hylocichla fuscescens*), не имеющие соответствий в русском языке, так как эти разновидности дроздов обитают только в Западном полушарии. Такие случаи нередки в тексте «Уолдена». Точное определение упоминаемых в нем животных и растений представляет и другие трудности. Торо сам не всегда точен: вторая часть латинского названия или английское название, приведенные в «Дневниках», иногда не совпадают с соответствующими местами «Уолдена». На своем экземпляре «Уолдена» Торо исправил целый ряд названий. В некоторых случаях латинские названия устарели и не соответствуют современной научной классификации, но они сохранены в тексте.

[88] *Битва при Конкорде* (17 апреля 1775 г.) была первой битвой в войне за независимость США.

[89] Цитата из «Хариванши» (см. примечание 86). *Дамодара* — одно из имен индусского божества Кришны.

[90] Автор стихотворения неизвестен.

[91] О легендарном китайском царе *Чин-Тане* пишет Конфуций в «Великом Учении».

[92] ... *трубы, когда-либо певшей о славе*. — Строка из стихотворения «Высадка пилигримов» английской поэтессы Фелиции Химанс.

[93] ... *вплоть до отмены...* — типографский термин, означающий: печатать объявление в каждом номере газеты, вплоть до отмены.

[94] *Веды* — четыре священные книги индуизма.

[95] *Мемнон* — см. примечание 36.

[96] *...и радоваться ему вечно.* — См. примечание 79.

[97] *...мы давно уже превращены в людей...* — Когда жители Эгины — как гласит греческий миф — погибли от моровой язвы, царь Эгины Эак упросил Зевса вновь заселить его страну, превратив в людей муравьев, живших в дупле старого дуба.

[98] *... сражаемся с цаплями.* — О битвах пигмеев с цаплями упоминается в начале третьей книги «Илиады». (В русском переводе Н.И.Гнедича они названы журавлями.)

[99] *... постоянно меняющимися границами...* — Вплоть до 1871 г. Конфедерация германских княжеств постоянно меняла свои границы.

[100] *... в срок попасть на небо.* — См. примечание 38.

[101] *... ирландец или янки...* — В подлиннике непереводаемая игра слов: sleeper — «шпала», но также и «спящий».

[102] «*Один стежок вовремя стоит девяти*». — Английская пословица.

[103] *...еще не прозрел.* — В штате Кентукки находится Мамонтова пещера, где в темноте живут слепые рыбы.

[104] Китайская притча взята из «Бесед и Суждений» Конфуция.

[105] Комментаторы полагают, что здесь имеется в виду священник Тейлор из бостонского заезжего дома для моряков, уснащавший свои проповеди морскими терминами. Он изображен в «Моби Дике» Германа Мелвилла под именем отца Мэпла.

[106] *... яснее, чем взрослые...* — У английских романтиков, а также у американских трансценденталистов встречается мысль о том, что ребенок обладает познанием мира, но утрачивает его, становясь взрослым.

[107] *Мельничная Плотина* — тогдашний центр Конкорда, где находились магазины, почта и пр.

[108] «*Ниломер*», как сообщает греческий историк I в. до н.э. Диодор Сицилийский, был инструментом для измерения уровня воды в Ниле. Играя на втором значении слова «nil» (лат. «ничто»), Торо создает в противовес «ниломеру» слово «реаломер», т.е. инструмент для измерения действительно существующего.

[109] *... по волшебному ореховому прутику.* — Согласно поверью, раздвоенный ореховый прутик помогал найти воду: наклоняясь к земле, он указывал, где следует рыть колодец.

[110] *Мир Камар Удин Маст* — индийский поэт XVIII в.

[111] В *Дельфах* в храме Аполлона прорицала жрица — пифия. В *Додоне*, другом городе древней Греции, оракулом был священный дуб, чей шелест толковали как прорицание.

[112] ... *ватиканские библиотеки*. — Библиотека Ватикана имеет одно из богатейших собраний древних авторов.

[113] *Зендавеста* — священные тексты маздеизма, религия древних иранцев.

[114] ... *чтобы достичь небес*. — Имеется в виду библейское сказание о вавилонской башне, которую люди из тщеславия пытались воздвигнуть до небес.

[115] ... *на низких скамьях первого ряда*. — Тогдашние сельские школы помещались в одной комнате. Младшие дети сидели в первом ряду, на более низких скамьях.

[116] ... *путь которой не был, разумеется, гладким...* — Перефразировка строк из «Сна в летнюю ночь» Шекспира (I, 1):

Я никогда еще не слышал,

Чтоб гладким был путь истинной любви.

(Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник)

[117] *Зороастр*, или Заратустра (660? — 583 до н.э.) — реформатор религии древних иранцев, которому приписываются тексты *Зендавесты*.

[118] *Лицеями* во времена Торо назывались в ряде городов Новой Англии лектории. В настоящее время «Лицеем Торо» называется в Конкорде музей Торо, открытый в 1962 г. к столетию со дня его смерти.

[119] *Абеляр* Пьер (1079-1142) — знаменитый французский философ и теолог.

[120] «*Оливковая Ветвь*» — название бостонского журнала, издававшегося сектой методистов.

[121] ... *по именам языческих богов*. — В английском языке дни недели названы по именам древнегерманских богов: Тора (Thursday), Водена или Вотана (Wednesday) и др.

[122] ... *индейцы Пури...* — жители Восточной Бразилии.

[123] Из стихотворения «Весна на Уолдене» друга Торо, поэта У.Э.Чаннинга.

[124] ... *тучегонитель...* — Один из постоянных эпитетов Зевса.

[125] *Болото Уныния* (Dismal Swamp) — обширное болото на территории Виргинии и соседней с ней Северной Каролины.

[126] В греческой мифологии *Атропос* — одна из трех Парк, богинь судьбы, та, которая обрезала нить человеческой жизни.

- [127] ... как сыновей Телля. — Имеется в виду предание о швейцарском национальном герое Вильгельме Телле, которого заставили стрелять из лука в яблоко, положенное на голову его сына.
- [128] *Буэна-Виста* — место одного из сражений (1847 г.) захватнической войны США против Мексики (1845-1848), которая вызвала энергичный протест Торо.
- [129] ... маргаритки... и гнезда полевых мышей... — отзвуки стихотворений Роберта Бернса «Горной маргаритке, которую я смял своим плугом» и «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом».
- [130] *Лонг-Уорф* — пристань в Бостоне. *Озеро Шамплейм* находится на границе штатов Вермонт и Нью-Йорк.
- [131] ... пальмовых листьев. — Имеются в виду модные в то время летние шляпы из пальмовых листьев.
- [132] На *Больших Банках*, к востоку от Ньюфаундленда чаще всего промышляли рыбаки Новой Англии.
- [133] Мильтон Джон. Потерянный рай, кн. 1. Перевод О.Н. Чюминой.
- [134] ... ведут скот с тысячи гор... — Здесь и ниже в описании скота использованы библейские речения (Псалтырь, 64).
- [135] Стихи принадлежат Торо.
- [136] ... древние плакальщицы. — В подлиннике — «древнее у-лю-лю», слово, образованное Торо от лат. ululo («выть»).
- [137] ... в своих стигийских водах. — В греческой мифологии Стикс — река, текущая в Тартаре, т.е. в Аду.
- [138] ... отпил до положенной ему отметки. — Обычно на пирах ходила по кругу большая чаша с отметками внутри, показывавшими сколько каждый должен отпить.
- [139] ... стал бы несказанно здоровым, богатым... — Вошедшие в поговорку строки из «Альманаха бедного Ричарда», календаря, издававшегося в XVIII в. американским ученым и писателем Бенджамином Франклином:
Раньше ложись и вставай рано утром —
Будешь здоровым, богатым и мудрым.
- [140] ... будит даже моряка. — Капитаны китобойных судов Новой Англии обычно брали с собой клетку с курами и петухом.
- [141] Строка из «Элегии, написанной на сельском кладбище» английского поэта Томаса Грэя (1716-1771). Перевод В.Жуковского.

[142] Из «Песен Оссиана «английского поэта Джеймса Макферсона (1736-1796). Перевод Е.Балобановой (Поемы Оссиана. СПб., 1897).

[143] *Бикон Хилл* — один из лучших районов Бостона. *Файв Пойнтс* — район Нью-Йорка, имевший дурную славу.

[144] *Брайтон* — окраина Бостона, где в то время находились бойни. По случайному совпадению «Брайт» (англ. «веселый») было наиболее распространенной кличкой для быка.

[145] Конфуций. «Учение о Середине».

[146] Конфуций. «Беседы и Суждения».

[147] *Индра* — главный бог среднего царства (воздуха) в индусской мифологии.

[148] ... *старый поселенец*. — Имеется в виду Пан — в греческой мифологии козлоногий сын бога Гермеса и смертной женщины, ставший олицетворением природы, всеобщей жизни.

[149] *Гофф Уильям* (ум.ок.1679) — один из судей, вынесших смертный приговор королю Карлу I во время английской буржуазной революции 1649г. В 1660 г., после реставрации монархии в Англии, Гофф вместе со своим тестем Эдвардом Уолли бежал в Новую Англию, но в там вынужден был скрываться.

[150] ...*старая дама*... — Имеется в виду Природа.

[151] ...*старых Парров*... — Томас Парр (1483—1635) — англичанин, чье имя в английском языке стало нарицательным для долгожителя.

[152] *Ахерон* — в греческой мифологии река в Тартаре.

[153] *Гигея* — в греческой мифологии богиня здоровья.

[154] *Тремот-Хауз* — известное здание в Бостоне; *Астор-Хауз* — один из роскошнейших домов тогдашнего Нью-Йорка, принадлежавший богачу Астору; *Мидлсекс-Хауз* — одно из лучших зданий тогдашнего Конкорда.

[155] ...*ничтожная мышь*... — Крылатая фраза, восходящая к «Поэтическому искусству» Горация («Гора родила мышь»).

[156] ...*ковер не выгорал от солнца*... — Иронический намек на бережливых хозяек Новой Англии, которые держали шторы опущенными, чтобы не выгорали ковры.

[157] Строки из поэмы английского поэта Эдмунда Спенсера (1552-1599) «Королева фей», кн.1, песнь 1 (Spencer Edmund. Faerie Queens. London, 1590).

[158] *Массасойт* (1580—1661) — вождь индейского племени Вампаноаг, владевшего большей частью территории, на которой возникли поселения Невои Англии.

[159] ...*пафлагонец*... — житель Пафлагонии, древней страны в Малой Азии.

[160] В «Дневниках» Торо называет «*поэтическое имя*» канадца — Алек Терьен (созвучное с французским словом «*terrien*» — «земной»).

[161] Гомер. «Илиада», кн. XVI. Перевод Гнедича.

[162] ...*как лиса в басне*... — Имеется в виду басня Эзопа «Петух и лиса».

[163] Шекспир. «Гамлет», III, 1. Перевод М.Лозинского.

[164] ... *доктора Б.* — Имеется в виду врач Джозия Бартлетт, более полувека лечивший жителей Конкорда.

[165] Перефразировка английских детских стихов «Вот дом, который построил Джек».

[166] Слова приветствия, с которыми, по преданию, индеец Самосет обратился к переселенцам, прибывшим на корабле «Мэйфлауэр».

[167] ...*посыпал их главу прахом.* — Книга Иова, 2, 12.

[168] *Кольман* Генри (1785-1849) — автор нескольких отчетов о состоянии сельского хозяйства в Массачусетсе и соседних с ним штатах.

[169] «*Английским сеном*» назывались в Новой Англии кормовые травы, так как они были вывезены из Европы. Местное «луговое сено» шло только на сenniки.

[170] *Ranz des Vaches* (франц. «коровья песня») — общее название нескольких швейцарских пастушеских мелодий.

[171] ...*какого-нибудь мексиканца* — См. примечание 128

[172] ...*по части бобов я пифагореец*... — По преданию, древнегреческий философ Пифагор был противником употребления в пищу мяса и бобов.

[173] ...*для похлебки или баллотировки*... — В суде древних Афин виновность или невиновность обвиняемого решалась голосованием с помощью бобов: черный боб опускали в «Урну обвинения», белый — в «Урну прощения».

[174] *Эвелин* Джон. Философские рассуждения о земле (*Evelyn John. Terra: a Philosophical Discourse of Earth. London 1729*). См. примечание 9.

[175] *Сэр Кенельм Дигби* (1603-1665) — английский естествоиспытатель, автор «Рассуждения о произрастании растений». (*Sir Kenelm Digby. Discourse concerning the Vegetation of Plants. London, 1661*).

[176] Строки из эклоги английского поэта XVII в. Фрэнсиса Куорлза.

[177] Катон. «О Земледелии». Введение, раздел 4.

[178] *Варрон* Марк Теренций. «О сельском хозяйстве» (*Rerum Rusticarum*). Оттуда же и этимологии приводимых ниже латинских слов.

[179] Издательство «*Рэддинг и Компания*» содержало в Бостоне газетный склад.

[180] *...и этим спасся* — Цитата из «Аргонавтики» Аполлония Родосского (4,903), переведенная, вероятно, самим Торо.

[181] *Пока я плыл...* — Рефрен старой американской «Баллады о капитане Роберте Кидде».

[182] *...в другом месте...* — Торо имеет в виду свою статью «О гражданском неповиновении» (*On Civil Disobedience*, 1849).

[183] Тибулл. «Элегии», кн.1, элегия 10.

[184] Конфуций «Беседы и Суждения».

[185] Мильтон Джон. Лисидас, песнь I.

[186] *... спроси у пастуха или у перепелки...* — Перефразировка двустушия Гете («Хочешь узнать, где самые спелые вишни? Спроси у мальчишек и у дроздов») из его «Стихотворных наречений» (*Sprich Wörtlich*).

[187] *Сенобит* — монах, живущий в монастырской общине, в противоположность анахорету (отшельнику). Здесь — непереводаемая игра слов, построенная на том, что по-английски «сенобит» (*cenobite*) звучит так же, как слова «see no bite» («не вижу, чтобы клевало»).

[188] В греческой мифологии *Кастальский источник* у подножья Парнаса является символом поэтического вдохновения.

[189] *... старого поселенца* — См. примечание 148.

[190] *... заветным ореховым прутиком.* — См. примечание 29 к главе «Где я жил и для чего».

[191] Температура всюду указана ко Фаренгейту. Кипящими ключами называются в Новой Англии не горячие источники, а родники, которые бьют из песчаной почвы, заставляя песок как бы «вскипать».

[192] *Быть может, это гнезда голавлей.* — Предположение Торо было впоследствии подтверждено ихтиологами.

[193] *... смотреть на нее вниз головой...* — В «Дневниках» Торо разъясняет свой необычный способ любоваться пейзажем: повернувшись к пейзажу спиной, он смотрел на него согнувшись и опустив голову между раздвинутых ног.

[194] ...еще до Революции. — Имеется в виду война за независимость США в конце XVIII в.

[195] ...*провести к себе трубах...* — Проект проведения воды из Уолдена в Конкорд не был осуществлен. Жители города предпочли для этого Песчаный пруд, лежащий выше.

[196] ... *где Мур из Мур Холла...* — Имеется в виду английская сатирическая баллада о драконе из Уонтли, убитом героем Муром.

[197] Стихи принадлежат Торо.

[198] *Стейт Стрит* был финансовым районом Бостона.

[199] ... *неопрятный фермер...* — Фермер Флинт не разрешил построить хижину на берегу своего пруда, где Торо первоначально хотел поселиться.

[200] ... *о подвиге преданье.* — Из стихотворения «Икар» английского поэта Уильяма Драммонда (1585-1649).

[201] *Таков мой озерный край.* — Озерный край в Англии был воспет Вордсвортом и другими поэтами-романтиками.

[202] Кохино́р — знаменитый брильянт, собственность английского королевского дома.

[203] В скандинавской мифологии *Валгалла* — пиршественный зал, где пребывали герои, павшие в бою.

[204] *Хэмлок* — порода хвойного дерева, произрастающего в Западном полушарии.

[205] *Челлини* Бенвенуто (1500-1571) — знаменитый итальянский скульптор и ювелир. Одним из эпизодов его полной превратностей жизни было заключение в замке св.Ангела в Риме по обвинению в краже драгоценностей у своего заказчика, папы Климента VII.

[206] Как и две следующие стихотворные цитаты, это — строки из поэмы У.Э.Чаннинга «Ферма Бейкер».

[207] Екклесиаст, 12. 1.

[208] ... *talaria*... — крылатые сандалии, атрибут быстрого бога торговли Гермеса (Меркурия), служившего также посланцем богов.

[209] *Высшие законы* — Термин часто употреблялся трансценденталистами в значении законов совести, которые надлежит соблюдать даже ценой неповиновения законам правительства. Эту мысль Торо развивает в статье «О гражданском неповиновении».

[210] ... *у водопада Сент-Мери...* — Водопад на реке Сент-Мери в Британской Колумбии.

[211] Цитируемые строки принадлежат не монахине, как пишет Торо, а монаху из Общего Пролога к «Кентерберийским рассказам» Чосера. Пер. И.Кашкина (М., 1946).

[212] *Алгонквины* — индейцы северо-восточных областей Северной Америки.

[213] *Добрый пастырь* — Иисус Христос.

[214] Имеется в виду 4-томный труд Керби и Спенса «Введение в энтомологию» (*Kirby Wm., Spence Wm. An Introduction to Entomology. Philadelphia, 1846*).

[215] *Веды* — см. примечание 94

[216] Конфуций. Комментарий к «Великому Учению», одной из книг конфуцианского четверокнижия.

[217] Евангелие от Матфея, 15, 11.

[218] *Мэнций*, или Ман-Цзы — китайский философ (372-289 до н.э.).

[219] Стихотворение «Сэру Эдварду Герберту, в Юльерс» английского поэта Джона Донна (1573-1631).

[220] ... *индусскому законодателю*. — Имеется в виду «Вишну Пурана».

[221] В диалоге Отшельника и Поэта отшельником является Торо, а поэтом — У.Э.Чаннинг.

[222] *Пилпай*, или Бидиай — предполагаемый автор широко известного сборника басен, распространившегося в Европе в средние века и восходящего к санскритскому сборнику басен и притч «Панчатантра».

[223] ... *известному натуралисту*... — Имеется в виду знаменитый швейцарский ученый Луи Агассис (1807-1873), работавший в конце 40-х годов XIX в. в Гарвардском университете над классификацией зоологических видов. Торо собирал для него редкие образцы рыб и пресмыкающихся.

[224] *Мирмидоны* — одна из народностей древней Греции. Согласно гомеровскому эпосу, участвовали под предводительством Ахиллеса в осаде Трои.

[225] «*Победить или умереть*» — девиз герцогов Кентских.

[226] «*На щите иль со щитом*», т.е. мертвым или с победой, — крылатое выражение, восходящее к Плутарху, который приводит его как напутствие спартанских женщин сыновьям, идущим в бой.

[227] *Аустерлиц или Дрезден* — здесь названия крупнейших наполеоновских сражений.

[228] Джон *Баттрик* возглавил американских ополченцев в битве при Конкорде (см. примечание 88). *Дэвис* и *Хосмер* пали в этой битве.

[229] *Битва при Банкер Хилле* — одно из первых сражений в войне за независимость Соединенных Штатов (17 июня 1775 г.)

[230] Hôtel des Invalides («Дом инвалидов» — *франц.*) — здание, построенное в Париже в XVII в. для дворян — ветеранов войны. Впоследствии стало военным музеем.

[231] *Юбер Франсуа* (1750—1835) — швейцарский ученый, автор «Новых наблюдений над пчелами» (Nouvelles Observations sur les Abeilles, 1792).

[232] Пикколомини *Эней Сильвий* (1405—1464) — итальянский гуманист и дипломат, впоследствии — папа римский Пий II.

[233] *Олаус Магнус* (1490—1558) — шведский историк.

[234] Имеется в виду закон 1850 г. о выдаче беглых рабов, даже оказавшихся на территории Северных штатов, где рабовладения не было. Вместе с другими уступками южным рабовладельцам он получил в истории США название «Компромисса 1850 года». Речь известного американского юриста и государственного деятеля Даниэля Вебстера в защиту этого закона стяжала позорную известность.

[235] ...к крылатому коню, т.е. Пегасу.

[236] ...уснули вечным сном под рельсами... — См. примечание 101

[237] *Как много дум они наводят.* — Перефразировка строки из стихотворения «Вечерний звон» английского поэта Томаса Мура (1779-1852). В русском переводе И.Козлова:
Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.

[238] *Навуходоносор Великий* — царь Вавилона (VII-VI вв. до н.э). К его эпохе относится бóльшая часть развалин Вавилона. Отсюда и шутка Торо.

[239] ...приютил у себя поэта. — Имеется в виду гостивший у Торо поэт У.Э.Чаннинг.

[240] Катон «О Земледелии».

[241] *Сатурн* — одно из древнейших божеств римской мифологии, обучивший людей возделывать землю.

[242] ...*пяťся задом.* — Придворный этикет не позволяет поворачиваться спиной к коронованной особе.

[243] В римской мифологии *Вулкан* — бог огня; *Термин* — бог границ.

[244] *Гилпин Уильям* (1724—1804) — английский автор ряда книг о живописных местностях Англии и Шотландии, основатель литературного жанра «живописных путешествий», характерного для предромантизма и романтизма.

[245] *Мишо Франсуа-Андре* — французский ученый, автор «Истории древесных пород Северной Америки» (*North American Sylva*, 1818).

[246] 300 тысяч кордов = 128 куб. футов.

[247] *Бабушка Блейк и Гарри Гилл* — персонажи одноименной баллады английского поэта Уильяма Вордсворта (1770—1850): нищая старуха, которая воровала дрова, чтобы согреться, и богатый фермер, уличивший ее в этом «преступлении».

[248] Стихи принадлежат Торо.

[249] *Холодная Пятница* — особенно морозный день в Новой Англии (19 января 1810 г.). *Великий Снегопад* наблюдался 10 декабря 1717 г.

[250] Часть стихотворения «Живой огонь» Элен Г.Хупер, напечатанного в журнале «Дайел» (№ 2, 1840).

[251] ...*Катон, только не Утический...* Катон Утический — римский государственный деятель I в. до н.э., правнук более известного государственного деятеля и писателя Катона Цензора.

[252] *В войну 1812 г...* — Имеется в виду война 1812—1814 гг. Соединенных Штатов с Англией, когда английская армия временно заняла часть территории США.

[253] «*Гондибер*» — эпическая поэма английского поэта и драматурга XVI в. Уильяма Давенанта.

[254] ...*антологию английской поэзии Чалмерса...* — Имеется в виду антология Чалмерса в 21 томе. — «Английские поэты от Чосера до Каупера» (*Chalmers Alexander. The Works of the English Poets from Chaucer to Cowper*, London, 1810).

[255] *Нервии* — племя, долго сопротивлявшееся римскому завоеванию. Здесь — игра на созвучности слов «нервии» и «нервы», характерная для юмора Торо.

[256] ...*кувшина, разбитого у источника.* — Имеются в виду слова из Екклесиаста (12, 6): «...доколе не разбился кувшин у источника».

[257] *Рейнеке-Лис* — нарицательное литературное имя лисы.

[258] Джон Мильтон. «Потерянный рай», кн. II. Пер. О.Чюминой.

[259] Абзац о снегопадах 1717 г. является пересказом соответствующего места в книге американского богослова и литератора Коттона Мезера «Великие деяния Христа в Америке» (*Magnalia Christi Americana*, 1702).

[260] ...я подставлял другую... — Имеется в виду Евангелие от Матфея, 5, 39.

[261] ...рассудительного фермера... — Имеется в виду Эдмунд Хосмер.

[262] ... был поэтом. — Имеется в виду У.Э.Чаннинг.

[263] Желанным гостем был видный трансценденталист Амос Олкотт.

[264] Стихотворная строка — из книги англичанина Томаса Сторера «Жизнь и смерть кардинала Томаса Вулси» (*Storer Thomas. Life and Death of Thomas Wolsey Cardinall. London, 1599*).

[265] Роберт Патерсон, выведенный в романе Вальтера Скотта «Пуритане», — старый каменотес, посвятившим себя своеобразному паломничеству: обходя Шотландию, он восстанавливал надгробные плиты пуритан, погибших за веру.

[266] «Ночлег для человека, но не ля его скотины». — Обычная вывеска придорожной таверны предлагала «приют для человека и животных» (т.е. лошадей).

[267] ...старый поселенец... — См. примечание 148

[268] ...Вишну Пурана... — См. примечание 10

[269] Строка из старой английской баллады «Дети в лесу».

[270] Плектр — деревянная или костяная палочка, которой играли на струнах лиры.

[271] ...тревожить нашу крепость... — Намек на предание о том, как гуси своим криком предупредили римлян в крепости Капитолий о приближении врага.

[272] ...прячется там день и два. — В рукописи «Уолдена» Торо дает здесь ссылку на Одюбона, американского орнитолога первой половины XIX в., писавшего по-французски, автора книги «Птицы Америки» (*Audubon Jean Jacques. Oiseaux d’Amerique. 1830*).

[273] В греческой мифологии Актеон — охотник, подсмотревший купающуюся Артемиду. Богиня в наказание превратила его в оленя, и он был растерзан собаками.

[274] Нимврод — легендарный царь Халдеи, называемый в Библии «могучим охотником». Имя его стало нарицательным для охотника.

[275] ...волшебный пруттик... — См. примечание 109

[276] ...я тщательно обследовал его... — В наше время измерения Уолдена, сделанные Торо, были проверены с помощью новейших научных методов. В статье «A Re-examination of Thoreau’s Walden» (*Quarterly Review of Biology, XVII, 1942, 1-11*) Эдвард С.Дьюи пишет, что, учитывая несовершенство тогдашней измерительной аппаратуры, точность, с которой работал Торо, была феноменальной и он несомненно внес вклад в американскую

лимнологию.

[277] Уильям Гилпин в книге «Наблюдения над... Горной Шотландией» (Observations on... the Highlands of Scotland. London, 1808).

[278] *Мильтон Джон*. Потерянный рай, кн. VII. Перевод Е.Кудашевой (М., 1910).

[279] *...карту пруда...* — Эта карта приложена к первому изданию «Уолдена».

[280] *...ахилесовы берега...* — По преданию, Ахиллес был родом из Фессалии, гористой местности в Греции.

[281] «Новоанглийский фермер» — сельскохозяйственный журнал, выходивший в Бостоне.

[282] *...некий богатый фермер...* — Это был Фредерик Тюдор, «ледяной король» Новой Англии.

[283] *Валгалла* — см. примечание 203

[284] *...так и не попал на рынок.* — В середине 1840-х годов Фредерик Тюдор и его конкурент Н.Дж.Уайет вели торговую войну. Когда Тюдор выиграл ее, уолденский лед был ему больше не нужен, и запасы его растаяли на берегу.

[285] *...басню о жаворонке и жнецах...* — Имеется в виду басня Лафонтена «Жаворонок, его птенцы и хозяин поля».

[286] Евангелие от Матфея, 13, 24 и след.

[287] *...пьют из моего колодца.* — Лед был в Новой Англии XIX в. важным предметом экспорта. Его отправляли во все указываемые Торо города и по многие другие.

[288] *Бхагаватгиты*. — См. примечание 60

[289] См. примечание 23

[290] *Тернат и Тидор* — мелкие острова из группы Молуккских (Индонезия).

[291] Александр Македонский считался для своего времени бывалым путешественником.

[292] В своем парадоксальном лингвистическом экскурсе Торо привлекает слова греческого, латинского и английского языков, но весьма произвольно обращается с их этимологией и звуковыми формами, так что все рассуждение носит полушутливый характер.

[293] *Шампольон Жан-Франсуа* (1790—1832) — знаменитый французский египтолог.

[294] *Тор* — в скандинавской мифологии бог грома.

[295] ...сушеницей, золотариком... — В подлиннике упомянуто еще pinweed — неизвестное в русском языке название травы из семейства *Lechea*.

[296] Марк Теренций Варрон. «О Сельском Хозяйстве».

[297] *Leuciscus* — латинское родовое название мелких рыб.

[298] Овидий. «Метаморфозы», кн. I. 61-62, 78-81. Перевод С.В.Шервинского.

[299] В этих строках на книги Исаака Уотса (1674—1748) «Гимны и духовные песни» (*Walls Isaac. Hymns and Spiritual Songs. London, 1707*) Торо заменяет «лампаду» — «солнцем».

[300] Евангелие от Матфея, 25, 21.

[301] Овидий. «Метаморфозы», кн. I, 89-96, 107-108. Перевод С.В.Шервинского.

[302] В кельтской мифологии *Мерлин* — волшебник.

[303] Первое послание апостола Павла к коринфянам, 15, 55.

[304] Несколько измененные Торо строки из стихотворения «Моему уважаемому другу сэру Эд.П.Найту» английского поэта XVII в. Уильяма Хебингтона.

[305] Сэр Джон *Франклин* (1786—1844) — английский исследователь Арктики, который возглавил экспедицию, искавшую северо-западный путь вокруг американского материка. Все участники ее погибли, и останки их были найдены лишь в 1859 г.

[306] *Гриннел Генри* (1799—1874) — американский судовладелец, снарядивший в 1850—1853 гг. экспедиции для розысков Франклина.

[307] *Парк Мунго* (1771—1806) — шотландский путешественник, исследователь Африки; *Льюис Мерриуэзер* (1774—1809) — исследователь американского континента; *Кларк Эдвард-Даниэль* (1769—1822) — английский минералог и путешественник по Европе, Египту, Палестине; сэр *Мартин Фробешер* (1539?-1594) — английский мореплаватель, искавший северо-западный путь из Атлантического в Тихий океан.

[308] ...Экспедиция Южных морей... — Имеется в виду экспедиция военного флота США, возглавленная Чарлзом Уилксом, которая в 1838—1842 гг. исследовала южную часть Тихого океана и антарктические области.

[309] Строки из стихотворения «О старике из Вероны» позднеримского поэта Клавдия Клавдиана (365?—404 гг. н.э.), которые Торо перевел, заменив слово «*Iberos*» («испанцы») словом «Австралия».

[310] ...сосчитать кошек в Занзибаре... — Ирония Торо относится к книге американского естествоиспытателя XIX в. Чарлза Пикеринга «Географическое распределение животных и растений» (*Geographical Distribution of Animals and Plants, 1854*), написанной в результате

длительной экспедиции и упоминающей, в частности, о домашних кошках в Занзибаре.

[311] *...может быть, отыщете наконец «Симмсову дыру».* — Американец Джон Кливз Симмс (1780—1829) высказал в 1818 г. предположение, что земля пуста внутри и имеет на полюсах отверстия. Эта фантастическая гипотеза использована Эдгаром По в нескольких рассказах, в том числе в «Рукописи, найденной в бутылке».

[312] *...заставить Сфинкса разбить себе голову о камень...* — В греческой мифологии Сфинкс — чудовище, которое загадывало путникам загадки и пожирало тех, кто не умел их разгадывать. Когда Эдип разгадал их, Сфинкс разбил себе голову о скалу.

[313] *...Познай Самого Себя...* — Изречение, которое приписывается многим греческим философам.

[314] *Мирабо* Онорэ-Габриэль, граф (1749—1791) — деятель Французской буржуазной революции 1789 г., позднее изменивший ей.

[315] *Брайт* — см. примечание 144

[316] *Кабир* (1440-1518) — индийский поэт и религиозный реформатор.

[317] Цитата из книги М.Гарсена де Тасси «История индусской литературы» (*Garcin de Tassy M. Histoire de la littérature hindoue. Paris, 1839*).

[318] Екклесиаст, 9, 4.

[319] *Город* (или край) *Куру* — страна мудрецов-браминов — упоминается в «Вишну Пурана». Притча о посохе, видимо, сочинена самим Торо.

[320] В индусской мифологии *Кальпа* — период времени в несколько миллиардов лет.

[321] День Браммы длится 2.160.000.000 лет.

[322] Комментаторы склонны считать *Тома Хайда* персонажем фольклора восточного Массачусетса.

[323] Конфуций. «Беседы и Суждения».

[324] Строка из сонета «Ночь и смерть» английского поэта Дж.Бланко Уайта (1775—1841).

[325] *...где она всего вкуснее...* — Имеется в виду английская пословица: «Чем ближе к косточке, тем вкуснее мясо».

[326] *Мамелюки* — первоначально гвардейцы египетских султанов, которые затем сами захватили власть в Египте на несколько столетий. В 1811 г. По приказу турецкого султана Мохаммеда Али они были заперты в крепости и истреблены. Спасся только один из них, перепрыгнув через стену.

[327] *Вебстер* был известен своим цветистым красноречием. См. о нем примечание 234

[328] Эпизод с путешественником и мальчиком описан в конкордской газете «Yeoman's Gazette» от 22 октября 1828 г.

[329] *...который жил в дупле дерева.* — Об этом отшельнике упоминается также в дневниках Эмерсона.

[330] *...семилетняя чесотка...* — Имеется в виду английская поговорка: «Не лучше семилетней чесотки».

[331] *...утопить всех наших мускусных крыс.* — Мускусные крысы устраивают норы близко к поверхности воды и в половодье их заливают.

[332] Этот факт, описанный в тогдашних американских газетах, положен Германом Мелвиллом в основу рассказа «Стол из яблоневого дерева».

[333] *Джон* — нарицательное имя для среднего англичанина

[334] *Джонатан* — См. примечание 37